

м
о
с
к
в
а

Москва

2
1963

2
1963

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ
СЕДЬМОЙ

Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН, *главный редактор*, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ, *заместители главного редактора*, А. Н. ВАСИЛЬЕВ (*отдел публицистики*), Е. В. ЛЕВАНОВСКАЯ (*отдел прозы*), Е. Ю. МАЛЬЦЕВ, Л. В. НИКУЛИН, Ю. С. СЕМЕНОВ (*отдел очерка*), С. А. САВЕЛЬЕВ, *ответственный секретарь*, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор
Н. И. БОБКОВА

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-31-65, Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи. Редакция вопросами подписки не занимается.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ

ИЗЪЯТЫ
ПАМЯТИ

ЧУДЕСНАЯ
ВСТРЕЧА

Удивительные
люди

Москва и дети
на сцене

Поиски и находки

1963 · 2

СОДЕРЖАНИЕ

НАШИ СОВРЕМЕННОКИ. Татьяна Тэсс. ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Очерк . . . 4

ПРОЗА

Ф. Вигдорова. СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ. Роман. Вторая книга 28
Ирина Левченко. СЧАСТЛИВАЯ. Повесть 109
Степан Злобин. ЧУДЕСНАЯ ВСТРЕЧА. Рассказ 147
Виктор Драгунский. ДЛЯ ПАМЯТИ. Рассказ 152
Семен Шуртаков. КУЗЬМИНСКИЕ САДЫ. Рассказ 157

СТИХИ

Михаил Дудин. ВЧЕРА БЫЛА ВОЙНА. 19
Мих. Матусовский. СТИХОТВОРЕНИЯ И БАЛЛАДЫ 103

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ КПСС

Л. Арнаутов, Я. Карпов. ВИШНЕВЫЙ САД.— НАШИ ПУБЛИКАЦИИ. Э. Клопов. НЕСКОЛЬКО СТРОК ЛЕНИНСКОЙ БИОГРАФИИ 169

ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА

Лев Никулин. ОТ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ ДО МАНЕЖА 176

МОСКВИЧ ЕДЕТ ПО СТРАНЕ

Вера Шапошникова. В НИЗОВЬЯХ ДНЕСТРА 180

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

И. Мотяшов. ВЫПРЯМЛЯЙСЯ, БАРАБАНЩИКИ 188
И. Козлов. СПУСТЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ... Заметки о романе Леонида Соболева «Капитальный ремонт» 197
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ. В. Ланина. ПЕРЕМЭНЫ (204).—Д. Стариков. В ОБЩИХ ЧЕРТАХ... (205).—А. Салахян. СТИХИ И ВРЕМЯ (207).—М. Пархоменко. ТРАГЕДИЯ И ПОБЕДА РАЗУМА (208).—Л. Попова. ТРУДНОЕ ЛЕТО РОМАСА СТРУГАЙТИСА (211)—ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ? (190, 194, 200)

ПОИСКИ И НАХОДКИ

Ал. Лесс. «ДРУЖНАЯ ОРДА».—Павел Подляшук. РЕЦЕНЗИЯ, НАПИСАННАЯ ПРОКУРОРОМ 213

МОСКВА УШЕДШАЯ

Евгений Иванов. КРАСНОЕ КРЫЛАТОЕ СЛОВЦО. Московские антиквари . . 216

ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА

О ЛОГИКЕ, ФУТБОЛЕ И СТРАСТИ К ПЕРЕМЕНАМ РАЗМЫШЛЯЕТ НАШ СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ АЛЕКСЕЙ ФЛЕРОВСКИЙ 219

САТИРА И ЮМОР

У НАС В ГОСТЯХ «ПЕРЕЦЬ» 222

На наших вклейках:

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ. С выставки произведений московских художников ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ. Пейзажи чешского художника Яна Маха

Фронтиспис и заставки художника А. Ливанова



В. Фаворский. Московский Кремль. Гравюра.

Татьяна Тэсс

Человек **ДЛЯ ЛЮДЕЙ**

ОЧЕРК

Знаете ли вы, где село Высокое? Может быть, и знаете. Если ехать в это село от Житомира, то сначала поведет вас к нему асфальтовая дорога, а потом надо свернуть на пыльный, укатанный шлях. А уж дальше будете добираться до Высокого в зависимости от вашей шоферской удачи: найдете сразу — ваше счастье, а не найдете — будете плутать, как мы, по полевым дорогам, мимо делянок, мимо влажной пашни, мимо перелесков и рощиц, пока не увидите, наконец, вдали белые хаты.

И вот уже на пригорке открывается глазам вашим село — длинное, с высвеченной солнцем улицей, распахнутой осеннему ветру, с чистыми окошками, в которых блещут и играют лучи. Это и есть Высокое.

Таким я увидела его впервые. Ветер нес навстречу запахи теплой земли, подсыхающей ботвы, пожелтевших, твердых зонтиков укропа — запахи осени. Слева, недалеко от угла, белела чистенькая хата. Туда и привел меня путь.

У крыльца одиноко стояли три стула, стояли бочком, словно с них только что встали люди, закончив долгую беседу. У привявших чернобривцев бегали, шурша, семь котят. На скамейке сидела худенькая девочка с черными блестящими веселыми глазами. Сидела и с любопытством смотрела на меня.

И кроме нее во всем доме не было ни души.

— Бабушки нема! — весело сообщила девочка. — Може, в Житомир поехала, може, в Черняхов. Може, еще куда. По делам поехала.

Случалось ли вам когда-либо проехать немалый путь, долго плутать по проселкам, изрядно вымокнуть под дождем, проголодаться, устать и, наконец, с облегчением ощутить, что путь ваш закончен?

Безусловно случалось.

А случалось ли, добравшись до цели, узнать, что человека, ради ко-

того вы приехали, на месте нет и никто не может сказать, когда он вернется?

Наверно случилось и это. Тогда, конечно, вы поймете меня.

Стоя у крыльца, я соображала, как поступить дальше.

С поля было слышно тархтенье трактора. По улице, поднимая облако пыли, пронесся грузовик. В калитку вошел почтальон; он положил на скамейку пачку газет, вынул из сумки письма. Я взяла их в руки — белый и голубой конверты, надписанные разными почерками, пришедшие из разных мест, с одним и тем же адресом: Надежде Григорьевне Загладе. «Что в них таится? — подумала я. — Какие слова, какие раздумья?»

По-разному можно ощущать отсутствие человека.

Бывает, вышел из дому человек, и как в воду канул: все позабыли о нем, ни следа его, ни памяти.

А бывает и так: вышел человек, и все-таки он с нами, и на всем, что ты видишь, ты ощущаешь внимательный блеск его глаз, тепло его руки.

Нет дома — в селе — Заглады, и все же хозяйка тут.

Я была уверена: можно остановить любого прохожего на улице, и он расскажет о Надежде Григорьевне Загладе.

Можно пойти по тропе к займищу и дальше, через лесок, к поляне, где работает ее звено, и там ощутить ее руку, ее дыхание.

Можно, наконец, пойти в дом по соседству или в правление колхоза, — и везде расскажут о ней, везде ее знают.

Я решила начать свое знакомство с Надеждой Григорьевной Загладой без нее. И отправилась в путь по селу.

Летел час за часом, и все эти часы были наполнены встречами с еще не знакомой мне женщиной. Ибо из каждой беседы, из каждого слова, сказанного о Надежде Загладе, вставали ее жизнь, ее труд, ее душа.

И вот сейчас я хочу попытаться пересказать вам все, что узнала о ней в тот погожий прохладный день.

Вы, конечно, помните большой разговор о совести и чести хлебороба, который повела звеньевая колхоза «Первое мая» Надежда Григорьевна Заглада со своими товарищами по труду. Этот разговор затронул сердца людей колхозной деревни, заставил их еще раз задуматься о самом главном, по-новому взглянуть на себя и на тех, с кем они рядом живут и трудятся.

По-разному ведется счет труду. Его, этот счет, ведут не только на



Надежда Григорьевна Заглада

килограммы и центнеры. Труд измеряется раздумьями, сомнениями, требовательностью к себе, непримиримостью ко всему дурному.

Этот счет ведется человеческой совестью.

О таком счете, счете по совести, и заговорила со своими товарищами Надежда Заглада, пожилой человек, мудрая, чистая душа. Высокое право на этот разговор дала ей вся ее жизнь.

Ох, какая это большая жизнь!..

Долго бродила я по селу Высокому, многое рассказали мне люди. От человека к человеку, от сердца к сердцу повела меня живая нить и, точно в сказке, привела к началу пути. И жизнь Надежды Заглады, страница за страницей, раскрылась передо мною как удивительная повесть.

...Вот вижу я маленькую батрачку, крошечную няньку, у колыбели хозяйского ребенка. Спят на пуховой постели родители, а ребенок кричит и плачет, и нянька качает колыбель, борясь со сном. И внезапно засыпает, скошенная сном, как травинка, и валится на пол, а из всех углов, обрадованные, несутся к ней разноцветные, звонкоголосые детские сновидения... Но вдруг пробуждает ее грубый толчок, и хозяйка, проснувшись, отвешивает тяжелой рукой сполна подзатыльники да тумачи. Только поспевай увертываться и прятать маленькое заплаканное, заспанное лицо...

Почему, почему до самой старости не забывают люди первую обиду? Быть может потому, что там, на заре жизни, выковываются первые черты характера — твердость, стойкость души? Быть может потому, что человек, испытавший на себе тяжесть и унижение подневольного труда, с особой силой ощущает чистое счастье труда свободного, ставшего призванием, потребностью, радостью?

В первые дни коллективизации Надежда Заглада вступила в колхоз. С первых дней строительства колхозного хозяйства связала с ним накрепко свои думы, свои стремления, свою жизнь. Навсегда запомнила она первый день, когда, держа тяжелую сапку в руках, счастливо вышла в поле, ставшее полем колхозным. И душа ее открылась навстречу этому новому труду, распахнулась, как окно навстречу свежему ветру.

Она трудилась самоотверженно. С такой любовью, с такой необыкновенной бережливостью относилась она к колхозному добру, к артельной собственности, что люди это сразу заметили. Она стала звеньевой, и в звено к дочке пошла работать ее мать — Матрена Тимофеевна.

Это, пожалуй, был первый случай в селе Высоком, когда мать работала под началом у дочери. Но в этом была какая-то глубокая, удивительная символичность. Мать, прожившая долгую жизнь, полную покорного и тяжкого труда, пришла на колхозное поле, чтобы стать рядом с дочерью, ибо мать знала, что дочь ее видит внутренним взором своим тот край неба, что скрыт еще за горизонтом.

Вечерами мать говорила дочери:

— Надийка, голубонька, ты не волнуйся, я утром тебя разбужу! Спи, дню, отдыхай...

Но когда мать на рассвете открывала глаза, дочь стояла возле нее уже одетая, готовая выйти в поле. И говорила ей:

— Мамо, не волнуйтесь, еще рано! Поспите, мамо, я разбужу вас, когда будет надо...

И хотя еще действительно было рано, мать вставала, и они вместе выходили из хаты и обходили село, осторожно стуча в окна женщин из своего звена.

И вот уже из хат выходили на улицу розовые от студеной ключевой воды, зябко ежащиеся от предрассветного холодка женщины всех возрастов — и молодые девчата, и матери семейств, и пожилые бабуся. И все шли в поле.

Было известно: полесская земля — земля трудная. Долгие годы была у этой земли незавидная слава: скупа на урожай. А в 1938 году звеньевая Заглада собрала на своей делянке небывалый урожай льна.

Имя Заглады неожиданно стало широко известным, к ней стали приезжать отовсюду люди, о ней писали в газетах, рассказывали по радио.

С изумлением и смущением отнеслась она к шумной, неожиданно обрушившейся на нее известности. Ей было странно, что она, подобно учителю, объясняет приехавшим к ней людям, как работать в поле, как добиваться высоких урожаев.

Она объясняла старательно, толково, подробно, но ей всегда казалось, что не сказала самого главного: того, о чем думает всегда — и в поле и дома. Того, что освещает невидимыми лучами весь ее труд.

В характере этой скромной, мягкой женщины все яснее сказывалась новая черта. Ее, эту черту, можно было назвать трудовой смелостью.

Отважно шла она вперед, прокладывая в нехоженных местах новые тропы.

Не страшась трудностей, бралась за такие начинания, вокруг которых только покряхтывали да чесали подбородки иные, не столь отважные работники. Одна из первых внедряла Надежда Заглада в своем колхозе новые культуры, одна из первых решительно отказывалась от отжившей старинки.

Она не знала грамоты. Детство ее сложилось так, что она никогда не сидела на школьной скамье. Но талант души, талант к труду помогали ей с необычайной зоркостью проникать в сущность явлений, познавать сложные законы агротехнической науки.

Прошло совсем немного времени с той поры, как она собрала урожай льна, какого еще не знала полесская земля. И вот прокатилась молва, что звеньевая Заглада сняла за год два урожая льна. Это удвоило ее славу.

— Как же жила она в те годы? — спрашиваю я людей. — Что согревало ее жизнь, кроме труда? Кто ждал ее дома, когда она возвращалась с поля?

И люди говорят: судьба была к ней сурова. Надежда Заглада рано потеряла мужа, осталась одна с маленькими детьми. Ей было всего тридцать лет, когда она овдовела. Так и прожила вдовой, не хотела, чтобы у детей был отчим. Растила их и вырастила.

Старший сын уже стал взрослым, работал, потом пошел служить в армию. Младшие учились в школе. И когда звеньевая возвращалась домой, ее встречало тепло детских рук, родные голоса, милое ей живое дыхание. И несла она в себе то чувство великой ответственности за рожденных ею жизни, то прекрасное счастье материнской любви, какое знает каждая мать.

Так шла эта жизнь, день за днем. И вдруг наступило жестокое для всех нас утро: война.

Тревога постучалась в дом Заглады. На нашей земле был враг. Враг подступал к селу Высокому. И Надежда Григорьевна, забрав детей, своих и чужих, пошла с ними по тяжелой дороге войны.

На телеге, запряженной лошадьми, она уехала из села на восток. Лошади пали, и женщина, запрягшись в телегу, на которой сидели малыши, тащила ее со старшими детьми, сколько было сил.

Они добрались до Волги, оттуда попали в Узбекистан. Звеньевая увидела первые колоски риса, первый цветок хлопчатника, землю цветения и плодородия...

Как передать чувство, которое испытывает хлебороб, когда впервые видит неоглядные дали нового края, впервые берет в ладони горсть еще не знакомой земли?

Эта земля и пахнет не так, как своя, привычная с детства, и шуршит

по-иному, когда медленно, словно нехотя, осыпается между пальцами... Быть может, она не сразу послушает тебя, не сразу откроет свои секреты, не сразу приголубит щедрым урожаем, отдачей за твой труд...

Но земля для хлебороба — как море для моряка. Здесь и дом, и труд, и надежда, и опора.

Сухой, горячий ветер веял в лицо, нес запахи незнакомых трав, звон и бормотанье воды в арыках. Огромное поле дышало под солнцем. Как далеко оно от родимого края! И все-таки это тоже было свое, родное поле. И руки звеньевой сами потянулись к земле.

Надежда Заглада стала бригадиром по выращиванию хлопка. Верхом на быстром узбекском коне, под звенящими, прямыми, как копыта, лучами солнца она объезжала хлопковые поля. Вместо сапки ее руки так же ловко и быстро орудовали кетменем, вместо льна перед нею белели снежные коробочки хлопка.

Казалось, она полюбила новый край. Но в сердце ее жила тоска по родному селу, боль за него, как за свое дитя. И едва Советская Армия освободила от захватчиков Украину, Надежда Заглада стала собираться домой.

В последний раз она оглядела хлопковое поле, в последний раз подставила щеки горячему узбекскому ветру. Попрощалась с товарищами по труду... И вот, забрав детей, отправилась в путь, в родное село Высокое.

...Разве перескажешь такую большую жизнь, разве вернешься ко всему, что человек пережил и почувствовал за долгие годы? Я шла по мягкой тропе, через поросшую ромашкой и клевером лужайку, мимо первых, уже запыхавших осенним пламенем кустов. Шла и размышляла обо всем, что рассказали мне люди. И думала: куда же еще пойти?

И вдруг решила: пойду в сельскую школу!

Я не ошиблась: здесь, в школе, я услышала от ребят несколько примечательных историй о бабушке Надежде Загладе. Вот первая из них.

Однажды шли по селу двое — мать и маленький сын.

— Мама! — хныкал мальчик. — Дай мне бублик...

— Кушай, — сказала мать.

Наклонившись, она вынула из сумки свежий, только что купленный в городе бублик и протянула мальчику.

Он откусил кусочек и бросил бублик в пыль. Они пошли дальше.

— Мама, — опять захныкал мальчик. — Дай мне яблоко!

— Бери, — сказала мать.

Она вынула из сумки яблоко и протянула его ребенку. Мальчик откусил кусок, повертел яблоко в руках и бросил на дорогу.

— Мать! — сказал позади них негромкий голос. — Чему учишь сына?

Женщина обернулась и увидела перед собой Надежду Григорьевну.

— Чему учишь его? — повторила та. — Зачем такое позволяешь?

— Пусть дите ест, что хочет, — сказала женщина. — Когда я была такой, как он, не было у меня ни бублика, ни яблока. Пусть будет у него все, что он хочет. Пусть будет он счастливее, чем я.

— А разве в этом счастье? — спросила ее Надежда Григорьевна.

Они остановились, две женщины, — старая и молодая.

— А разве в этом счастье? — снова спросила старая женщина. — Будет ли счастлив твой сын, если не научишь его уважению к труду, уважению ко всему, что сделано руками человеческими? Будет ли он счастлив, если проживет на земле, не понимая, что такое достоинство труда?

— Он еще маленький, — сказала женщина. — Он еще всему научится, он еще хлебнет всего, что хлебнуть положено. Пусть сейчас ни о чем не думает. У него мать есть.

— Зря говоришь, — сказала ей Надежда Григорьевна сурово. — Ка-

кие зерна посеешь, такой будет и всход. Что заложишь в душу ребенка, то и вырастет. А сеешь ты сейчас сорняк. И если недоглядишь, разрастется этот сорняк и заглушит все доброе и живое, что должно в душе человека расти.

Наступило молчание.

— Вы здесь живете? — нерешительно спросила женщина. Она была приезжая и не знала, кто говорит с ней.

— Да.

— А кто вы такая? — спросила женщина.

— Человек,— сказала Надежда Григорьевна.— Человек,— повторила она,— а каждому человеку дано право учить другого, если он видит, что тот поступает неверно.

Вот какую историю мне рассказали. И, услышав ее, я подумала: строгий, видно, человек Надежда Григорьевна!

Но, может быть, я ошиблась?

Из слов одних людей получалось, что это — женщина необыкновенной душевной мягкости, доброты и теплоты. Но из слов других вставал человек волевой, твердый, требовательный к себе и людям.

То, что рассказывали о Надежде Загладе, было так различно, представления, которые могли сложиться с чужих слов, были так несхожи... И вместе с тем они сливались воедино, как бы прикасаясь друг к другу тонкими и чуткими гранями.

Чем больше рассказывали мне об этой удивительной женщине, тем полнее, явственнее и рельефнее вставал передо мною сложный образ. И мне стало казаться: встретить я ее сейчас на улице или в поле — сразу узнаю.

Она представлялась мне высокой, осанистой, с соколиным взглядом больших серых глаз, с быстрой походкой, с решительными движениями...

Я знала, что она уже не молода. Но само слово «старость» никак не вязалось с этой жизнью, полной энергии, трудового азарта...

Уже совсем перед уходом из школы я узнала еще одну подробность. Оказалось, что Надежда Григорьевна нет-нет да и зайдет сама в школу. Завернет туда по пути, когда идет по делам в правление колхоза или домой покушать.

«Что приводит ее туда? — подумала я.— Не то ли самое чувство, с каким оглядывает она поле, чтобы увидеть высоту, свежесть и чистоту весенних всходов?»

Мне сказали, что она толкует с ребятами на переменах, знает всех в лицо, расспрашивает мягко и требовательно, как они учатся,— так спрашивает детей своих справедливая, добрая мать.

Ребята слушаются ее с охотой. Вероятно, они и сами не могли бы объяснить, что притягивает их к этой старой женщине. В ее словах, иногда ласковых, а иногда и суровых, было нечто, отличающееся и от того, с чем обращались к ним педагоги, и от того, что подчас слышали они дома.

Однажды произошел такой случай. В школе училась девочка, которой не давалась математика. То ли по складу ее способностей, то ли, может быть, по рассеянности и несобранности, но девочка по этому предмету все время отставала. И учитель решил прикрепить к отстающей ученице другого ученика, который был известен в классе своими математическими способностями. Он посадил их рядом на парте и попросил мальчика после занятий помогать школьной подружке готовить уроки.

Мальчик жил в селе Высоком недавно. Отца его перевели сюда на работу, и мальчик только первый год учился в сельской школе.

Прошло некоторое время, и девочка пришла к учителю.

— Я не буду больше с ним заниматься,— сказала она, опустив глаза.

— Почему? — встревожился учитель.— Что у вас произошло? — По лицу девочки он видел, что она расстроена.

— Он сказал, что у меня все равно ничего не получится,— ответила девочка тихо.— Он сказал, что из меня толку не выйдет. Он сказал: «Тебе все равно нельзя ничего в голову вдолбить. Мне, городскому, с тобой, деревенской, заниматься трудно. Не стоит время зря тратить, все равно ничего тебе не втолкуешь».

Об этой истории стало известно Надежде Григорьевне, и она пришла в класс, чтобы поговорить с ребятами.

— Одному человеку,— сказала она детям,— дано больше таланта и способностей, а другому, может быть, меньше. Но человек прежде всего должен быть человеком.— Она оглядела весь класс.— И прежде всего у него должно быть сердце. Сердце и совесть. И он должен одинаково уважать всех людей, с которыми он вместе трудится и живет.— Надежда Григорьевна помолчала.— Все вы, ребята, в классе разные,— продолжала она.— И это хорошо, один человек всегда, во всех возрастах, чем-то отличается от другого. Но мне хотелось бы, чтобы ни в одном из вас не было равнодушия, неуважения к товарищу. Может быть, ты и будешь хорошо знать математику,— сказала она, обращаясь к мальчику.— Но этого одного мало, чтобы стать настоящим человеком. То, что ты знаешь, ты хочешь беречь только для себя. А настоящий человек должен быть щедрым, он должен поделиться с другим и куском хлеба, и крупицей знаний. Если ты думаешь прожить жизнь, ни с кем и ничем не поделившись, ты проживешь ее плохо. Мне стыдно за тебя и жалко тебя, потому что ты потерял сейчас очень многое. Ты потерял радость, которую испытывает человек, поделившись чем-нибудь с другим, и потерял уважение класса. И пока ты не вернешь его, ты счастлив не будешь. Так я, во всяком случае, думаю.

Вот история, которую мне рассказали. Я не знаю ее продолжения, не знаю даже, давно ли это было. Может быть, этот мальчик уже стал взрослым. Может быть, он уехал из села Высокого и живет совсем в другом месте.

Но где бы он ни жил, где бы ни работал, я не поверю, чтобы он забыл этот случай. Не поверю, что он когда-либо забудет слова, сказанные ему на заре его жизни старым и мудрым человеком.

Я просидела бы в классе еще очень долго, слушая то, что говорили мне ребята и взрослые о Надежде Григорьевне Загладе.

Но осенний день — короткий день. И солнце уже начало опускаться на запад.

Ветер гонит по широкой улице сухие листья, и они шуршат и играют, как мыши. Опять прохожу я мимо беленькой хаты и вижу: дом по-прежнему пуст, хозяйки еще нет. И я решаю пойти на делянку звена Заглады.

И снова я иду по мягкой полевой тропе, прохожу мимо тронутых первым золотом деревьев, по привядшей, сладко и сонно пахнущей траве. И выхожу к поляне, на которой работают женщины.

В ту минуту звено как раз собирал бригадир.

Женщины выходили на дорогу одна за другой, загорелые, крепкие, в платочках на выгоревших от солнца волосах. Они были разного возраста, и я сразу заметила среди них одну — плотного сложения, с крупными, сильными руками и замкнутым лицом.

Она была старше всех, на вид ей казалось лет сорок. Звали ее Варвара Петровна.

Я заметила ее прежде всего, ее и еще другую, которую все называли Надя. Надя была совсем молоденькая, со свежим, нежным смуглым лицом и серыми внимательными глазами. Волосы у нее были светлые, как лен, и казалось, что они такие же, как лен, мягкие на ощупь.

Я подумала, что в отсутствие Надежды Григорьевны, наверное, работу звеньевой выполняет Варвара Петровна, как самая старшая.

Оказалось, я ошиблась. Звеньевую заменяла вовсе не она, а светло-волосая, застенчивая, легко краснеющая от смущения Надия, самая юная в звене.

Признаться, я поглядела на нее с изумлением. Почему Надежда Григорьевна именно ей доверила отвечать за все звено? Почему именно ее, самую юную, выбрала для того, чтобы оставлять вместо себя?

Но вот Надия начала рассказывать о своей работе. И сомнения мои сразу развеялись. Так толково и уверенно она говорила, так была не по годам рассудительна, внимательна и степенна, что выбор Надежды Григорьевны стал мне понятен.

— Часто она отлучается, уезжает из села? — спросила я.

— Бывает, что день-два ее нет, — сказала Надия. — Дел-то с каждым днем не меньше у нее, а больше. И депутатских, и колхозных... Но как приедет, так и бежит в поле! И боже мой! Даже не надейся, что она не заметит, если ты чего-нибудь не доделала. Даже не думай про это. Только глазами окинет — все сразу разглядит, хоть под землей увидит... — Она засмеялась.

— А когда в поле надо идти, будит она вас по утрам?

— Нет! — Надия покачала головой. — Теперь не будит и в окно не стучит. Вы, говорит, уже не дети. Пусть, говорит, вас совесть ваша будит. Но если опоздаешь... Ох, лучше сквозь землю провалиться! Идешь в поле и еще издали видишь: стоит она на делянке, глаза от солнца рукой прикрыла и на тебя смотрит. Не отругает, даже пальцем не погрозит, а только смотрит. И под взглядом этим так тебе становится совестно, так тяжело... Еле ноги переставляешь... Нет, в другой раз лучше встать до света, чем такое перенести, честное слово!

Пока мы говорили, Варвара Петровна стояла в стороне. Она сняла с головы платок, приладила свои русые, чуть тронутые сединой волосы, снова повязала его. У нее были широкие, крепкие ладони, смуглые ловкие пальцы.

Я поглядела на Варвару Петровну, и опять ее лицо поразило меня своей молчаливой силой.

«Суровый человек», — подумала я.

Подумала — и ошиблась снова.

Зашла речь о Надежде Григорьевне. И едва Варвара начала говорить о ней, как что-то бесконечно нежное и мягкое проступило в ее твердо очерченном, словно выточенном из дерева лице.

— Я ж ее воспитанница, — сказала Варвара Петровна тихо и опять развязала и завязала под подбородком узелок платка. — Она ж меня вырастила, она меня и грудью выкормила — у моей матери молока не хватало. — Женщина помолчала. — А когда мама моя умерла, в дом к себе взяла. И стал тот дом мне родным домом, — проговорила она задумчиво. — Вы думаете, она одну меня пригрела? — Варвара Петровна покачала головой. — Там чужих детей было поболее, чем своих! Она меня и замуж выдала, — сказала женщина, и щеки ее порозовели. — И свадьбу мою справила... — Варвара Петровна остановилась. — Да, сразу о ней не расскажешь... — проговорила она медленно. — Большой совести человек. Не для себя человек, для людей.

Она подняла на меня глаза и вдруг улыбнулась. Лицо ее сразу помолодело.

— Вы расскажите о ней людям! — сказала она. — Расскажите так, чтобы ее жизнь и другим светила...

Но тут бригадир снова позвал к себе все звено, и женщины пошли к нему на поляну.

Надолго запомнилась мне эта широкая поляна, окруженная шумя-

шими под ветром деревьями, и клен, стоящий вдаль, весь в красной листве, пылающий, точно факел, и лиловое, наполненное светом облако, медленно проплывающее по небу...

Я еще раз взглядела в задумчивую и добрую картину осени, напоследок окинула взглядом белоголовую высокую Надю, проворно идущую по мягкой земле поляны, статную Варвару Петровну в ее туго повязанном платке на седеющих волосах, всех других колхозниц и старалась представить себе среди них ту удивительную женщину, которой еще не видела, но о которой уже так много узнала.

— Куда же пойти теперь? — думала я, возвращаясь обратно в село.

Опять передо мной та же светлая хата, тот же низенький забор и незапертая калитка. Поглядев через забор, я увидела уже знакомую мне черноглазую девочку с темными косичками, и котят, что возились под крыльцом, и привядшие чернобривцы. Но по пустынной тишине в доме можно было безошибочно ощутить: нет, хозяйка еще не вернулась.

И я пошла дальше, в правление колхоза.

Там было шумно и людно. В одной комнате шел ремонт, и все столпились в той, где сидел за столом председатель колхоза. Людей собралось так много, что председатель еле успевал отвечать на все вопросы, обращенные к нему, потолковать со всеми, у кого была в нем нужда.

Я попробовала и здесь поговорить о Надежде Григорьевне. Из коротких, отрывочных слов, из случайной беседы на ходу мне удалось узнать еще о некоторых чертах ее характера и подробностях жизни.

— Заботливая, как мама родная, — сказала мне одна женщина.

— Сердитая, — сказала другая.

— Мягкая, уступчивая, — сказал один человек.

— Кремь! — сказал другой.

Люди добрые, как же разноречивы ваши суждения! Но, пожалуй, они схожи в одном: в каждом слове, сказанном об этой женщине, сквозило огромное уважение.

И я поняла, что каждый, определяя характер Заглады, говорил правду.

Да, добра, мягка и щедра.

Да, тверда, и строга, и неуступчива.

Вот так и соединяется все это в одном человеке, в одной душе.

Неуступчива тогда, когда отстаивает правое дело.

Строга — когда видит нерадивость.

Кремь — когда идет разговор о народном добре.

Тверда — когда требует от людей любви к труду, чувства совести и чести.

Но сколько в ее душе мягкости, отзывчивости, когда надо помочь человеку, поддержать его, приголубить, согреть материнской лаской... Плохо, когда у человека беда. Но легче, много легче справиться с бедой, если есть у тебя такой друг...

Там, в правлении колхоза, рассказали мне историю с кукурузой. Послушайте, какая это была история.

Некоторое время назад начала Надежда Григорьевна выращивать на своих полях кукурузу. И доказала, что полесская земля может давать хорошие урожаи не только льна, но и новой для нее культуры.

Дело было новое, а к новому, как известно, не все относятся одинаково.

И начались в колхозе толки да сомнения. Пошли разговоры, что, мол, невыгодно возиться с кукурузой, не принесет, мол, она нам добра и не стоит зря расходовать на нее народную силу и время.

И порешили отказаться от новой культуры. Но Надежда Загада не согласилась. В этих обсуждениях, отстаивая свою правоту, была она

уж действительно тверда как камень. Не хотела отказаться от того, что было разумно начато и что, по ее суждению, должно принести сельскому хозяйству пользу.

По ночам сын Надежды Григорьевны Василь слышал, что мать не спит, ворочается с боку на бок. Не бессонница мучила ее,— совесть. Неужто отказаться от начатого дела? Неужто разувериться в том, во что веришь? Что делать, как поступить?

Хотела просить Василя (он работает учителем в местной сельской школе) помочь ей написать письмо Никите Сергеевичу Хрущеву, чтобы рассказать обо всем, посоветоваться с ним. Но написать это письмо так и не решилась.

И вдруг однажды вечером постучал кто-то в ее окошко.

— Надежда Григорьевна! — закричал с улицы мужской бас. — Беги скорей в правление к телефону.

Она выскочила из хаты, накинув впопыхах платок.

Человек, ожидающий на улице, сказал:

— Никита Сергеевич к телефону просит.

Не помня себя от волнения, побежала она в контору. И едва взяла телефонную трубку в руки, едва услышала первые слова, что произнес Никита Сергеевич, как ей показалось, что то ненаписанное письмо она давно написала и ему послала.

Удивительное это было чувство! Никита Сергеевич разговаривал с нею так, будто знал не только все, что делалось у них в колхозе, но и все, о чем она думала бессонными ночами, о чем хотела ему рассказать...

На долгие годы запомнился этот вечер и то, как стояла в полутемной, пустой конторе, прижимая к уху телефонную трубку, и слушала сквозь биение своего сердца голос человека, знающего так много и о нашей земле, и о труде хлебороба, и о том, что на душе у каждого из нас.

Нет, не отказалась она от дела, в которое верила. Не отдала то, во что был вложен ее труд. Уважение к труду своему и к труду других — одна из черт, которую она высоко ценит в людях.

За свою долгую жизнь она перевидала многих председателей в колхозе. Были и хорошие, были и плохие. Были добрые хозяева, были и нерадивые.

И подчас приходилось ей крепко спорить с председателем. Она не боялась брать обязательства — как бы трудны они ни были, — если верила: она и ее звено в силах эти обязательства выполнить.

Но бывало и так, что председатель отмахивался от требований и просьб, предчувствуя лишние хлопоты, лишние заботы. Он знал: если Заглада берется за новые дела — покоя не жди. Примется ходить к нему, да требовать, да донимать:

— Дай машины! Обеспечь транспортом, обеспечь семенами...

Новые дела — всегда новые хлопоты. А не все люди любят эти новые хлопоты на себя брать.

Заглада настаивала, — председатель уговаривал обождать. Заглада торопила, — председатель медлил. Между ними пошли споры, начался разлад.

Председатель думал:

«Ну, может, попомонит и успокоится: будет жить, как жила. Чем ей плохо? Пусть звено работает, как работало раньше. В колхозе дела идут не так уж худо. И им — слава, и мне — почет. Зачем еще вперед лезть, зачем из сил выбиваться?»

Думал так председатель — и ошибся.

Думал, что управится с беспокойной звеньевой, — и не управился.

Может, кто другой и отмахнулся бы, сдался, свалив всю вину на нерадивого, нерасторопного председателя. Может, кто и поступил бы так. Но только не она, Надежда Заглада.

Опять, как бывало уже много раз, отстояла она начатое дело, не сдалась, довела его до конца.

Опять горячо, с душевным волнением доказывала товарищам своим по труду, что нельзя малодушничать, позволить затоптать уже давший всходы росток.

— Скаженная баба,— сердился председатель.— Покою от нее нет!

— Орлица! — говорили с уважением люди.— Через гору — и то полетит.

Я вспомнила слова, которые как-то сказал мне один мой друг, человек большой беспокойной судьбы: «Зажигает только тот, кто горит сам».

Неугасающим огнем полно сердце этой женщины. Он не гаснет на ветру, а лишь разгорается ярче, освещая путь и ей и другим.

А председатель, с которым она воевала... Где ж он, тот председатель? Колхозники поняли, что нельзя работать с человеком, который стоит поперек пути всему новому. И они добились того, что председателя из колхоза убрали.

Да, правы были люди, когда говорили о ней: «Добрая душа». Но правы были и другие, когда говорили: «Не человек, а камень».

Ибо по-настоящему добрая душа должна быть и душой строгой. Совесть требует от человека твердости и непоколебимости в деле, которое он отстаивает,— главным деле его жизни.

...Вот уже и к закату близится день. Сколько тропок по селу исхожено, сколько мыслей передумано. Сколько бесед складывалось повсюду: в поле и в доме, в школе и в колхозной конторе...

А женщины, ради которой я сюда приехала, все еще нет.

И опять я подхожу к светлой хате, и опять вхожу во двор. Я уже знаю, что живет здесь вся большая семья Надежды Григорьевны — сын Василь с женой и ребятами, а с другой стороны дома — дочка Мария с мужем и детьми.

Две половины дома, но в них одна семья. Люди рассказывали мне: невестка у Надежды Григорьевны — человек добрый, хороший, заботится о ней, как о матери родной, ничего не дает ей делать по хозяйству. Только и слышится: «Мамо, сидайте! Мамо, отдохните!»

Но разве отдохнет она? Как свободная минутка — бежит на другую половину хаты, к дочке Марии, чтобы помочь ей, подсобить по хозяйству. Материнское сердце — беспокойное сердце. И хотя взрослые уже у нее дети, а все ей кажется, что слабее они, чем мать, и в материнской помощи у них есть нужда.

Я стою во дворе и гляжу на окна светлого дома, за которыми идет еще неведомая мне жизнь...

А хозяйки все нет.

Может, она вернется, закончив свои дела, только к ночи? Может, заночует где-нибудь в Житомире или Черняхове и не увижу ее до утра?

— Как ты думаешь,— спрашиваю я у девочки,— бабушка скоро вернется?

Девочка встряхивает головой, туго закрученные косички подпрыгивают, точно проволочные.

— Кто ее знает! Дел у нее всегда много,— говорит она степенно, как взрослая, повторяя, очевидно, чьи-то слова.— Как укатит в город по делам, так, бывает, и до самой ночи ее нету. Она же не для себя в город ездит. Для людей.

«Где же я слыхала эти слова?» — подумала я.

И вдруг встало передо мною строгое лицо Варвары Петровны и то удивительное выражение тепла и нежности, которое согрело его, когда она сказала:

— Это человек не для себя — для людей.

Ох, как бы мне хотелось поскорее этого человека увидеть... Долго ли еще придется ждать? Быть может, до следующего дня?

Но не успела еще я огорчиться при мысли об этом, как вдруг зашуршала листва, и котята бросились врассыпную.

Хлопнула калитка. Послышались легкие, быстрые шаги. Девочка весело крикнула:

— Бабушка идет!

По двору шла худенькая, быстрая в движениях старая женщина, в темном платье и шерстяном жакете, на отворотках которого были прикреплены ордена и Золотая Звезда.

Лицо у женщины было морщинистое, очень доброе, живые, полные любознательности глаза блестяли.

Она была совершенно не похожа на ту осанистую, увенчанную славой, статную звеньевую, которая представлялась мне. Она была совсем другая и все-таки удивительно знакомая. Глядя на ее маленькую, быструю фигурку и приветливое лицо, я подумала, что все-таки безошибочно узнала бы ее в любой толпе, в любом доме.

Узнала бы по той активной доброте, деятельной силе и энергии, которые веяли от каждого ее движения, угадывались во взгляде блестящих, живых, внимательных глаз.

Она поздоровалась со мной, протянув сразу обе маленьких, сильных руки, и я с удивительным чувством уважения и нежности ощутила прикосновение этих крепких, шершавых, добрых рук.

Рук хлебороба, рабочего человека.

— Что же вы тут во дворе стоите, голубонька? — сказала она. — Устали небось? Пойдемте в хату...

Она шла впереди меня по дорожке, в туфлях на низких каблуках, открыла хозяйским движением настежь дверь, и мы вошли в дом.

Не успела я оглянуться, как на столе появилась крынка с молоком, свежий домашний пирог, начиненный яблоками. Мы сели за стол.

Надежда Григорьевна сняла свой жакет с орденами, аккуратно повесила его на спинку стула. Под жакетом оказалось бумазейное платье в клеточку. Она поправила платок на седой голове, внимательно посмотрела на меня и вдруг сказала:

— Может, поживешь у нас, отдохнешь? Вон какая ты худая да усталая... Поживи у нас недельки две, сразу порозовеешь от воздуха нашего. Куда тебе торопиться?

Если бы я могла остаться и пожить здесь! Если бы я могла встать вместе с ней рано утром и пойти вместе с нею и всем звеном, которое они так славно называют «ланочкой», в душистое поле...

Я все это сделаю в будущем, обязательно сделаю, когда приеду сюда в следующий раз. Но сейчас время не ждет, и мне надо попросить ее сразу приступить к беседе.

А начать эту беседу я не могу. Я пью из кружки молоко и смотрю на нее, и мне все кажется, что она похожа на мою мать.

Второй раз в жизни я испытываю это чувство. Мне становится от него тепло, и вместе с тем я испытываю боль, потому что матери моей давно со мною нет. Я не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь угадывать в чертах чужого, совсем не похожего на вашу мать человека это удивительное, пронзающее душу сходство... Но если доводилось, вы поймете меня.

Как же начать разговор? Как допытаться, в чем сила огромного воздействия слов этой женщины на умы и сердца людей?

Почему от этого дома в дальние дали двинулась светлая волна, которая нашла такой глубокий, такой широкий отклик? Почему на слово хлебороба откликнулись и рабочие, и педагоги, и инженеры, и врачи, люди самых разных профессий, разных судеб?

Еще не видя эту женщину, я многое узнала о ее жизни.

Еще не говоря с ней, я поняла, что совесть является основным ее душевным состоянием, основным направлением жизни.

Каково же оно, это чувство совести, которое неотступно тревожит ее? То чувство, о котором она поведала людям?

Чувства человеческие объемны. В них много граней, они вмещают множество черт. И совесть, о которой всегда говорит Надежда Григорьевна Заглада,— это не только честное отношение к своему труду, не просто трудолюбие, старательность, внимание, работа без лукавства.

Это, в первую очередь, страстное чувство ответственности за себя, за тебя, за всех нас, чувство, которое не оставляет человека, живет в нем всегда, стоит рядом с ним неотступно.

И, словно отвечая на мои, угаданные ею мысли, Надежда Григорьевна сказала:

— Вот только вчера от нас уехали трое, жили у нас несколько дней. Приехали из разных мест: один — с Кавказа, другой — из Белоруссии, третий — с целинных краев. Хорошие люди, ничего не скажу! Наверное, и хорошие хлеборобы. Стали расспрашивать меня, как мы землю обрабатываем, как выхаживаем новые культуры, как добиваемся повышения урожая. Ну, я ходила с ними к нашей «ланочке», показывала нашу работу, рассказывала все, что знаю, делилась всем, что накопила. А потом один из них спрашивает: «А вот совесть, Надежда Григорьевна, что насчет совести людям сказать? Может, поделитесь со мной?» Я посмотрела на него да призадумалась. И говорю ему: «Добрый человек, про то, как работаем, я вам рассказала. Совет попросите — дам вам совет. Но совесть... Совесть из рук в руки не передашь. Ее, дорогой человек, нельзя одолжить, словно деньги...— Она задумалась, потом медленно продолжала: — По рецепту или по совету ее не приготовишь. Совесть, если хочешь знать, даже и обучить невозможно.— Она посмотрела на меня внимательно и, подняв вверх маленький, крепкий, загорелый палец, сказала почти торжественно: — Совесть, голубонька, можно только разбудить...»

И я всем существом ощутила мощь той чистой волны, которая шла от этой женщины, от ее сердца. Волны, будившей в людях то трудное, прекрасное, беспокойное чувство, которое мы называем совестью.

Подобно тому, как существуют различные степени человеческой любви, счастья, горя, радости, так есть и различное ощущение совести. Если можно так сказать — различная глубина этого чувства.

Та совесть, о которой говорила Надежда Григорьевна Заглада, обращаясь ко множеству своих друзей и товарищей, требовала высокой «самоотдачи», ответственности за общий труд, поднимала, как знамя, понятие чести трудового человека.

Да, Надежда Григорьевна права: совесть никто никому не отпускает по наряду. Совесть живет в сердце человека, совесть говорит ему: «За все, что делают для тебя партия, государство, за душевное, братское к тебе доверие ты, хлебороб, должен во всю меру своих сил ответить рабочему классу и всем советским людям честным трудом».

— Если спросит кто меня,— продолжала Надежда Григорьевна,— если спросит: какая самая трудная у тебя была минута? Подумаю и отвечу: не найти мне горше минуты, чем та, когда приду я на поле и вижу — нету у людей настоящей любви к земле, равнодушно они живут. Посмотрю я на такое поле, где кукуруза низенькая, тошная и на ветру колеблется, как огонек, вот-вот задует, посмотрю на поле, где лен растет неровный, хилый, никак не поднимется от земли, и думаю: «Где же совесть твоя, хлебороб? Идешь ты с такого поля домой, ложишься спать, и засыпает, видно, вместе с тобой твоя совесть. И не тревожит тебя по ночам, и не шепчет тебе в ухо все то, что должна тебе

сказать. И не будит тебя рано утром, чтобы побежал ты стремглав на свою делянку и посмотрел: что же тут натворили твои нерадивые руки? Как же разбудить твою совесть, хлебороб?» Вот это и есть в моей жизни самые трудные минуты.— Она помолчала.— Если спросите вы меня,— повторила она снова,— какие самые счастливые минуты у меня бывают? Вы поверьте мне, я не хочу перед вами хвалиться, не хочу выставлять себя напоказ. Было у меня и свое горе, но были у меня и минуты счастья, и немало мне их отпустила жизнь. Разве забуду я, к примеру, такую ночь, какая была у меня под Новый год? В ту новогоднюю ночь мне сказали, что наградили меня Золотой Звездой Героя. Я перед вами лукавить не буду, для каждого человека это — большое счастье. Да что говорить, были у меня счастливые минуты... Но вот если спросите: какая же все-таки из счастливых минут самая дорогая тебе? — я скажу: те мне дороги минуты, когда я вижу, что человек отдал всю душу своему труду, всю меру сил своих отдал земле, и земля ему ответила добром. И вот он стоит, человек, на земле и видит, как колосятся вокруг него здоровые, сильные всходы, как дышит земля полной грудью, как благодарно отвечает ему на его труд. Не только сила его вложена в эту землю,— волнения, ночи бессонные, заботы, радости, ошибки — все тут. Все, из чего состоит наша жизнь.— Она призадумалась.— Нет труда без радости, нет труда без веселья, нет труда без счастья,— проговорила она с силой.— Если человек не испытывает счастья, когда трудится, если не радуется, когда видит результаты своего труда,— значит, где-то в нем трещина. Труд хлебороба,— продолжала она свою мысль,— труд высокий. Честь хлебороба — честь большая, уронить ее нельзя. И муку мученическую я испытываю, когда вижу, как люди хотят обмануть и себя, и друг друга, и землю. Схитрить хотят с матушкой-землей!

Она опять замолчала.

Солнце уже зашло, дальний свет вечерней зари вливал в комнату, как дым. Дверь хлопнула, вошла невестка — высокая, веселая, чернобровая. Вернулся из школы после учительского совещания сын Василь. Было слышно, как на другой стороне дома хлопают двери, звенит посуда: видно, вернулась с работы дочь Мария с мужем и сейчас собирает ужинать.

А мы с моей собеседницей все сидим у окна, и ведет она свою неторопливую, свою удивительную речь. И льются ее слова так легко, так свободно, как бывает только тогда, когда человек говорит то, что у него на душе, то, о чем он задумывается часто, глубоко, когда ищет в себе и в других единственно верный, важный, насущно необходимый ему ответ.

Собеседница моя покачала головой и улыбнулась.

— Беспокойная штука — совесть! — сказала она.— И спать не дает, и есть не дает, все толкает тебя, все шепчет в ухо, чтоб проверил заново, так ли ты сделал, как она требует. Если сделал не до конца — требует доделать, если сделал плохо — требует поправить. И нет тебе сна, нет покоя, пока не послушаешь ее, пока не доведешь до конца доброе начало, чтобы зерно, тобою посаженное, дало настоящие всходы.

...Вот уже спустилась и ночь на землю. Теплый, мелкий дождик зашелестел, забормотал в листе.

Потом он утих, и в открытое окно было видно, как медленно плыло по небу большое круглое облако.

Облако прошло далеко за дом, в окне открылось густое ночное небо. И большая звезда заблестела так ярко, так свежо и чисто, словно умылась теплым предвечерним дождем.

Может быть, уже пора бы и оставить усталую мою собеседницу. Может быть, уже пора уйти из этого теплого домика с его цветами на окошках, запахом молока и свежего хлеба. Может быть, пора дать отдохнуть хлопотливой хозяйке, что сидит напротив меня на стуле, прямая, креп-

кая, как веточка, и глядит на меня своими добрыми глазами с морщинками в уголках век.

А уходить никак не хочется.

Все сидела бы здесь и слушала ее негромкий говор, слушала полные правды слова.

Мне много привелось ездить по белому свету, многих я встречала людей. И бывали люди, возможно, и статнее, и красивее, чем эта маленькая и худенькая крестьянская женщина в клетчатом бумазейном платье и платочке на седой голове.

Но в ту минуту мне казалось, что не видела я еще в своей жизни человека подобной красоты.

Прекрасна эта душа, отданная людям. Необыкновенно это сердце, полное неугомонной, страстной заботы о людях, об их труде, их жизни.

Зерно за зерном росли в душе этой женщины совесть и честь, чувство долга и тепло доброты.

Их растила сама наша жизнь. И, как всегда бывает, то, что высокая душа приняла от людей,— все возвращает она людям с избытком, щедро делясь с ними своим богатством.

Перед тем как уйти, я еще раз внимательно посмотрела в лицо Надежды Григорьевны, в блестящие, живые ее глаза со старушечьими морщинками, оглядела тихую комнату, ночное просторное небо за окнами, дерево, шумящее во дворе... Все оглядела, чтобы запомнить надолго.

И вдруг перед моими глазами встало другое — суровое и строгое, словно выточенное из крепкого дерева лицо.

То была Варвара, приемная дочь Надежды Григорьевны Заглады, вскормленная и выращенная ею.

И я припомнила удивительную нежность, которая осветила это суровое лицо, когда Варвара сказала:

— Расскажите о ней людям! Расскажите, чтобы ее жизнь и другим светила, как ясная звезда...

и голосу лишиться, и ходить как по раскаленным угольям да еще триста лет без толку по свету мотаться!

— Неожиданный какой вывод! — говорит Митя. — Не того добивался Ганс Христиан Андерсен, когда писал свою бессмертную сказку. Почему ты смеешься, Саша? Вы все реалисты, и я больше вам сказок читать не буду, у вас нет воображенья.

— У меня есть воображенья! — говорит Катя, которая не терпит, чтоб у нее не было чего-то, что есть у других.

* * *

Дзень... дзень!

Два звонка, значит, к Поливановым. Саша открыла дверь. На лестничной площадке стоял Женя. Он держал шапку в руках, волосы у него были причесаны на косой пробор, а башмаки начищены до блеска.

— Что случилось? — спросила Саша.

Глаза его смотрели растерянно, он переступал с ноги на ногу и молчал. И в ту же минуту Саша поняла, что вопрос ее груб, неуместен: человек просто пришел в гости.

— Проходи, проходи в комнату! — бодро сказала Саша, стараясь замаять неловкость. — Девочек нет, но они скоро придут.

Он разделся в коридоре, повесил пальто на поливановский крючок — видимо, заметил его еще с прошлого раза. Потом вошел в комнату и сел на то место, где сидел, слушая Митино чтение. На лбу и на руках царапины подсохли, кое-где зажили, но через всю щеку от виска к подбородку вилась причудливая царапина, уже покрывшаяся корочкой. От виска она шла к носу, но там, сделав крутой поворот, стремительно бежала к уху, а от уха через шею — к губам.

И Саша, не удержавшись, опять спросила:

— Слушай, кто тебя так изукрасил?

Женя огляделся, встал, приоткрыл дверь в коридор, потом в соседнюю комнату.

— Это секрет, — сказал он.

— Я никому не скажу.

— Поклянитесь.

— Клянусь.

— Нет, надо как следует.

— Черт меня раздери на тонкие полоски, — сказала Саша.

Он посмотрел на нее с уважением и, еще раз оглянувшись, таинственно сказал:

— Кошку душил.

— Зачем?

— Выпало такое испытание. И все. Если вы кому скажете...

— А тельняшку на груди зачем нарисовал?

— Моя кличка «Моряк». Если вы...

Отворилась дверь, и вошла Анисья Матвеевна.

— Ну, чего пожаловал? — сказала она с порога.

— Он в гости пришел, — откликнулась Саша.

— В гости!! Скажет тоже! Повадился на наш двор, со всеми дерется, беспорядок устраивает, а теперь в гости.

Женя даже бровью не повел, он неотрывно смотрел на Сашу.

— Я его пригласила! — сказала Саша, и Женя вздохнул с облегчением.

Он стал приходить почти каждый день. И Поливанов даже спросил Сашу:

— Он решил у нас навеки поселиться?

Они вместе с Анютой делали уроки, вместе лепили на дворе снежную

бабу, и Женя довольно мужественно сносил крик мальчишек про жениха и невесту. Он кому-то пообещал съездить по уху, кому-то съездил. Ребята не сразу сдались, они еще долго дразнили Женю, особенно, когда выяснилось, что они с Анютой поджидают друг друга по пути в школу. Но потом умолкли: во дворе появился парень, которого мама обряжала в гольфы, и все страсти перекинулись на него:

— Гога! — кричали ему. — Гогочка!

Саша попыталась как-то вернуться к разговору о кошке, которую зачем-то надо было душисть. — И не страшно тебе было? Не жалко? — Но Женя хмуро ответил, что ничего больше сказать не может:

— И так уж я вам проболтался. Но теперь — все!

Саша оставила его в покое и больше расспрашивать не стала, твердо зная, что рано или поздно все выяснится — или нечаянно, или сам скажет. Нет ничего тайного, что не стало бы явным!

Женя был человеком во многих отношениях примечательным. У него было две макушки. Он умел шевелить ушами. Он был бесстрашен, не то, что соседский Алик, который боялся собак, боялся входить в темную комнату и ревел по всякому поводу, как девчонка.

Алик не умел придумывать игры. Женя каждый день придумывал что-нибудь новое. Они с Анютой сочинили тайную азбуку. Они вылепили из пластилина целую страну — людей, слона, верблюда, а из картона и Каткиных кубиков построили дома. Как назвать страну — долго не думали, просто взяли название из книжки: Синегория. Анисья Матвеевна ругалась, однажды она разорила Синегорию. Аня редела, а Женя стоял молча, крепко стиснув зубы.

Пришел Митя, навел порядок, велел собирать спичечные коробки, обещал построить из них городскую стену, и дома, и еще много всякого.

Однажды Женя сообщил, что они в школе писали сочинение и он получил двойку.

— Ох, мать мне и задаст! — сказал он.

Вид у него был независимый. Но Саша все-таки подумала, что он, пожалуй, был бы рад защите.

Саша раскрыла тетрадку с сочинением и прочла: «Что бы ты сделал, если бы тебе было все позволено?» Если б мне было все позволено, я бы на переменах учился, а на уроках стоял на голове. Я бы днем спал, а ночью веселился. Я бы «здравствуй» никому не говорил и «пожалуйста» тоже. Я бы в трамвае места старшим не уступал, и плевал бы не в урну, а на мостовую. Если б мне было все дозволено, я бы взрослым говорил «ты», а ребятам «вы». Я в кино ходил бы бесплатно. В лагере я не спал бы в тихий час, купался бы с утра до вечера и с вечера до утра, я бы не ходил в кружки, а когда бы в класс входил учитель, я бы не вставал. Но если бы да кабы — во рту выросли грибы. На этом кончаю рассказ «Что бы я стал делать, если бы мне все было разрешено, что я хочу».

— Ну и ну! — сказал Поливанов. — Завоспитали тебя до смерти!

— Очень учительница рассердилась? — спросила Саша.

— У-у! Ты, говорит, хулиган. Пускай мать придет в школу, это, говорит, не сочинение, а насмешка.

— А разве нет? Конечно, насмешка, — сказала Саша, — но вот что мы сделаем: мы сейчас снова напишем сочинение — ты и Анюта. Только чур, писать правду, писать про то, что в самом деле очень хочешь, чтоб было. Давайте, садитесь!

Анюта, не мигая, глядела на лампу под круглым зеленым абажуром. Руки ее праздно лежали на коленях. О чем она думала, что видела?

Женя начал писать, едва открыв тетрадь на чистой странице. Светлые волосы торчком стояли на обеих макушках. Уши горели, всегда бледные щеки зарумянились. Катя сидит тут же. Она сидит на полу,

ВЧЕРА БЫЛА ВОЙНА*

Н. С. Тихонову

*Но все исхожены дороги,
Но все изведаны места,—
И жизнь, лишенная тревоги,
Для нас бессмысленно пуста.*

1

Настало время расквитаться мне
И рассказать о мире и войне,
Чтоб нас в воспоминаньях унесло
Поэта золотое ремесло
Туда, где гром, земля, дробясь на части,
Встает столбами до седых небес,
Где страсть борьбы и вдохновенье

страсти

Воистину, как чудо из чудес.
Где небеса, отяжелев от груза
Осенних туч, клокочущих в огне,
Свисают вниз. И здесь впервые Муза,
Нет, не явилась, а пришла ко мне.
Не в легком одеянии царевен,—
Она пришла в золе, в грязи, в крови.
Я ей одной навек остался верен
Всей силой нарастаченной любви.

Опять вдали залив барашки пенит,
И снова начинается прибор.
Уйдет любовь, и женщина изменит,
И слава распрощается с тобой,
И друг предаст, и недруг станет другом.
Оглянешься: нет никого кругом.
И жизнь твоя замкнется этим кругом
И повторится с кем-нибудь в другом.

Она одна не подведет. Одна
В огонь неслышно подливает масла
И, никому на свете не видна,
Мне одному и зрима и подвластна.

Я никогда не буду одинок,
Тасуя дни, события и числа.
Мне каждый взгляд ее, полунарек
Всегда полны таинственного смысла.
В ее руках и счастье и напасть,
Моей судьбы тревожные начала.
Ее непререкаемая власть
Меня всегда от смерти выручала.
Так выручай опять. Не подведи.
Непроворот работы впереди.
Настало время. В суматохе дней,

* Эта повесть в стихах написана в 1946 году. Полностью печатается впервые. Автор.

Где все смешалось — лица и границы,
Сказать о том, что было мне видней.
Пусть ощутимо ляжет на страницы
Все, что в душе спаленной проросло.

Пусть каторжное наше ремесло
Потом разложат, в выраженьях гибки,
До запятой словесные спецы.
Я ничего не мыслю без ошибки,
Не верую в счастливые концы,
Не представляю жизни без тревоги,
Без гибели, без жажды, без борьбы!
И только бесконечные дороги,
И только телеграфные столбы!
И только скоросты! Только ветер в уши!
На перепутье вспыхнувший костер.
Когда тебя как бомбой оглушит
По-новому распахнутый простор.
Вот так лететь. На ощупь брать
пространство,

Со всем живым вступая в жадный спор.

Я оставляю сидням постоянство,
Беру себе — движенье и напор!

2

И вот пришла последняя минута.
К востоку повернули корабли.
В последних вспышках берега Гангута
Растаяли и скрылись вдали.
И сразу ночь. И сразу шторм. И прорва
Воды и мрака. Черный произвол.
Какой-то силой дьявольской разорван
Был этот мир и брошен в перемол.
Поет. Гудит. И ахает и косит
С борта на борт. По переборкам визг.
Накренит. Раскачает и подбросит.
Перевернет и грохнет сверху вниз.
И ни воды. Ни воздуха. Ни мели.
В глазах от качки красные шары.
На палубах травили и немели.
В каютах задыхались от жары.

Нас эта ночь опутала, как тина.
Еще удар — совсем светет с ума.
И столб огня и чей-то выкрик: «Мина!»
И снова столб. И снова вспышка. Тьма.
Сползаем вниз, как сани по ухабу.

Мы влопались в последнюю беду.
И кто-то молвит: бабу дайте, бабу...
И сквернословит раненый в бреду.

Гуляет смерть вдоль леденистых палуб,
И кровь из перекошенного рта.
И ни черта! И ни надежд, ни жалоб.
Бушлаты с плеч и рыбой — за борта.

С кормы и с носа, с мостика и сходней...
Игра с судьбой, где выигрыша нет.
Весь тарарам с кровавым бредом сходен.
И мысль быстра, как молния, как свет.

Неужто плавать в тинистом растворе
На глубине в зеленоватой мгле?
Да, я люблю отчаянное море,
А умирать желаю на земле.

И где она — соломинка на случай,
И где она — причина из причин,
Которая, вконец тебя замучив,
Выносит напоследок из пучин.

И вынесла. На Гогланде в землянке,
Среди сырых обледенелых скал,
Мы собрались и стукнули «по банке»,
И, словно плахи, на пол. Наповал.

3

Над морем синие туманы,
И ночь бела.
И Петергофские фонтаны,
И ты была.
Не девушка и не подросток,
И не как все,—
Как тонконогая березка
В седой росе.
И ветер брал тебя за плечи,
За рукава.
И травы шли к тебе навстречу,
И дерева.
И столько трепета и звона
Несли они.
И враспыльную сверху склона
Огни, огни.
А ты смотрела, вскинув косы,
Из-под руки
На темно-бурые откосы,
На светляки.
Потом пошла туда, где пена
С откосов — вниз.
И я кричал тебе: «Елена,
Остановись!
Не торопись, не надо, слышишь!
Постой! Куда!»
А волны поднимались выше —
До плеч вода.
И я тогда махнул руками:
Не все ль одно.
Последний вздох, и, словно камень,
Пошел на дно.
Там звезды красные блистали
Средь черных глыб.
И надо мной мелькали стаи
Зеленых рыб.
Густые водоросли стыли,
Средь них, скользя,
Со всех сторон, качаясь, плыли
Мои друзья.

Тельняшек рваных и бушлатов
Протек поток.
И снова в мраке синеватом
Зардел восток.
И снова розовая пена
И пузыри.
И ты опять пришла, Елена,
В лучах зари.
Пришла как суд и как расправа.
Но только нет!
Ты не имеешь даже права
Входить в мой бред.
Раз ты ушла, другим томима,
Так пусть другой
И назовет тебя любимой
И дорогой.
И в сновиденья и в тревоги
Иди к нему.
А наши кончились дороги.
И все в дыму.
В дыму и завтра и сегодня,
В огне вчера.
На пристань сбрасывают сходни.
Вставай, пора!
И цепи брякают о блоки,
Гремят тюки.
Уходят тральщики к востоку,
Как утюги.
И льды до самого Кронштадта —
Не протолочь.
Чернее черного бушлата
Ложится ночь.

4

По самые плечи заносы.
Снега. И ни троп, ни дорог.
С Кронштадта до Лисьего Носа
Я ноги едва доволок.
Ни крика. Ни стопа. Ни лая.
Ни дыма в дому. Ни огня.
Лишь ветер крепчал, завывая,
До самых костей леденя.
Все кругом, хоть падай на спину.
Густа безучастная тьма.
И, заячьи шапки надвинув,
Угрюмо смотрели дома.
Что нужно солдату? Довольно
Скупого тепла в шалаше.
Мертво. И так горько, так больно
И так одиноко душе.
Куражит проклятая замать.
Ничем не удержишь ее.
Перстом указательным память
Листает мое бытие.
Мелькают события. И лица
Встают из пустой темноты.
И самой заглавной страницей
В той книге начертана ты.
Так ясно я вижу. Сначала,
Смеясь, балагуря, маня,
Зачем ты любить обещала
И не полюбила меня.
Чтоб видеть тебя и услышать,
Из грома воды и огня
Я выбрался, выжил и вышел,
Но ты не любила меня.
Я знал, что такое измена
И верность. И снова, кляня,
Я жду тебя, слышишь, Елена! —
Но ты не полюбишь меня.

Пусть ночь залегла, закрывая
 На этом пути маяки,
 Неси меня снова, кривая,
 Сквозь все и всему вопреки.
 Неси меня в белое пламя,
 В поющий и пляшущий снег.
 ...И вдруг пред моими глазами
 Из снега возник человек.
 Возник из широкой метели,
 Из чертовой прорвы возник.
 Усы его заиндевели,
 В морозном дыму воротник.
 Склоняется к самому уху,
 Кричит через ветер, сквозь вой,
 С надрывом, по-старчески глухо:
 — Живой или мертвый? — Живой!
 — Живой, так идем, отогрейся,
 Да только не больно спеша.
 ...На случай всегда не надейся,
 Но мир не без доброй души.
 В зеленом дыму от махорки
 Мигает и гаснет свеча.
 Я как-то оттаял в каморке,
 В тепле у Кузьмы Ильича.
 Домашним теплом разогретый,
 Он был собеседнику рад.
 Служил он на станции этой,
 Наверно, лет сорок подряд.
 Хорошая жизнь. Да под старость
 Все прахом пустила война.
 И вот ничего не осталось
 На черный денек, старина.
 Один ты. Сынку командиру,
 Знать, некогда письма писать.
 Последнюю нынче квартиру
 Старухе пришлось подыскать.
 Так мы до утра просидели
 Над мертвой хозяйкой вдвоем.
 И скорбные мысли кипели
 В бессонном сознание моем.
 Потом на высокие санки
 Фанерный поставили гроб.
 И бранные эти останки
 С сугроба vezли на сугроб.
 Обратной дорожкой еле
 Довел я домой старика.
 Над белым заливом седели
 Во весь горизонт облака.
 И вспышки на всем горизонте.
 — Прощай! Мне пора. Ухожу.
 — Сынка, может, встретишь
 на фронте,

Пусть пишет почаще...
 — Скажу!

5

У мертвого Летнего сада,
 Покой охраняя пустой,
 Чугунная стыла ограда,
 Равняя незыблемый строй.
 И старые липы, как тени,
 Одетые в зимний наряд,
 В сугробы вросли по колени
 И с места сойти не хотят.
 Невы белоснежное поле,
 В дневной погруженное сон.
 И два корабля на приколе,
 И контур Ростральных колонн.

И в самом деле можно не поверить,
 Что, сбросив тяжесть гробовой доски,
 Жизнь на мороз распахивала двери
 И сохраняла в холоде рости,
 Как вымысел о Сфинксе и Кентавре,
 Как серный запах Дантова огня.

Я шел по Александрo-Невской лавре,
 И звезды осыпались на меня.
 И звезды жгли. И возникали звуки
 И падали на пухлые кусты.
 Со всех сторон, вытягивая руки,
 Сбегались одноogie кресты.
 Мир призрачен. Вернее — он прозрачен.
 Он непонятен. Он донельзя прост.
 Какой-то новой мыслью озадачен,
 Он онемел. Он превращен в погост.
 И я, как крест на собственной могиле,
 В крутой сугроб по самый пояс врос.
 Еще моих грехов не замолили
 И надо мной не проливали слез.
 И не прольют. К чему скучные слезы?
 Закроется могильная дыра.
 Раздумье оборвали на морозе
 Упругие удары топора.
 Старуха крючковатыми руками,
 Полусогнувшись, из последних сил,
 Под самый корень подрубала память
 О бывшем человеке. Я спросил,
 Я упрекнул. Она в ответ: — Как хочешь,
 Я не чужой, а мужнин, видит бог.
 А ты чего впустую лясы точишь,—
 Ты посильнее — взял бы да помог...
 И я помог. Я нес вязанку щепок
 До самого Гостиного двора.
 Был воздух сух. Мороз ядрен и цепок.
 Тревожная полночная пора.
 И город тих, присыпанный порошей,
 В мерцающей светящейся пыли.
 Подскакивая, хлопали в ладоши
 На мертвых перекрестках патрули.
 И я помог. Угрюм и безотказен,
 Я шел за ней, за двери, за порог,
 Где скудный свет горел мышиним

глазом
 И оседал тяжелый потолок.
 — Усни, сынок.— Я примостился с краю
 Под полушубок на пустой диван.
 — Невеста есть? — Невеста... нет,
 не знаю.
 — Найдем невесту...— И поплыл туман.

7

Метелица. Белая пена.
 Сугробы. Наметы. Снега.
 Опять ты приходишь, Елена,
 Как прежде, чиста и строга.
 Опять ты приходишь из давней,
 Почти позабытой мечты.
 Из той отгоревшей, когда мне
 Впервые увиделась ты.
 Когда сумасшедшая вьюга
 До крыш пеленала дома.
 И в шубе, затянутой туго,
 Плясала и пела зима.
 И снова из той неповторной
 Метелицы, бьющей на нас,
 Опять разгорается черный
 Огонь немигающих глаз.

И снова лохматая пена,
 Почти позабытая ложь.
 Опять ты приходишь, Елена,
 И около сердца встаешь.
 И ветер опять замедляет,
 И пляшет зима и поет.
 Дай руку. На сердце растает,
 По капле растопится лед.
 Чтоб в полной красе перед нами
 На миг расступилась сама,
 Тряхнув голубыми снегами
 В серебряных искрах зима.
 И что там? Разлука, измена,—
 Сегодня они не для нас.
 Я, кажется, слепну, Елена,
 В огне немигающих глаз.

8

Зима.
 Дремотного инея бахрома.
 Дома в снегу. И люди, как пророки.
 О, как они сегодня одиноки!
 О, как они беспомощны сейчас!
 О, как они безропотны и строги!
 Голодной вереницей, без дороги
 Бредут весь день, не поднимая глаз.
 Глаза запали, скорбны и глубоки.
 Зеленые ввалившиеся щеки,
 Обтянутые острые носы.
 И все в снегу. Все в инее. Деревья,
 Как витязи из древнего поверья.
 Ветвей тяжелых мраморные перья
 Неповторимо сказочной красоты.
 И все в снегу. Все в инее. Решеток
 Прямые копыя. Белый парашют.
 Лиловый и голубоватый свет.
 И каждый взгляд, и каждый шаг
 не четок,
 Все зыблется. Все пляшет и течет,
 Как в полусне и как в полутумане.
 Сейчас весь город распадется, канет,
 И смерть придет и потеряет счет.
 Давным-давно потерял счет потерям.
 А ты идешь. И ты еще уверен,
 Полуживой, голодный человек.

Вокруг зима. Нет ни тепла, ни кровель.
 Быть может, ты не видишь. Так бескровен
 Стекланный взгляд из-под свинцовых
 век.

И я иду.
 И я не упаду.
 Куда меня уносит, окружая,
 Чужая радость и беда чужая.
 Какая радость? Не кощунствуй! Стой!
 Есть только горе. Горечи настой
 Питает сердце, и руками движет,
 И мысль на мысль в бессонном бденье
 нижет.

Гляди, поэт. Ты не свидетель, нет!
 Здесь жизнь твоя, здесь смерть твоя
 и слава.

Тебе дано единственное право
 Понять народ, свою тоску поправ,
 Ты часовой кровавых переправ
 В грядущее...

9

Бывают удивительные люди.
 Их ничего на свете не принудит

И никакая не согнет беда.
 Такой была и бабушка. Когда
 Все подчистую вымерли в квартире
 И темный ужас поселился в ней,
 Она душою раскрывалась шире
 В великой неподкупности своей.
 И для меня она была как чудо.
 Я до сих пор не ведаю, откуда
 Бралась в ней сила и тепло души.
 По-разному бывают хороши
 На свете люди. Право, иногда мне
 Вся жизнь моя покажется пустой,
 И мысль тупой, и сердце черствым
 камнем
 Пред этой откровенностью простой.

Я свой рассказ неспешно поведу.
 Вся жизнь ее открыта, на виду,—
 Поэтому чиста и незаметна.
 Она жила одна, была бездетна.
 Привыкнув к положенью своему,
 На черный день не берегла излишек.
 И шила от артели на дому
 Приданое для малых ребятишек.

А как пошла военная метель,—
 Куда-то в Буй уехала артель,
 Заказ оставив с грудой полотна.
 И бабушка осталась одна.
 Я заходил к ней часто ночевать
 И подружился не на шутку вскоре.
 Проснешься утром. Чуть светло.
 Опять
 Машинка у окошка тараторит.

Какой она надеждою жила,
 Какая в ней уверенность была,
 Какая удивительная сила,—
 Что даже смерть ее не подкосила.

Знать, жизнь ее не баловала
 счастьем,
 Но все-таки, довольная собой,
 С каким всеподкупающим участием
 Она чужой тревожилась судьбой!

И в этом, может быть, наверно в этом
 Ее судьба и счастье. Как-то летом
 Я к ней зашел. Усталый. По колена
 В густой грязи. С хозяйкой перемена.
 Накрыла стол. Прибавила огня.
 Все суетится. Не находит места.
 И вдруг решила: — Знаешь, у меня
 Есть для тебя хорошая невеста.

Ну что с тобой поделаешь, старуха.
 Я слушал эти разговоры сухо.
 Но все-таки, с каких, не знаю, пор,
 Мне стал приятен этот разговор.
 Я знал, что есть у бабушки соседка,
 Красивая солдатская вдова.
 А как мы повстречались? Нередко
 Мы забываем первые слова.

10

Не знаю, кем я стал в твоей судьбе.
 Тревогой и усталостью измучен,
 Я с темных улиц приходил к тебе,
 Как случай.

Как оживает дерево в ночи,
Зеленою листвою обрастая,
Об этом зная, на ветвях кричит
Всю ночь грачей косноязычья стая.

Выходят из коробки вырезной
Прозрачный лист и клейкие волокна.
Под утро глянешь: в зелени сквозной
Прохладный воздух растревожил
окна.

И робко к окнам подступает сад,
Как девочка, по-детски он опрятен,
И солнце начинает наугад
По всем дорожкам перебежку пятен.

И первый вздох свободен и глубок.
Вздохнешь, и убеждаешься вочью —
Клубок недоумений и тревог
Был до конца размотан этой ночью.

Здесь ничего о прошлом не скорбит,
Здесь новый мир с тобою
соразмерен.
И кажется, что груз твоих обид
Совсем забыт или навсегда потерян.

12

— Валентина,— сказал я,— зачем ты
грустишь, Валентина?
Посмотри, как туман на вечернюю
хлынул зарю.
Как легка и тонка на седых тополях
паутина.
Валентина, стой! Я совсем не о том
говорю.
Валентина,— сказал,— смотри,
поднимается, вот он,
Этот город трагедий, он дымкой, как
сказкой, обвит.
Он из воздуха, что ли, из белых туманов
сработан.
От колонн и порталов, от шпильей
до каменных плит.

Я люблю этот город, где сказка и явь
воедино
Неразрывно сплелись, в холодеющем
свете лучась.
Мне легко и свободно. Мне грустно
сейчас, Валентина,
Мне светло и тревожно. Я все позабуду
сейчас.

Видишь, мир изменился. Я все позабыл,
Валентина.
Как гигантские ландыши, встали из трав
фонари.
Нет, не Марсово поле, не Летний,
а это — долина,
Не дома — это скалы в малиновом свете
зари.
И не горький бензин. Это запах росы
и жасмина,
Это темные тропы, известные только
судьбе.

Это руки твои, это сердце твое,
Валентина,—
Это тот перекресток, где мы
не подвластны себе.

13

Под окнами лиловую сирень
Ультрамарином ливнем перекрасил.
Ты в первый раз смеялась в этот день,
Как ласточка, летая по террасе.

На теплые поёмные луга
Струился полдень полосами света,
Огнем переливаясь, жемчуга
В ладони листьев скатывались с веток.

А сад дышал испариной в дыму,
Он изнемог. Он был дождем заласкан.
Он протянулся к сердцу твоему
Шиповником, приколотым на лацкан.

14

И только губы. Только руки. Только
Твои глаза и шире и темней.
И музыка. За вальсом вальс. И полька.
Слепящее мелькание огней.
И сад в росе. И снова трубы, трубы,
И тонкие, как иволги, смычки.
Горячие закушенные губы.
И в темноте горящие зрачки.
И сад в росе. Он говорлив и клеек.
И свет и тьма. И снова свет и тень.
И пеною над спинками скамеек
Кипит и осыпается сирень.
И сад в росе. Росой и пеной дышит.
Отчаивайся! Радуйся! Грусти!
За кругом круг. Не торопись. Потихе.
Остановись, чтоб дух перевести.
И сад в росе. Ни трепета, ни шелка.
Нисходит ночь. И мы у ней в плену.
И мы одни. И музыка умулкла.
И облака завесили луну.

15

Открылось небо цвета стали
Холодной мертвой синевы.
Лучи отвесные упали
На оба берега Невы.
Застыл, недвижим, неколышим,
Обритый пулями, сосняк.
Из блиндажа в траншею вышел
И дал команду Симоняк.
И сразу обдало из щелбня
Огнем тропической жары.
И танки ринулись с гребня
По склону Пулковской горы.
И вот пошли «катюши» жакать.
Сама земля сошла с ума,
Когда ударили с размаху
Все раскаленные грома.
И вот пошла неразбериха.
Оглох и раскололся мир.
И все горит. И только выход
Спокойный видит командир.
Казалось, мир на тонком нерве
Дрожит и держится пока.
Я встретил Громова в резерве
Триста четвертого полка.

И я обрадовался. Боле —
Был поражен и удивлен,
Когда узнал, что это Коля,—
Твой сын, Кузьма Ильич. А он...
О, если б ты его увидел,
Поговорил бы только сам,
Наверно б не был ты в обиде,
Что он письма не написал.
Да, он бывал в таких походах,
В таких местах, как говорят,
Откуда письма не доходят
И даже галки не летят.
Пел телефон на тонкой ноте.
И плакал провод на ветру.
Пришел приказ резервной роте.
И мы простились. Поутру.
Мне рассказали в медсанбате,
Что он убит. Крутился снег.
Был снег подобен грязной вате.
Деревья плыли, как во сне.
Скрипели черные березы,
И рвы окутывала тень.
Однообразные обозы
Уже тянулись на Кипень.

16

Поет метель. В дубленые тулупы
Сама зима окутывает трупы.

Последний сон. Последняя постель.
Отголосит отходную метель.

Ни холода не надо, ни тепла.
И только память о друзьях светла.

Исходит кровью бледная заря.
И от смертей тупеют писаря.

17

Я десять дней не видел Валентину.
Двум вечностям равнялись десять
дней.

И я летел, и десять ветров в спину
А может сто, подталкивали к ней.

И я летел, медлительность кляня.
Еще квартал. Еще два дома. Близко.
Но в это утро встретила меня
Написанная наскоро записка.
«Он жив. Я оказалась в стороне
От вас обоих. Не ищи, не надо.
Теперь прощай». И стало душно мне
Под белыми ночами Ленинграда.

18

Был этот день торжественен и ярко.
И синева густа и глубока.
Литые кони триумфальных арок
Копытами взбивали облака.
Как будто солнце было заказное
На этот день. И музыка плыла.
Весь город цвел. Пылал в звенящем
зное,

До облаков вздымая купола.
Он весь в цветах. Он весь в знаменах.
В громе

Военных маршей. Гулок и глазаст.
Он ничего сейчас не знает, кроме
Той радости, которой не отдаст.
Гремели танки мостовой торцовой,
В движении стремительно легки.
Во всю длину на площади Дворцовой
Равняли строй гвардейские полки.
Так вот оно, прошедшее все беды,
Ни перед чем не падавшие ниц,
Суровое величие Победы.
Мельканье касок, загорелых лиц,
И потных плеч, тяжелых плеч солдата.
Колонна за колонной, без конца.
И ни души знакомой. А когда-то
Я здесь служил. Знал каждого бойца.
Но не ищи. Ведь сколько б ни искал,
Здесь не найдешь — напрасная

работа.

Друзья остались у Гангутских скал.
Под Марьином. В Синявинских

бологах.

Под Красным бором спят друзья мои.
Под Нарвою. Под Выборгом.

И в пущах

Курляндии. Окончены бои,
И мертвые спокойны за живущих.
И грустно мне. Но мысль моя чиста.
Как будто вновь я шел от боя к бою.
В дыму сражений грозные места
Сегодня развернулись предо мною.
И снова стой и снова замечай.
Ты на посту будь до конца

глазастым.

И вдруг ко мне подходит Николай,
Трясет меня за плечи: — Здравствуй,
здравствуй!

— Откуда ты? Да разве ты живой?
— Как видишь, писаря похоронили...

И мы пошли над светлою Невой.
И город таял в золотистой пыли.

Взлетали в небо красные огни
И падали на звонкую ограду.

А мы шагали медленно одни
По тихому Таврическому саду.

Уже туман на воду напознал.

Висела голубая паутина

Между ветвей. И я ему сказал:

— Вот здесь меня встречала

Валентина.

Но он меня на слове перебил.

В нем тихая печаль заговорила.

— Я знаю все, и я ее любил.

И, кажется, она меня любила.

Зачем здесь оправдания! Молчи.

Не обвиняй и не пеняй на случай.

Мы просто перепутали ключи,

И каждый был по-своему проучен.

19

Изо всех заходиловок — так их зовут
на Литейном,
Больше всех полюбился мне каменный
полуподвал.

По различным причинам в чистилище этом
питейном

Ваш покорный слуга, сознаюсь,
не однажды бывал.

Там какой-то художник, поклонник
наполненной кружки,

Над буфетною стойкой затейливый вывел узор:
 На оранжевой кочке пьют пиво четыре лягушки,
 И над ними, как небо, стоит голубой мухомор.

Превосходная живопись. Мало мы в ней понимаем,
 Если в наши мозги не вошел ослепительный хмель.
 Трезвый видит обычно. Сюда мы зашли с Николаем,—
 Не печалься, приятель. Плыви и крутись карусель.

Что ж такого! Ведь если раздумать, так все мы
 Не любители выпить, когда на печенках серо.
 ...Тут почтеннейший критик увидит начало богемы
 И, уж ясно как день, наострит на поэта перо.

Сразу тошно желудку. Но все-таки бодро и стойко
 Отпаривую этот почти смертоносный удар.
 — Знаешь, милый приятель, иди по-хорошему к стойке —
 Так и быть угощу — у тебя небольшой гонорар.

Только стой и смотри. Если надо — приду на подмогу.
 Вот хотя бы хозяин, в нем сила и сметка видна,
 Волочит он с почтением свою деревянную ногу,
 Он нашивки спорол и в комод положил ордена.

Славный малый и честный, ей-богу, на диво,
 От широкого сердца потрафит внимательно вам.
 Я ручаюсь, что он не разбавит ни водки, ни пива,
 Даже в долг, если хочешь, поверит не больше ста грамм.

Только стой и смотри. Здесь бывают такие утробы,
 Прямо диву даешься — откуда в них сила и прыть,—
 Представляете: входит и просит пол-литра для пробы,
 Опрокинет за ворот — и ну до закрытия пить.

И куда только лезет! Кряхтит, отдуваясь, детина.
 Вот с блуждающим взглядом неслышно вошел спекулянт.
 Он сто сорок костюмов недавно привез из Берлина.
 Это — сволочь большая, но все-таки тоже талант.

Легендарная личность о двух костылях у окошка

Подгулявшим студентам о разных сражениях врет.
 Ободралась шинель, и лицо закоптело,
 как плошка:
 Он вторую неделю с утра и до вечера пьет.

Вот безглазый матрос восседает, как идол, на бочке.
 Обнимает гармонь, безысходной тоской обуюн.
 — Эй, братишка, довольно! Не надо о синем платочке —
 Спой, чтоб сердце в осколки! — И тонко заплакал баян.

Я все расскажу, ни о чем не смолчу,
 Пусть горечь вскипает, как брага.
 Пришло известье Кузьме Ильичу —
 С казенной печатью бумага,
 Что сын его пал на Вороньей горе,
 Что он, как герой, похоронен.
 И вздрогнули брови в густом серебре,
 И камень на сердце обронен.

И вот мой старик завязал в узелок
 Селедку с краюхою хлеба.
 Взял крепкую палку, ступил за порог
 И перекрестился на небо.

И вправду дорога была далека,
 Добраться здоровому впору.
 Пошел он проведать могилу сына
 На эту проклятую гору.

Он шел, задыхаясь, по майской жарс,
 Не ел, не курил самокрутки.
 И словно к спасенью к Вороньей горе
 Под утро пришел через сутки.

Он сел отдохнуть. Зеленела трава.
 Прохладой несло от долины.
 Склонилась седая его голова,
 И ветер погладил седины.

Сплошные воронки. Глухой бурелом.
 Да желтеньких бабочек стая.
 Да темные ели шумели кругом,
 До самых небес вырастая.

Земля, как обломки чудовищных скал,
 В железе, в разбитом бетоне.
 До самого полдня старик проискал
 Могилу на северном склоне.

Ходил от могилы к могиле и гнул
 Худую сутулую спину.
 И кто его, право, не зная, толкнул
 Ступить на забытую мину.

И солнце померкло в горячей пыли
 И ахнуло эхо от злости...
 Польночь и мятой теперь заросли
 Его одинокие кости.

Не горюй, Николай. Для живых
 безысходного нету.
 Встало утро над миром. Врывается
 в окна рассвет.

Вот поэт выступает под мухой, как надо
поэту.
Эй, соседи, потише! Пускай повествует
поэт.

Полжизни прожито. И ни семьи, ни дома.
Ты отдал все и лишь себе сберег
Пожар в глазах, далекий рокот грома,
И медленные полосы дорог,
И девушку, то, чуждое изменам,
Воспоминанье легкое, как свет,
Как перебежка зайчиков по стенам,
Как все, чему определенья нет.
Нет, ты не выдумал, не выдал
И травам, и воде, и небесам.
Четыре года ты ее не видел,
Четыре года писем не писал.
Мы не делили женщин, как трофеи,
Нам некогда газетъ по сторонам.
Двенадцатикопеечные феи
Боялись даже подступить к нам.
Четыре года яростной горячки,
Где только ветер носится, трубя.
Эстонки, черногорки и полячки
Завистливо смотрели на тебя.
Все мимо шло. Все мимо, мимо —
В огне, в железе, в громе и в дыму.
И некогда раздумать. Нелюдимо.
И страшно одиноко одному.

Чего ж ты стал, как будто в землю
вкопан,
Опустошенный горькой правдой всей?
Давно твоя сбежала Пенелопа,—
Напрасно ты вернулся, Одиссей.

Только кружки гремят, как удары
раскатыстых пушек,
Только дым синеватый качается, как
водоем.
На оранжевой кочке пьют пиво
двенадцать лягушек.
На сегодня достаточно. Хватит по горло.
Идем.

20

В неизгладимой памяти грохочет
Уже неповторимое вчера.
Заснуть нельзя — такие нынче ночи!
Забить нельзя — такие вечера!
Такой туман. Такой прозрачный трепет.
Скороговорка листьев и воды.
Открой глаза, не бойся: не ослепит
Рассвет в росе, идущий на сады.
Как небосвод, прямой иглой проколот,
И плечи расправляя не спеша,
В сиянье света оживает город —
Крылатая и легкая душа.
Ему бы парус да попутный ветер,—
И хрусталами хрупкими горя,
Он, как корабль, рванулс я на рассвете,
С размаху обрывая якоря.
И — в океан. И только ночь в рассвете
Холодных звезд. В кипенье белых пен.
Волна к волне. Ис Югом смешан Север,
И ни тревоги нету, ни измен.
А только песня на седом просторе.
И только ветер. На таком ветру
Я все земное позабуду горе
И от последней радости замру.

26

И нет конца, и далеко развязка.
Суровое величие твое
Забить нельзя. Заснуть нельзя.
И сказка
В тревожное приходит бытие.

21

Каналов голубые рукава
И легкий холодок из подворотен.
Прозрачная и теплая Нева.
Деревья тихи. Свежий воздух плотен.
О, час рассвета! Самый ясный час.
Наверно, он и нам на помощь выслан,
Наверно, он и проясняет нас
И наполняет простотой и смыслом.
Нет, незачем вину искать в вине.
Нас встреча и разлука укачала.
Мы шли, как стебли, в желтой глубине
По набережной Крюкова канала.
Ленивая пятнистая вода
Текла под нависающие своды.
Неистово кричали поезда
И весело трубили пароходы.

22

Будь трижды проклят этот день!
Он на судьбе моей, как тень.
Будь трижды проклят этот час,
Когда судьба столкнула нас.
Пусть сила ветра и воды
Навек сотрут твои следы.
Пусть время вырвет до корней
Тебя из памяти моей.
Но сердце, что с тобой? Постой!
Все это только звук пустой.
Все это ложь. Случайный бред.
Елена, видишь синий свет.
В росе луга, и в звездах высь,
Хоть смутным эхом отзовись.
Я век назад сошел с ума.
Ты знаешь обо всем сама.

23

Покуда снег не выпадет. Покуда
Деревья листья на рассвете жгут,
Я жду тебя, как ждут суда, как чуда,
Как смерти и помилованья ждут.

24

Белые хлопья и черные копыя оград.
В сумерки канула. В синих огнях отмелькала
Первая встреча. Обрато. Назад. Наугад.
Тихо бреду вдоль пушистых решеток канала

Вот этот сад,— он чугунной оградой
плетен.
Глупая память тебя еще держит на свете.
Мир, словно камень, бесстрастен сегодня.
Сквозь сон
Свет догорающий призрачный след
не осветит.

Что ты сберег от дорог, от тревог и к чему
Ищешь и ждешь, словно первого взгляда
вначале?

Все отошло, потонуло в далеком дыму —
Ветер золу разметал на последнем
привале.

Что за привычка сквозь сумрак брести
наугад,
Плечи сутуля под эту вечную ношей.
Белые хлопья и черные копя оград.
Где ты, Елена? Дороги покрыты порошей.

25

По горизонту черные туманы.
Земля в золе, и в пепле города.
Мы из мальчишек вышли в ветераны,
И сами не заметили когда.

Азарт горяч, и голос ветра громок.
Не жизнь — бивак. Но я ее люблю.
Тебя нравоученьями, потомок,
Я, упаси господь, не оскорблю.

Ты сам поймешь. Ты не посмотришь косо
На жизнь мою. На угловатый стих.
Я не картину — черновой набросок
Тебе оставил о делах своих.
Уж слишком необузданным и быстрым
Был наш тяжелый раскаленный век.
Размашисто, безжалостно, как выстрел,
Горел и рассыпался человек.
О, как мы жили! Горько и жестоко.
Ты глубже вникни в страсти наших дней.
Тебе, мой друг, наверно, издалека,
Все будет по-особому видней.
Мы лишь костями выстлали дорогу,
А сами не добрались до вершин,
Но ты клянись торжественно и строго
Все довершить, что я недовершил.
Припомни о распластанных солдатах
На переправах, на разбитом льду.
И сделай жизнь, которой в медсанбатах
Они в последнем грезили бреду.
Их подвиг был упрям и необыден.
И молчалив. И не пошел им впрок.
Так пусть тебе и будет не обиден
Их зависти заслуженный упрек.
Истории трагедия и драма
Без слова роли раздавали нам.
Победа с нами:
Слишком много хлама,
Валяясь, догнивает по углам.
И нам, конечно, этот вид несладок,
Просторных стен, заложенных в дыму.
Мы не успели навести порядок
В построенном для будущих дому.
Ты двадцать раз разрушишь это зданье,
И сорок раз перечеркнешь чертеж.
Но все-таки уменьем и стараньем
Все до конца, как надо, доведешь.
Так я хочу. Чтоб голубые своды
До звезд воздвиг. Чтобы душою вник
Ты в мировые таинства природы,

В ее неумирающий язык.
Чтоб мир земной во всем многообразье
Перед тобой раскрылся до конца,
Чтоб нам в огне увидевшийся праздник
Не отходил от твоего крыльца.
Чтоб ты был смел и храбр и телом
крепок,

Со всеми прям и ненавидел ложь.
Чтоб ты своим характером на слепок
С друзей моих был чуточку похож.
Чтоб ты прошел, со всем на свете споря,
Уверенною, твердою стопой.
А нам навек по горло хватит горя
И радости нечаянно скупой.

26

За прошлым днем вдогонку ветер
послан.
Четвертый день бесчинствует пурга.
Меня вплотную обступили сосны,
Мохнатые февральские снега.

Четвертый день поземка землю шарит
Воронками косматой кутерьмы.
И вдруг всего тебя, как спирт, ошпарит
Воспоминанье, вставшее из тьмы.

Протяжный звук охотничьего рога
Сигнал тревоги запоет в трубе.
И снова позабытая дорога,
Стряхнув сугробы, кинется к тебе.

Из сумрака движенье соразмерив,
Она в дверной бросается пролет.
И муза настезь раскрывает двери,
И за окном метелица поет.

27

Стареют ясные слова
От комнатного климата.
А я люблю, когда трава
Дождем весенним вымыта.
А я люблю хрустящий наст,
Когда он лыжей взрежетя,
Когда всего тебя обдаст
Невыдуманной свежестью.
А я люблю, как милых рук,
Ветров прикосновение.
Когда войдет тоска разлук
Огнем в стихотворенье.
А я люблю, когда пути
Курятся в снежной замаяти,
А я один люблю брести
По темным тропам памяти.
За тем, что выдумать не мог,
О чем душа не грезила.
И если есть на свете бог,—
То это ты — Поэзия.



СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

РОМАН

ВТОРАЯ КНИГА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

— Ну, Анюта,— сказала Анисья Матвеевна,— кто ж тебя в первый раз в школу-то поведет?

Аня ответила:

— В первый день меня поведет мама. Во второй — ты или бабушка, а в третий, если захочет,— Митя.

И он настал, этот день — первое сентября 1944 года. Они проснулись очень рано, обе — Аня и Саша. Но Анисья Матвеевна поднялась еще раньше. Она выгладила сатиновое синее платье и пришила к нему белый воротничок. Она, строго приучавшая Аню чистить башмаки, сегодня сама их начистила до блеска. А на столе стоял царский завтрак: горячее молоко и белый хлеб с маслом!

Катя, которой было уже два года и которая очень любила поесть, тоже вскочила с кровати и уселась на стул против Ани.

— А помнишь,— сказала она,— ты один раз пила молоко и оставила мне?

Анюта налила ей молока на блюдце и сказала:

— Не обожгись!

— А хлебушка белого? — осторожно сказала Катя.

— Дала бы человеку поесть! Человек в школу собирается,— сердито сказала Анисья Матвеевна.

Аня ходила по комнате так, будто проглотила аршин — очень прямо и осторожно. Она боялась сесть, чтоб не помять платье, боялась повернуть голову — как бы не растрепались волосы.

— В добрый час! — сказала Анисья Матвеевна, когда Аня и Саша спустились с лестницы.

И снова Саша ведет свою девочку по московским улицам.

Город ее детства и юности. Вспоминала ли она его там, в Ташкенте? Ей было некогда вспоминать. Она просто помнила его постоянно. Может быть, она даже не знала, что помнит. Он вставал перед ней вдруг и всегда неожиданно. Кривым переулком, по которому они когда-то бродили с Юлей. Зачем они оказались там? Этого Саша не помнила. Вечер. Зажигаются окна. Вдалеке — старая церквушка... Саша ведет за руку маленького Лешу. Он размазывает по лицу слезы, а она говорит наста-

вительно: — Ну, не плачь, не плачь... Сколько же ей было тогда? И этого она не помнит. Много, много раз видела она Красную площадь. Но теперь ей кажется, что она видела ее только однажды. В памяти вставали темные на темнеющем небе стены Кремля. Саша с Андреем идут через Красную площадь мимо Мавзолея, вниз к реке. Саша запрещала себе об этом вспоминать и долго, долго не вспоминала...

И вот снова перед ней — Москва. Саша вернулась сюда, став взрослой. Сколько же для этого должно было пройти лет? Всего три года. Но столько вместили эти три года — целую жизнь! Сейчас ей кажется, что только там, в одиночестве первых ташкентских месяцев она по-настоящему поняла, что значит быть матерью. Только в разлуке с отцом поняла, что значит быть дочерью. Только ожидая писем с фронта и видя солдат, выходящих из госпиталей, она поняла, что значит быть сестрой своего брата. И, конечно, только сейчас она поняла, что значит быть женой. Нет, прежде она этого не знала.

Саша идет с Анютой по московской улице. На этот раз их путь недалек, школа за углом. Сентябрь. Еще не опали листья с деревьев. На школьном дворе стоят большие, старые деревья. Сколько школьников перевидали они на своем веку! Сейчас здесь одни девочки. Они нарядные, с разноцветными бантами, но Саше не нравится, что здесь одни девочки. И зачем так сделали? И еще одно замечает Саша: с другими девочками тоже мамы, отцов совсем мало...

Двоих привел дедушка: седой, сгорбленный, руки дрожат. И только один папа на школьном дворе — в выцветшей гимнастерке со споротыми погонами. Он держит букет, и лицо у него торжественное.

На порог школы выходят три женщины, это учительницы первых классов. Одна из них, видно, только что кончила институт. На блузке комсомольский значок. Что-то в ней есть мальчишеское, лихое: короткая стрижка, вихор на макушке, а глаза чуть растерянные, и руки не знает, куда девать. Ей хочется быть и веселой, и приветливой, но она боится, как боится всякая учительница, впервые встречающая своих будущих питомцев. А они боятся ее. Аня крепко сжимает Сашину руку и шепчет:

— Боюсь.

Другая учительница чуть постарше, миловидная, с гладкой кожей, гладкой прической, в гладком сером костюме, над губой маленькая черная родинка. Она держится уверенно, она громко и ласково говорит:

— Первый «а»! Ко мне!

До чего же они смешные, те, что бегут к ней, они чем-то похожи на цыплят. Все смешалось, перепуталось, кто-то спрашивает:

— А я первый «а»?

Кто-то зовет в последний раз безнадежно и отчаянно: — Мама! — и учительница начинает толково и быстро расставлять их в пары.

Значит, не Анина, — подумала Саша и с надеждой взглянула на ту, что с вихорком: — как бы хорошо, если б Аня попала к ней! Но нет, молоденькая сказала дрогнувшим голосом:

— Первый «б»! Ко мне!

Аня была зачислена в первый «в», и Саша перевела глаза на высокую пожилую женщину в синем английском костюме.

— Мама, она злая? — шепотом спросила Аня.

— Ну, почему ты думаешь? — неуверенно ответила Саша. Учительница была нисколько не злая, она, наверно, была просто строгая. Она даже улыбнулась, показала два металлических зуба и сказала спокойно и властно:

— Первый «в», становитесь в пары! Мамаши, прошу прийти за детьми в половине первого!

Сердце Саши сжалось, она отпустила Анину руку. А та женщина, которая будет иметь над Аней такую же власть, как она, шла вперед,

не оглядываясь, а за ней испуганно и покорно, сбивая шаг, тянулась вереница девочек с короткими косичками и пестрыми лентами. Открылись двери, впустили эту робкую вереницу и захлопнулись. А мамы все еще стояли на школьном дворе и не знали, что делать дальше.

Теперь, когда Ани с ней не было, Саша оглянулась и увидела толпу старшеклассниц. Девочки смеялись, захлебываясь о чем-то рассказывали друг другу, и Саша вдруг пожалела, что она никогда уже не сможет, как равная, смешаться с этой веселой толпой.

Ах, как бы хорошо, если бы та, молоденькая, с вихорком! — снова подумала Саша. — А может, лучше, что эта? Опытная, строгая, приучит к дисциплине... Но слова пошли такие скучные, хоть и правильные, мысли такие нерадостные, что не хотелось и думать об этом. Она ускорила шаг. В газетах всегда пишут, будто это такой счастливый день, когда в первый раз отводишь своего ребенка в школу. Почему же она не радуется? А если б оказалась та, молоденькая, может, радовалась бы?

Саша отворяет калитку своего двора. Распахнуты окна, двери балконов. Еще тепло. Из того окна не выглянет Петька, не окликнет: — Са-аша! — Его нет в живых, он убит под Ельней. А каштан? Нет, лучше не глядеть туда... И дав себе слово не глядеть, она вдруг оглядывается. Там стоит обугленный каштан, а она так помнит его в зелени, в цвету. Всякий раз, вновь увидев черный ствол и голые ветки, она непременно вспоминает щедрую листву и бело-розовые цветы среди зелени. Как давно это было!

Быстро, через две ступеньки, Саша поднимается по лестнице — сколько раз она по ней поднималась с тех пор, как помнит себя? Сколько раз вспоминала в эвакуации? Сколько раз ждала той минуты, когда снова взлетит по ней? Оттуда, издалека, ей казалось, что она никогда не привыкнет к счастью ходить по этим наизусть знакомым ступенькам. Там, в Ташкенте, когда они еще были одни с Аней, она постоянно видела этот дом во сне. Из всех домов на свете он был ей самым дорогим. Закопченный, старый, тронутый войной: кое-где фанера вместо стекла, осыпавшаяся штукатурка, отбитый угол — это случилось в ту памятную бомбежку, после которой ее выпроводили из Москвы.

Когда она была маленькая, она съезжала по этим перилам, пряталась на той, верхней, площадке.

Вот дверь их квартиры, тоже старая. На стене слева до сих пор не стерлась надпись: «Куда ты девалась? Я сто раз заходила. Юля».

Саша повернула ключ, вошла в переднюю и тотчас стукнулась о сундук, на котором теперь спала Анисья Матвеевна. Сундук стоял здесь с незапамятных времен, но все натыкались на него: свет экономили, и в коридоре было темно.

Саша принялась убирать в комнате. Здесь было тесно, теперь тут жили четверо. Саша никогда не думала, что это будет так трудно — вновь жить в этой комнате.

Комнату нельзя было узнать: диван, раскладушка, две детских кровати, книжный шкаф, неизвестно как здесь поместившийся. Письменный стол не стоял больше у окна, Митя работал в комнате Константина Артемьевича или в редакции.

Да, все было другое. А стены те же. Вот они-то все и подняли со дна души.

Сегодня я отвела ее в школу. Я хочу вспомнить твое лицо. Встань, улыбнись, посмотри мне в глаза... Но лицо Андрея ускользало, расплывалось. И вдруг оно встало перед ней на мгновение — юное, доброе, ямка на щеке. Оно встало перед ней с пронзительной отчетливостью. Саша принялась перебирать книги. Андрей не уходил. Он глядел на нее теплыми коричневыми глазами, Аниными глазами.

Саша открыла окно и выглянула на улицу. Во двор входила Анисья Матвеевна с Катей.

Саша знала, что братья и сестры иногда бывают не похожи друг на друга, но все-таки ее не переставала удивлять Анина и Катина несхожесть. В Кате не было Аниной тишины, робости Аниных первых лет. Она была драчунья, она приставала к детям во дворе, она была ревнива и пристрастна. И очень уверена в своих правах — в праве на любовь, на счастье, на хлеб с маслом (масло бывало редко!), на всеобщее уважение, и уж конечно на немедленный отклик мира, земли, прохожего — на все, что Кате хочется узнать или спросить: — Мама, а скажи... Мама, погляди на меня! Мама!..

Саша помахала ей из окна. Катя стояла, задрав голову. Лицо ее сияло навстречу Саше, она что-то кричала снизу, но Анисья Матвеевна подтолкнула ее к дверям, и обе скрылись в парадном. Вот ее ноги затопали по коридору, вот и она: — А мы чего принесли! В магазине дали! Подушечки! Сладкие!

...Уже двенадцать. Пора идти за Аней... У нас сегодня праздник, хорошо бы купить цветы, — подумала Саша. Она взяла в цветочном киоске розовую, красную и белую, чуть поблекшую, остро пахнущую гвоздику и, боясь опоздать, ускорила шаг.

Неужели я опоздала? — подумала Саша. И в самом деле, во дворе уже толпились мамы и разговаривали между собой, то и дело поглядывая на дверь школы. И вдруг Саша заметила Митю. Он стоял к ней спиной в своей потертой кожаной куртке, заложив руки в карманы. Она хотела его окликнуть, но тут отворилась тяжелая школьная дверь, и вышли девочки-первоклассницы. Торжественно и молча, сияя Мите улыбкой, спускалась Аня с каменного крыльца. Он присел на корточки и широко расставил руки. Она ускорила шаг, почти побежала и ринулась в эти руки, крепко обнявшие ее. Митя смеялся, Саша знала это, хотя он и стоял к ней спиной. Выражение его лица и глаз отразилось в выражении Аниного лица. Он взял Аню на руки, как маленькую, поцеловал и, только поставив ее наземь, увидел Сашу.

— Ой, мама, Митя, послушайте, — говорила Аня захлебываясь, — и я сказала Зинаиде Петровне: не буду я сидеть с этой девчонкой, она толкается. А Зинаида Петровна сказала: привыкай к коллективу. А когда спрашиваешь, надо поднимать руку. А букетов — ну, прямо сто штук — на подоконнике, и у нее на столе, и где только хочешь. А одна девочка говорит: — Не отдам я ей свой букет, у нее и так много. А другая девочка...

Первая книга Ф. А. Вигдоровой, написанная вместе с Т. Печерниковой, была издана в 1948 году.

С тех пор вышли в свет и многократно издавались повести «Мой класс», «Дорога в жизнь», «Это — мой дом», «Черниговка».

Первая книга романа «Семейное счастье», вышедшая отдельным изданием в «Советском писателе», была опубликована в нашем журнале в 1961 году (№ 3, 4, 5).



Они шли по улице — Митя, Саша и между ними Аня. И Саша держала в свободной руке гвоздику, а придя домой, поставила ее в воду.

— Это мне? — спросила Аня.

— Конечно! — ответил Митя и тотчас повернулся к Анисье Матвеевне: — Неужели сегодня нет пирога?

— Еще чего —

нет! Скажет тоже! Из кожи лезли, муки заняли, будет пирог!

— С капустой? — спросила Катя.

— С яблоком! — сухо и гордо ответила Анисья Матвеевна.

Саша слышала все это и видела веселые лица детей и полное достоинство лица Анисьи Матвеевны.

Неужели я все испорчу и заплачу? — подумала она и быстро вышла в коридор.

Теплая, большая рука легла ей на плечо. Она повернулась — Митя. Он привлек ее к себе, заглянул в глаза:

— Ну что? Ну что ты? — Он откинул ей со лба волосы, поцеловал глаза, щеки, а Саша, не умея найти ответных слов, повторила плача:

— Митя... Митя...

— Уж шли бы на свою жилплощадь, что ли, от соседей совестно! — раздался рядом сдержанный голос Анисьи Матвеевны.

— Что ж такого? Почему совестно? Я ее поздравляю! — ответил Митя. — Дочь в школу пошла — это можно приравнять к Первому мая!

* * *

Когда Анисья Матвеевна в первый раз постлала себе на старом сундуке, Ольга Сергеевна, соседка, сказала:

— Нет такого правила, чтоб прислуга жила в коридоре.

— Я те покажу прислугу, — спокойно отчеканила Анисья Матвеевна, да так, что Ольга Сергеевна больше не пыталась вступить с ней в спор.

Ольга Сергеевна была в квартире единственной прежней жилищей. Тетя Даша умерла, не вернулись из эвакуации другие соседи, вместо них жили новые люди.

Вот за той дверью в конце коридора живут молодые супруги. У них двое мальчишек, трех и пяти лет.

Раньше самыми шумными в квартире были Константин Артемьевич и его семья. Теперь они остались далеко позади, и на первое место вышли молодые супруги. Они ссорились так, что звенели стекла не только в их комнате, но и у всех по соседству.

Находя арену своей комнаты слишком тесной, молодые супруги без стеснения выскакивали в коридор (обычно это бывало по ночам) и поливали друг друга бранью.

— Ты зачем с ним в кино бегаешь? — кричал муж, Юра.

— Оглянись на себя! — отвечала Леля, жена, и все оглядывались на Юру, который тарасил обезумевшие глаза на «неверную» жену и все норовил оскорбить ее посильнее и ударить покрепче.

— Поднять руку на женщину! Позор! — кричал Константин Артемьевич. — Я сейчас позвоню в милицию.

— Не волнуйся, голубчик! — уговаривала Нина Викторовна и добавляла: — Какие впечатления для детей! А такая тихая была квартира!

— Ну и люди! И выспаться не дадут! — спокойно, но с досадой говорила Анисья Матвеевна. — Дралась бы на своей площади. Зачем будить весь дом?

Еще одна новая соседка — она жила в маленькой комнате при кухне — высокая, худощавая стенографистка, тоже выходила на крик. Она запахивала халат, поднимала тонкие, аккуратно выщипанные брови и презрительно спрашивала:

— Опять? Ну что ж. Хорошую вещь браком не назовут.

И какой бы час ночи ни был, зябко поводя плечами, ставила на газ эмалированный кофейник.

Аня очень боялась ночных криков. Она говорила, проснувшись:

— Мама, сядь ко мне. Мама, разве большие тоже дерутся?

А Катя, если крик будил ее, садилась на кровати и деловито говорила:

— Опять тетя Леля ходила в кино?

Катя еще никогда не была в кино, однако твердо усвоила, что за это бьют.

Поморгав большими черными глазами и немного подумав, она вдруг говорила:

— Мама, дай хлебушка! — и заведомо зная, что сейчас ей не откажут, добавляла нерешительно: — Белого.

— Варвары! — восклицала Ольга Сергеевна. — Третий час ночи! В бомбежку и то было тише!

Митя не просыпался дольше всех. Если становилось очень шумно, он натягивал подушку на ухо и, закаленный на фронте и в командировках, продолжал спать. Но нередко наставала минута, когда его приходилось будить.

— Митенька! — с жалостью говорила Саша.

— Дмитрий Александрович, — отхлебывая валерьянку, молила Нина Викторовна.

Митя, зевая, неторопливо совал ноги в старые домашние туфли.

— Да, — говорил он, зевая, — если бы наши соседи по коммунальной квартире были ангелами, нас бы раздражал шелест их крыльев. А наши соседи — ох, не ангелы, и стучат они — ох, не крыльями. — Потом он выходил в коридор, спокойно брал телефонную трубку и спрашивал недрогнувшим голосом: — Милиция? Шестое отделение?

Все, что делал Митя, действовало мгновенно и отрезвляюще. Он работал по вдохновению и всегда попадал в цель. Пользуясь минутным затишьем, Митя говорил, к примеру, так:

— Утро вечера мудренее! Завтра разберетесь! Я рассужу вас раз и навсегда!

Почему-то его слушались. Он брал Лелю под руку, уводил в ее комнату, приговаривая на ходу:

— Очень советую приложить к глазу медный пятак, помогает.

А Юре шептал на ухо то, чего никто не слышал и чего, видимо, никак нельзя было сказать вслух.

Когда еще только начинались вопли, предвещавшие драку, Саша входила в комнату соседей и забирала детей: они захлебывались от плача. Она уносила их к себе, поила сахарной водой, и ложка дробно стучала о зубы младшего — белоголового толстяка. Она укладывала их на свою раскладушку, а Митя, возвращаясь, говорил:

— Прирост населения? — потом ложился и тотчас засыпал.

Но самое удивительное было то, что выйдя поутру с подбитым глазом, Леля гордо говорила в ответ на презрительный взгляд стенографистки:

— Зато любит!

...Такова была новая Сашина квартира.

* * *

В мае сорок четвертого года Лешу наградили орденом Отечественной войны второй степени. А перед этим, в начале сорок третьего, он получил Красное Знамя. Он очень гордился своими орденами и до смерти хотел съездить в Москву, показаться семье и друзьям во всем блеске.

Незадолго перед награждением он едва не погиб. Над Херсонесом на Лешиной машине разбили правый мотор. Сломать шею должен был непременно, однако уцелел.

— Ну, друг, ты, я вижу, в рубашке родился, — сказал ему командир

полка Дмитрий Данилович Валентик, — кто-то сильно тебе ворожил. Со знайся, кто?

Леша не знал, кто ему ворожил. Наверно, весь Серебряный переулок — отец, мать, сестра, друзья. Он очень сильно хотел побывать в Москве и увидеть всех. И еще ему очень надо было помочь одному человеку. И он, кажется, придумал, как это сделать. Но не желал говорить прежде времени.

И вот разнесся слух: старые, потрепанные в боях машины будут отогнаны в тыл, в училище, затем нужно будет получить новенькие — и на фронт! А пока собирают перегонщиков.

На Лешином счету было уже около семидесяти боевых вылетов, и Леша чувствовал себя ветераном полка. И он быстро прикинул: вообще-то, Москва не совсем по пути. Но и не так уже сбоку. Всего каких-нибудь семьсот-восемьсот километров. Кто еще в полку старый москвич? Серега Стрелков — хороший летчик, к тому же приятель.

И они пошли к Валентiku проситься. Особых возражений у командира полка не было, да и причина у ребят уважительная: надо бы купить часы. А где их купишь на фронте? О московских планах Валентик, кажется, не догадывается. Но ему известно, что ребята воюют уже два года. На книжке скопились деньги, пусть слетают в тыл и отдохнут. По характеру оба не слишком буйные, так сказать, «в пределах нормы», на них можно положиться.

До места летели без всяких происшествий. Хотя случиться могло разное. Без малейшей необходимости шли на бреющем — интересно, летишь, и никто не наваливается: ни «мессера», ни «фоккера», ни зенитки. Хорошо лететь, легко. Прилетели. Техники остались сдавать машины, а летный состав последовал дальше. Группой перегонщиков командовал Виктор Покровский. Свой парень. Понимает, что Леше и Сергею надо заглянуть на сутки в Москву. У Сергея в Москве невеста. У Леши — семья и знакомые девушки. Невесты Леше не надо. Он не желает жениться.

В вагоне тесно. Почти все военные — солдаты и офицеры. У Леши и Сергея вещей мало: по чемодану, парашют, шинель. Сами в летных комбинезонах, на голове — пилотка. Шлемофон у пояса. На боку трофейный парабеллум. Под комбинезонами на гимнастерке у каждого по два ордена. Едут в Москву. Чего лучше?

Шустрый старичок — колесный мастер — заходит в купе и говорит: — Ребята, подъезжаем к Тамбову. Там на площади в магазине водка бывает.

Двое моряков схватили бутылки, Сергей — чайник, Леша — большую флягу. Бегут через площадь к магазину, впереди колесный мастер. И впрямь: «дают» зубровку. Очередь. Но военных пропускают, кстати, и табличка есть: «орденоносцам без очереди». Леша спрашивает колесного мастера: — Папаша, а поезд без нас не уйдет?

— Что ты, сынок! Не может он без меня уйти. Пока я ему колеса не обстучу — не уйдет.

Когда Леша с товарищами прибежали на станцию — поезда и след простыл. Вместе с колесным мастером они пытались догнать свой состав всякими хитрыми способами: ехали на товарных платформах, на попутных машинах, по каким-то неведомым боковым веткам. Приехали в Москву через восемь часов после своего поезда. Вещи исчезли. Как быть с парашютами? Колесного мастера и след простыл...

Кругом — Москва. Эх, плевать на все! Сережа с чайником отправляется к невесте, Леша с трофейной фляжкой — домой. Чайник и фляжка — пустые: колесный мастер и случайные попутчики были не дураки выпить.

И вот Леша идет вечерней Москвой. Он не хочет садиться в метро,

не хочет ехать в троллейбусе, он идет пешком по вечерней затемненной Москве. Темная, а полна жизни. Луне на затемнение наплевать: она светит вовсю, скроется на секунду за легким быстрым облаком и снова вынырнет. И Леша вглядывается в лица встречных девушек, и все кажутся ему красивыми. И многие, наверно, оглядываются ему вслед. Он идет по Садовому кольцу. Вот здесь, у Самотеки, есть кино «Экспресс». Здесь Леша смотрел перед войной фильм «Большой вальс». Он сидел, как сейчас помнит, с Тамарой и все не решался взять ее за руку. На экране кто-то кого-то любил, ревновал, кто-то страдал, плакал. А Леша ничего не мог разобрать, он думал только об одном: взять или не взять Тамару за руку? И вдруг, решившись, словно прыгнув в воду, взял ее маленькую теплую руку в свою. Она обернулась и спросила: — Ты что?

Он ответил беспечно: — Так веселее! — Но сердце у него упало.

Она не отняла руки. И они сидели, замороженные друг другом, экраном и музыкой. Леша вдруг увидел на экране карету, а в карете очень красивую женщину; она говорила своему очень красивому спутнику: — Польди была с нами всю дорогу, и так будет всю жизнь.

Леша хотел спросить: «Про какую это Польди она говорит?», но не спросил. Нельзя же было сознаться, что он ничего, ровно ничего не видел! А потом красавица уплыла куда-то на корабле, а ее красивый спутник, грустно улыбаясь, глядел ей вслед и махал рукой.

Зачем они расстаются? — снова хотел спросить Леша, но вскоре сам все понял: спутник красавицы — это был композитор Штраус — вернулся к своей жене, она-то и была Польди. И вот он уже старый и выходит к толпе, которая приветствует его, а он сквозь толпу видит то прекрасное женское лицо, и на глаза его навертываются слезы... Леше жаль его. Но если он так любил, зачем расстался? Или он Польди тоже любил? А разве можно любить двоих?

Вот об этом они и разговаривают с Тамарой по пути домой. Тамара считает, что Штраус поступил правильно, так как жену он любил, а той артисткой просто увлекался.

— Вот не знаю только, простит ли ему Польди, — говорит Тамара задумчиво, — я бы, пожалуй, не простила.

А Леша не знает, что правильно, а что неправильно: он ведет Тамару под руку, и ни до чего ему нет больше дела.

...Леша сворачивает на улицу Горького, он ускоряет шаг, и вот он у Пушкинской площади.

— Здравствуй, Александр Сергеевич, — говорит он шепотом, и ему кажется, что только сейчас, увидев величавый, с детства знакомый памятник, он понимает: перед ним Москва, он в родном городе. Ах, хорошо! Сейчас он будет дома! Он почти бежит по бульварам. Вот здесь, у Никитских ворот, он шел однажды с Андреем, и Андрей сказал ему, что едет в Испанию. Леша и сейчас помнит, как у него захолонуло сердце. Они шли рядом, как товарищи, как братья. И Андрей сказал: — Береги Сашу...

Мимо, кино повторного фильма, мимо, Арбатская площадь, мимо, улица Воровского, вот он — Арбат! Мимо, магазин игрушек, мимо, мимо писчебумажный магазин, вот он — Серебряный переулок!

Леша повернул за угол и остановился на мгновение. Шагах в трех от него шла невысокая девушка под руку с человеком в кожаном пальто. Они шли, тесно прижавшись друг к другу, и она так доверчиво подняла к нему голову и тихо сказала что-то. И вдруг, сам не зная почему, Леша крикнул:

— Саша!

И она обернулась и кинулась к нему и повисла у него на шее. И Поливанов жал ему руку и тоже что-то говорил — доброе и хорошее.

Потом, перепрыгивая через две ступеньки, они вбежали по лестнице, и распахнулась дверь родного дома, и заплакала мама, и отец, кажется, плакал.

Все тот же крутой высокий лоб, те же темные глаза. Но как неожиданно глядела старость из этой седины, Леша никак не мог к ней привыкнуть. У мамы кожа собралась вокруг глаз морщинами, поблек лоб, и когда соседский мальчишка, пробегая по коридору, крикнул Нине Викторовне: — Бабушка! — это было Леше как удар в сердце.

Да, жильцы все новые. Какая-то сухая длинная тетка с выщипанными бровями стоит на кухне и колдует над кофейником. И еще другая — молоденькая и хорошенькая. Леша улыбается и расправляет плечи, но тут выходит белобрысый детина, кидает Леше на ходу: — С приездом! — и орет во всю глотку: — Леля! — Так кричат только женам. Ах, так ты замужем? Ну и ладно. Замужние Леше не нужны. Ему вообще никто не нужен... С женщинами свяжешься, весь изолжешься, — думает Леша. Эту прекрасную фразу он слышал от штурмана Карташевича и запомнил ее твердо: с женщинами свяжешься, весь изолжешься.

Он лучше поговорит с Митей. У него мало времени — только завтрашний день, а там — назад, в бой! И ему некогда заглядываться на женщин, тем более, на чужих жен.

И когда все улеглись, он сказал Поливанову:

— Слушай, брат, у меня к тебе важное дело. У нас вот что стряслось. У нас был штурман — Кононов Антон Николаевич. Какой он человек — это просто так не расскажешь. С ним, понимаешь, надо было пуд соли съесть. Это мало сказать, что бесстрашный. Он вообще не понимал, как это — бояться. И он был такой... за товарища душу положит, не задумается. Ну, что говорить, человек замечательный. У него в Подгорске осталась жена и четверо ребятшек. И старший попал в беду, осужден там за что-то. Хоть условно, а осужден. Ему лет четырнадцать, что он такого мог сделать? Безотцовщина. Там женщина — и на руках четверо. Посуди, что она может?

— А я? Что я тут могу?

— Езжай туда от своей газеты и проверь все на месте. И надавай сволочам по морде, раз они не понимают.

— Чего они, собственно, не понимают?

— Да того, что они в ответе за ребенка погибшего фронтовика. Ты бы знал, Митя, какой это был человек!.. А про мальчишку он говорил, что...

— Видишь ли, я уже давно не кинооператор. Но я еще не воспитатель. И не няня в детском саду. И не специалист по детской преступности. Совершенно не понимаю, чем я тут могу быть полезен.

И вдруг Леша увидел, что перед ним сидит совсем другой, новый Поливанов. Минуту назад он улыбался, лихо пил и все время подливал Леше. Сейчас лицо его окаменело, как бы застыло, и брови сошлись к переносице. Губы еще были растянуты в улыбке, но глаза не улыбались, они смотрели холодно и отчужденно. Удивившись этому застывшему, напряженному лицу, не поверив в него, Леша спросил:

— Да ты в уме?

— Стоп! — ответил Поливанов, и губы его перестали улыбаться, а глаза стали колючими: стоп!

— Но послушай, я же тебе дело говорю. И не только от себя, мне товарищи велели: посоветуйся, мол, там, в Москве, а ты...

— Ты, видимо, плохо понимаешь, что я теперь такое. Вот сфотографировать и подписать — слева, мол, стоит такой-то, справа — такой-то, — это пожалуйста, хоть сейчас. Это все, что я могу на сегодняшний день.

Но тебе не это нужно. Для твоего дела нужен опытный квалифицированный журналист.

— Мне нужен человек, у которого голова на месте. И сердце, по возможности. Вот все, что требуется. Будь у меня хоть еще один день в запасе, я бы сам поехал. А, да что говорить.

Леша встал, подошел к Аниной кровати. Она спала, свернувшись калачиком, подложив ладонь под щеку. Выросла, опять выросла. Завтра проснется и то-то обрадуется ему! Он перевел глаза на маленькую. Катя спала так, словно заснула на лету — раскинув руки, растопырив короткие смуглые пальцы.

Вздыхнув, Леша повернулся к дивану, на котором спала Саша. Она спала безмятежно, не зная, что тут опять ее брат разругался с ее мужем.

Ресницы ее чуть вздрагивали, лицо раздумянилось. Леша нагнулся, поцеловал ее в щеку. Куплю тебе часы. И новые туфли. И платье,— подумал он. И произнес угрюмо:

— Бывай здоров.

— Покойной ночи,— отозвался Поливанов. И прибавил: — Я обещаю тебе поговорить об этом в редакции.

— Не надо. Я сам.

— Я сделаю это лучше. Оставь адрес.

Леша сунул руку в карман и вынул оттуда конверт: — Там есть обратный... Внизу... Какая-то странная улица — Любимая.

— Такое название улицы?

— Да. Такое. Любимая.

Леша прошел в соседнюю комнату. Нина Викторовна тотчас подняла голову с подушки.

— Лешенька, молочка? Простоквашки?

— Спасибо, мамочка,— сказал он и сам удивился своему ответу.—

Спи!

Он лег не зажигая света и долго не мог уснуть... Я плохо рассказал ему,— думал он.— Я не сумел рассказать, он ничего не понял. Если б я рассказал по-настоящему, он завтра же сорвался бы с места и полетел в Подгорск. На эту самую Любимую улицу. Почему так трудно найти слова, которые в точности выразили бы все, что чувствуешь, чтоб они пронзили другого человека, перевернули ему душу?

Ну хорошо, а что бы ты рассказал, если б Поливанов захотел слушать? Что бы ты вспомнил?

И Леша вдруг увидел пыльную улочку и приземистый домик. В этом домике жила Лида Лысенко. Леша познакомился с ней на танцах и стал ходить к ней в гости. В тот вечер они сидели на крыльце, смотрели на темнеющее небо и разговаривали. Это было в мае, совсем незадолго до войны. Леша посмотрел в окошко на ходики — еще рано. Ему так хотелось побыть с Лидой еще немножко. Потом вдруг стемнело, Лида сбегала к соседке, узнала, который час,— оказалось, через пятнадцать минут вечерняя поверка. Даже если Леша помчится во весь дух — он все равно опоздает на полчаса, а это вроде самовольной отлучки, так недолго и из училища вылететь. Леша бежал, сердце готово было выскочить из груди. Он до сих пор помнит вкус пыли на губах и свои белые от пыли сапоги.

И вдруг рядом прошуршали велосипедные шины. Кто-то окликнул Лешу — это был Кононов. Он соскочил наземь и сказал только: «Давай, жми». Леша не поблагодарил. Сел на велосипед и помчался во весь дух. И поспел вовремя. Что ж тут расскажешь? Вот, мол, понял все с одного взгляда, пожалел, помог. Без лишних слов. Только крикнул вдогонку: «Велосипед оставишь у дневального». Нет, не то. Поливанов бы сказал: «сентименты». Он бы ничего не понял. Где ему понять, какой человек был майор Кононов!

И еще вспоминает Леша, глядя на полоску света под дверью Митиной комнаты. Летая на тяжелых кораблях, курсанты подолгу вели машину самостоятельно. Леша с нетерпением ждал своей очереди. Он предвкушал, как здорово поведет машину. Как его похвалит майор. Как товарищи скажут: — А что? Лешка — он всегда лучше всех ориентируется.

И вот он повел. И почти тотчас запутался. Сначала он запутался чуть-чуть. Ему стало страшновато. И стыдно перед товарищами: ведь чем больше напутает он, тем труднее будет Володе Дроздову, который поведет машину вслед за ним. Он стал путать все сильнее и пуще всего боялся, что инструктор возьмет управление в свои руки — вот тогда позор на все училище! И думая об этом, он напрочь перестал узнавать местность. И тогда майор встал позади Леша, взгляделся в бортовой журнал, положил руку ему на плечо и сказал: «Успокойся, Леша, промерь еще раз путевую скорость. Справишься».

Не «товарищ курсант», а вот именно «Леша». И он успокоился. Промерил еще раз путевую скорость, определился, понял что к чему. Стало весело, уверенно. После полета Кононов не шумел на общем разборе, не поднимал на смех, как другие инструктора. Нет, Леша этого никогда не забудет.

А потом? Потом война. Эвакуация в Восточную Сибирь. Ускоренный выпуск. Отправка в маршевый полк. Кононов пошел вместе с группой выпускников на фронт. Он был штурманом авиаполка. И он погиб на глазах у Леша. Нет, не надо сейчас об этом. Сейчас надо думать о деле. Когда майор погиб, в его чемодане нашли записку — он поручал Леше разобрать вещи и отослать их семье. Сверху лежало неотправленное письмо. Леша прочел его: «Почему ты молчишь? Почему ты не пишешь? Ты ведь знаешь, у меня на свете нет ничего дороже тебя и детей. Что случилось? Я по всему вижу — что-то стряслось у вас там, а что?»

Потом Леша узнал — судили старшего сына, тринадцатилетнего мальчишку. Судили за какую-то кражу и дали год условно. Надо бы узнать, помочь. Леша писал в Подгорск — и в горсовет, и в суд, и в городской комитет комсомола. Ответа он не получил. Вот тогда-то он и решил рассказать обо всем Поливанову. А Поливанов... Эх, каменная душа... Разве до тебя достучишься!..

* * *

На другое утро ошалевшая от счастья и гордости Аня повела Лешу в свою школу. Она крепко держала его за руку, и на лице ее было написано: поглядите, кого я веду! Это — мой дядя! Он — штурман! У него — орден! Он — фронтовик! Завтра он снова полетит воевать! И — это мой дядя! Мой!

Леша все понимал. Он помнил себя рядом с Андреем. Он был во всем блеске: ордена, парабеллум, сверкающие сапоги. Он вошел во двор своей школы. Вон там висела волейбольная сетка — где же она теперь? Девчонки в волейбол не играют, что ли? А вон по тому карнизу на втором этаже он когда-то прошелся. Шуму было, шуму! Вызывали отца, грозились исключить из школы. А вот здесь, у калитки... здесь он признался Тамаре в любви. Ах, как давно это было!..

Каждый угол двора что-нибудь ему напоминал. Все хранила благодарная память, все живо в ней!

И вдруг он почувствовал, что маленькая рука в его руке дрогнула. Он взглянул на Аню и перехватил ее боязливый, вопросительный взгляд. Перед ними стояла высокая худощавая женщина в строгом синем костюме. Ее худую шею облегал белый воротник, а волосы были собраны на затылке в маленький пучок.

— Это — Леша, мой дядя! — сказала Аня.

— Ты забыла поздороваться, Москвина!

— Здравствуйте, Зинаида Петровна. Вот кто меня привел. Это Леша, он мой дядя!

— Здравствуйте! — произнес Леша, глядя на серое лицо учительницы. — Не сердитесь на Аню, это она от радости все нынче забыла. Я, видите ли, тоже учился в этой школе. И вот вчера прилетел с фронта...

— А! — сказала учительница и взглянула на Лешу более благосклонно. — Зайдемте в наш класс, дети будут рады вас видеть. Встреча с фронтовиком — это прекрасное воспитательное мероприятие. У нас были директор крупного завода, заслуженный артист республики и знатный сталевар. А фронтовика еще не было.

Леша посмотрел на Аню, глаза ее были широко открыты: — Пойдем, пойдем! — молили они.

И он пошел. Пока они поднимались по лестнице, зазвонил звонок. Зинаида Петровна отворила дверь класса, и девочки встали, приветствуя ее. Аня, осторожно шагая, направилась к своему месту.

— Вот, девочки, познакомьтесь, — сказала Зинаида Петровна, — к нам в гости пришел герой, летчик. Он прилетел к нам прямо с фронта.

— Это — мой дядя! — тихо сказала Аня.

Зинаида Петровна взглянула на нее строго, как бы говоря: ну что ж, послушаем, что еще скажет нам эта Москвина, и после секундной паузы продолжала:

— Да, это дядя Ани Москвиной. Он учился в нашей школе и всегда был примерным учеником. Он всегда строго соблюдал правила школьного распорядка, никогда не опаздывал и аккуратно выполнял домашние задания. Он был очень вежливым учеником, он не грубил учителям, он...

Леша стоял красный как рак. Ему казалось, его обдают варом. Он в ужасе смотрел на этих девочек с белыми воротничками и с бантами в косах. Теперь они будут думать, что он и впрямь был таким, как рисует его Зинаида Петровна. Вернутся домой и скажут: к нам приходил один такой, выполнял правила внутреннего распорядка... Но нет, они смотрели на него доброжелательно. И с любопытством. И с уважением. Да, они уважали его за то, что он был такой дисциплинированный, вежливый и никогда не грубил учителям.

— Все эти качества помогли ему стать настоящим воином! Сейчас он расскажет вам о своих фронтовых подвигах и фронтовых буднях! — промолвила Зинаида Петровна и повернула к Леше лицо, которое старалось быть приветливым.

Леша снова взглянул на детей.

Если бы среди них сидел хоть один мальчишка. Какой-нибудь веснушчатый, курносый Петька. Какой-нибудь Ленька с серыми любопытными глазами. Ну, пусть бы он уж не так хорошо соблюдал режим дня, но был бы не такой чистенький и аккуратный, как все эти девочки в коричневых платицах и черных фартуках. Леша вдруг понял, что попросту боится их. Тогда он снова посмотрел на Аню — ее глаза сияли ему навстречу: как она гордилась им! Как любила его! Нет, он не подкачает. Он сейчас расскажет что-нибудь такое... Но что же им будет интересно? Как у него разбило над Херсонесом правый мотор? Как он погубил казенный парашют, побежав вслед за колесным мастером на площадь, где давали водку?

И вдруг он рассказал им, как ночевал однажды в селе, которое только-только отбили у немцев. Колхозники возвращались домой из леса, из землянок, где жили около полугода, спасаясь от немцев. И вот, проснувшись, Леша увидел, что у его кровати стоит девочка лет двух. Она была одета в какое-то тряпье, ноги босые, хотя была уже глубокая

осень. Волосы у девочки космами свисали на глаза — ее давно не стригли, в доме не было ножниц. В доме не было ничего — ни еды, ни белья, ни одежды, ни мыла, чтоб умыться.

— А мать у девочки лежала больная, — рассказывал Леша, — она в землянке схватила лихорадку, и ее принесли домой почти без памяти и положили на печку. А девчонка — холодная, голодная, грязная. И мы с товарищем с моим, Сережей, вскипятили воды, посадили девчонку в корыто и вымыли. Потом закутали в шинель и стали думать, как бы ее приодеть. А Сережа на гражданке был сапожником. Он взял мою меховую рукавицу и скроил девочке башмачки. Руки у меня, видите, какие большие? (Леша растопырил руки) — Как лопаты! А у девочки ножки вот такие, ну прямо как у куклы. Потом из Сережиной фуфайки мы смастерили ей платье и даже кушачком подвязали. И потом решили ее постричь. У нее глазки голубые, как незабудки, хорошие такие глазки, их за волосами и не видно. Но как постричь ее ровно, красиво? Мы ведь никогда этому делу не учились. И вот, послушайте, как мы сообразили: я взял горшок, небольшой, глиняный, ну, обыкновенный горшок, в котором варят картошку, кашу, молоко кипятят, и надел девочке на голову — и постриг по краешку ровно, ровно! В кружок постриг!

Леша смотрел на девчонок, и эти аккуратные первоклассницы больше не пугали его — они слушали и смеялись, и он готов был рассказывать им еще и еще. Он взглянул на учительницу, ожидая поощрения и похвалы, и словно кто-то остановил его на бегу. Поджав губы, Зинаида Петровна смотрела на него недоуменно и строго. Леша пробормотал: — Ну вот, такое было дело, — и умолк.

— Мы благодарим товарища летчика, — сказала Зинаида Петровна.

— Он штурман, — сказала Аня.

— Мы благодарим товарища фронтовика, — повысив голос, очень внушительно произнесла Зинаида Петровна, — и займемся устным счетом!

Леша уходил из школы пристыженный. Ах, болван, осел, — говорил он себе. — Нет чтобы рассказать какой-нибудь боевой эпизод, какую-то чепуху нес. Но разве он знал, что им будет интересно про боевые эпизоды? Сидят такие маленькие, лупоглазые, он думал... Он вспомнил девочку с горшком на голове, как он стриг ее, и как она смирно сидела, и как он кормил ее шоколадом и галетами, размоченными в сладкой воде. Вспомнил и повеселел. Повеселел, завернул в Серебряный переулок и вдруг понял, что не хочет идти домой. Как так, почему? А, Митя... Я не воспитатель, не няня в детском саду, не специалист по детской преступности. Слева — такой-то, справа — такой-то... Вот и все, что я могу на сегодняшний день...

Черт! Не хочу домой. Да он, наверно, в редакции. Все равно не хочу. Леша пошел к автомату и стал звонить во все концы. Надо было выяснять, кто из школьных друзей в Москве.

— Можно Олю? Спит после ночной смены? Простите!

— Можно Веру? Еще не вернулась из эвакуации? Простите!

Ах, если б Лида была дома. Отличный товарищ, такая веселая, остроумная, перед войной очень увлекалась артисткой Любовью Орловой, собиралась в театральное училище. Никаких таких чувств между ними не было. Скорее всего, Леша предпочитал Лидину подругу Муру, но все это — древняя история. Он сейчас позвонит Лиде, узнает, свободна ли она вечером, и они пойдут в ресторан.

— Можно Лиду? На фронте? Простите!

Вот тебе и Любовь Орлова! Нет, война все спутала, все судьбы переменяла.

Леша слонялся по Москве, заходил во все магазины, купил в коммерческом колбасы и пирожных (пятьдесят рублей штука!). Долго выбирал часы себе и Саше и, нагруженный покупками, отправился домой.

* * *

— Можно Дмитрия Александровича? Митя, это ты? Митя, Леша приглашает нас с тобой в ресторан, пойдем, а? Занят... А может, придишь попозже? Жалко как... Но я пойду, ладно?

Леша, прислушивавшийся из столовой к этому разговору, вздохнул с облегчением. Выдумал, будто занят, или правду сказал,— это Леше неважно. Важно, что они с Сашей пойдут одни.

В ресторане «Москва» народу полно. Но хорошенькая официантка в белоснежной наkolке взглянула на Лешу, на секунду задумалась, прикусив губу, и повела их в глубь зала к свободному столику. Вокруг — военные, военные. Видимо, как и Леша, приезжие. Как и он, хотят урвать кусочек мирной жизни и забыть, ненадолго забыть о том, что осталось позади. Леше все очень нравится: вино, музыка, еда. Но ничто не может заставить его забыть.

Откуда взялись эти красивые женщины, что сидят за столиками, пьют вино и танцуют? Как их миновала война? Почему у них такие холеные руки и такие розовые ногти? А вон у той кольцо с большим красивым камнем. И золотая браслетка, и ожерелье на шею. Так ведь это хорошо, хорошо, что есть красивые, нарядные, веселые, бездумные! Но за это время он столько всего перевидал! Женщин в шинелях, женщин с детьми в нескончаемых поездах-теплушках. Они были совсем другие. Он вспомнил внезапно ту, что лежала на печке, с лицом, пылавшим от лихорадки... И медсестру, которой ампутировали ногу. Какие отчаянные и беспомощные были у нее глаза. И еще ему вдруг привиделась та девушка зенитчица: сидит на пороге своей землянки, расстелив на коленях халат в розовых цветах — подарок союзников. Она гладила рукой шелковистую мягкую ткань и смотрела на нее задумчиво и чуть растерянно. И яркий халат напоминал диковинную птицу, которая залетела сюда каким-то чудом, неведомо зачем. И девушка не знала, что делать с халатом, и оранжевой пижамой, и шелковыми чулками в прозрачной обертке.

Леша взглянул на сестру. Она держала в руках бокал с вином и смотрела на танцующих, тихонько подпевая джазу: — Шаланды, полные кефали...

— Ты здесь самая красивая,— сказал Леша.

— Ты — мой дорогой.

— Нет, правда!

— Я бы поверила тебе, если бы... если бы не было на свете зеркала.

— И все думают, что ты — моя девушка.

— Вот это хорошо. Пригласи же меня танцевать.

Расплескав вино, она поставила бокал на стол, положила руку ему на плечо, и он повел ее в гущу танцующей толпы.

— Теперь ты будешь мой старший брат, хорошо? — сказала она.

— Я давно уже так считаю. Я, когда рассказываю про тебя ребятам, всегда говорю: «сестренка, сестренка», и они думают, что ты совсем маленькая. А что, не разучился я танцевать?

— Ты очень, очень хорошо танцуешь.

Они чуть помолчали. Он вел ее твердо, уверенно, оберегая от толчков.

— О чем ты думаешь? — спросила она вдруг.

— Угадай.

Она прикрыла глаза, крепко сжала губы.

— Постой... Вот... Я спала уже, а ты разбудил меня и сказал, что пригласил Тамару танцевать. Это было на чьем-то рождении... На даче. В Быкове! Да? Ты приехал в город с последним поездом. Верно?

Вместо ответа он крепко стиснул ей руку.

— А я,— сказала Саша,— а я о чем думаю?

— Тебе жалко, что тут нет Мити, вот о чем ты думаешь.

Она не успела спросить, почему он сердится: оркестр умолк, но едва они сделали шаг к своему столику, загремел вновь. Какой-то морячок кивнул Леше: — Разрешите? — перехватил у него Сашу и ринулся с ней в середину зала, не дав Леше опомниться.

Леша снова сел за свой столик и вытянул ноги. Ему не хотелось никого приглашать, он злился на моряка, который увел Сашу; ему было скучно, неловко, досадно.

Он наполнил рюмку, выпил — еще и еще. Он хотел, чтоб стало весело. Чтобы все поплыло, закачалось, чтобы все вокруг стали ему милы. Он пил, оркестр играл какую-то крикливую, торопливую румбу, и пары не танцевали, а просто топтались на месте, ударяя ногой о ногу, стуча каблуками об пол.

Дурацкий какой танец,— думал Леша,— и что в нем веселого... Топчутся как остолопы. Сейчас растолкаю всех, отыщу этого нахального моряка и скажу ему...

И вдруг Леша натолкнулся на другие глаза. За три столика от него сидел юноша лет двадцати. Смуглый, как вороненок, он смотрел перед собой растерянно и вопросительно. И с тем прозрением, какое рождается внезапно и необъяснимо, Леша понял вдруг, что он здесь совсем один, этот паренек, и что ему, как и Леше,— отчего-то худо, неудобно, горько.

— Послушай,— сказал Леша, как только морячок подвел Сашу к столику,— когда начнется новый танец, ты пойдешь и пригласишь вон того младшего лейтенанта — видишь?

— Ты с ума сошел? Что он обо мне подумает?

— Ничего! О тебе никто ничего плохого не подумает. А подумает, так я...

— Но...— сказал морячок и осекся. Леша смотрел на него в упор тяжелым пьяноватым взглядом.

— Что ж... Я ничего...— сказал морячок и, чуть пятясь, отошел от стола.

— Сашенька,— сказал Леша,— я прошу тебя. Посмотри, какой он. Мне кажется, я знаю про него все. Один. Забрел на огонек, хотел согреться — вином, людьми. А он здесь чужой. Он и не москвич даже, я уверен, он здесь никого не знает.

— Давай пригласим его за наш столик.

И тут вкрадчиво, сначала тихо, а потом все смелее, скрипки запели «В лесу прифронтовом».

Саша махнула рукой и, ни о чем больше не спрашивая, быстро направилась к столику, за которым по-прежнему одиноко сидел незнакомый младший лейтенант.

Леша видел, как Саша сказала ему что-то, как он, робко улыбаясь в ответ удивленной, благодарной улыбкой, встал и обнял ее за талию.

И Леша снова налил себе вина, и теперь оно показалось ему не таким горьким. Нет, про тебя никто ничего плохого не подумает. Вон про ту, которая все время что-то орет, подумали бы. Что она там орет? «За победу!» Ну, ну... Зачем она так покрасилась, так расфуфырилась? Ведь старая же! Старая и злая! Была когда-то красивая, а теперь нет, а кричишь и смеешься, будто и сейчас красивая.

Он глядел на увядшее, обрюзгшее лицо женщины за соседним столом. Она была в ярко-розовом и очень открытом платье, волосы ее,

крашенные хной, и густые румяна на щеках только подчеркивали тяжелые складки по обеим сторонам рта. Когда женщина в улыбке обнажала крупные зубы, казалось, что она вот-вот кого-нибудь укусит.

И про эту, про эту подумали бы,— повторял про себя Леша с пьяным упорством, глядя на узколицую, узкоглазую бледную девушку с большим ртом. У нее была длинная шея, покатые плечи, а голову охватывал золотой обруч. Перед ним мелькнуло лицо сестры: глаза и лоб чуть виднелись из-за плеча юноши, он был намного выше ее. И вдруг задумчивые Сашины глаза засияли кому-то, и Леша повернул голову по направлению ее взгляда, уже зная, кого он сейчас увидит. Он не ошибся, это был Поливанов.

Леша скрипнул зубами. О, черт побери! И откуда он узнал, что мы здесь? И как уверенно идет к нашему столу, будто отлучился на минуту, а сейчас возвращается на свое место.

— Добрый вечер,— сказал Поливанов, садясь.

— Добрый вечер,— сквозь зубы ответил Леша, подвигая ему бутылку вина и тарелку с холодным мясом.

— Ты был прав,— услышал он Сашин голос,— ты был прав: он ленинградец. И здесь один, и на свете один, у него все погибли во время блокады,— говоря это, она пожимала Мите руку,— я рада, что пригласила его, он — чудесный.

— То есть, как это — пригласила? — сказал Поливанов, приподнимая брови.

— Митя! — послешно сказала Саша.— Взгляни, какие Леша подарил мне часы, смотри, какая прелесть!

Не глядя, Поливанов ответил:

— Не сердись, Леша, но часы Саше подарю я сам.

И тут Леша вскочил. Все, что было в эти сутки,— дурацкая история с колесным мастером, ночной разговор с Митей, бессонница, позорное, постыдное, как ему казалось сейчас, выступление в Аниной школе, все эти звонки по телефону и «нет, нет, нет» — по ту сторону провода: спит после ночной смены, уехала, на фронте — и что еще такое ему отвечали? — все это вдруг ожило и готово было обрушиться на голову Поливанова.

Он был в том состоянии глубокой усталости и обиды, когда гнев охватывает человека внезапно и уже нельзя взять себя в руки, и не хочешь сдерживаться, и радуешься растущему, закипающему гневу, как освобождению.

— Заткнись! — гаркнул он.

И вдруг Поливанов, словно не слыша, сказал, положив свою руку на сжатый Лешин кулак:

— Я еду в твой Подгорск. На ту самую Любимую улицу. Слышишь? Все увижу своими глазами, все проверю и попробую написать.

Леша сел. Не понимая, что случилось, Саша сказала, с жалостью глядя на брата:

— Лешенька, я буду носить твои часы. Я буду беречь их для... для твоей невесты. А тем временем...

— А тем временем наступает комендантский час,— сказал Поливанов,— и вас заберет патруль.

Но Леше вдруг неслыханно полегчало. Он совсем не хочет уходить, его патрули не схватят, сразу же видно, что он настоящий фронтовик. Конечно, парабеллум в кобуре, но опытный глаз сразу определит, что это не «тт» и не наган. Нет, Леша не спешит, ему совсем неохота уходить. Он наливает себе, Поливанову, Саше и смуглому юноше — ленинградцу, который хочет пригласить Сашу на новый танец.

Какое симпатичное лицо,— думает он про узколицую, узкоглазую де-

вушку с длинной шеей,— сейчас приглашу ее. Сразу видно, что она хорошо танцует.

Но Поливанов настойчив: ему-то все равно, у него ночной пропуск, но он не хочет, чтобы Саша провела ночь в милиции.

Ничего не поделаешь, они прощаются с погрустневшим ленинградцем и выходят на улицу.

Патруль остановил их почти у самого Арбата. Леша подробно объяснил положение: ему завтра лететь на фронт, вот командировка, тут все написано. Патрульные внимательно выслушали все это и повели Лешу в комендатуру, а Сашу в милицию. Поливанов пошел вместе с Сашей, кивнув Леше:

— Не беспокойся, я ее выручу.

В комендатуре Леша снова произнес речь. На этот раз он обращался к дежурному коменданту. Комендант слушал внимательно и учтиво и, терпеливо дождавшись, когда Леша кончит, сказал:

— Я лично ничего против вас не имею. Однако порядок есть порядок. Ровно в пять утра мы вас выпустим без всяких последствий.

И Лешу прорвало: Леша сообщил коменданту, что он — тыловая крыса, что он протирает штаны, когда другие кровь проливают, что он всегда готов сделать гадость фронтовику...

После этого у Леша забрали трофейный парабеллум и повели в комнату задержанных. И прежде чем запереть дверь, дежурный сказал все тем же неторопливым учтивым голосом:

— Что ж, в пять утра не обещаю выпустить. Часам к девяти подойдет товарищ полковник и разберется, на каком основании фронтовик в пьяном виде устраивает дебош в московской комендатуре. Спокойной ночи, товарищ старший лейтенант!

Поняв, что положение безвыходное, старший лейтенант лег на лавку и постарался уснуть. Потом вскочил, долго ходил по комнате, постучал в дверь и попросил «тыловую крысу» позвонить родным и сообщить, чтоб рано не ждали.

...В пять утра, когда выпускали задержанных, Леша проснулся. Смирив гордыню, попросил у дежурного извинение за грубость и сказал, что если нет особой нужды ждать полковника, он хотел бы получить свой парабеллум...

Дежурный комендант был, очевидно, не так уж плох. Молча, не глядя на Лешу, он вручил ему парабеллум и отпустил на все четыре стороны.

Леша забежал домой, обнял отца и мать, поцеловал девочек, пожал руку Поливанову и отбыл.

На обратном пути радист отдал свой парашют Сергею: на глубоком сидении летчику без парашюта нельзя. Леша и стрелок-радист летели на 3-й Белорусский фронт без парашютов. Сергей сидел на парашюте, но лямок на плечи не надевал, так что все трое были в равных условиях. Друзья поручили Леше рассказать командиру полка про утерянные парашюты. Почему-то в полку считали, что Валентик благоволит к Леше. Что ж, может так оно и было. И взысканий не последовало: — перегонка трудная, справились хорошо.

...А парашюты списали. В те времена было за счет кого списывать...

* * *

Темень, хоть глаза выколи. Не то что названий улиц, себя не видишь. Фонарей нет, изредка блеснет огонек в окне. Еще не поздно, но городок спит. Гулко стучат башмаки по булыжной мостовой — и ничего не слышно, кроме этого стука. Изредка только залает где-то собака — и снова тихо.

Где же эта Любимая улица, будь она проклята.

В рюкзаке две буханки хлеба. Банка тушенки. Книга. Поклажа не тяжелая. Он поехал сюда налегке, но устал. От станции до Подгорска пришлось отшагать добрых пятнадцать километров: не было ни одной попутной машины. Он не плутал, от станции до Подгорска прямое шоссе, но тут, в самом городе, улицы кривые, переплетаются. Одна улица привела его к оврагу, другая к реке. В окошко не постучишь — все окна темные. Случайный прохожий долго что-то толковал ему: — А потом срежьте уголок вон там, у водокачки, и прямо перед вами будет кино. Вон там, неподалеку...

А где же она, водокачка? Где оно — кино?

В общем и целом это была дурацкая затея — ехать в Подгорск. Надо было поручить отделу писем списаться с прокуратурой, спросить там кого следовало, что приключилось с этим малолетним Кононовым. Есть дела, которые можно решать на расстоянии. Ехать не обязательно. Особенно ему. Ему уж наверняка не стоило ехать — он не журналист, он фоторепортер, и незачем ему браться не за свое дело.

Он ступил в глубокую лужу, набрал полный башмак воды и от души выругался. Хоть бы один фонарь, черт бы их всех побрал в этом Подгорске! Сейчас он постучит в первое попавшееся окно и попросится ночевать. Вон окошко, в котором мерцает огонек: надо попытаться счастья.

— Кто там? Чего надо?

— Не скажете, где Любимая улица?

— Эта и есть. Кого вам?

— Кононовых!

— Входите!

Дверь отворилась, в темных сенях вспыхнул неяркий свет, на стене заметалась большая, неуклюжая тень.

— Я Кононова,— сказала высокая женщина, перекидывая за спину косу и кутаясь в белый платок.

Поливанов не верил своим ушам: постучал в тот самый дом, который уж было отчаялся найти. Бывает же такая удача!

— Я Кононова,— повторила женщина, пытливо и выжидающе глядя на него,— вы откуда? Из редакции? По какому же делу? А! А я было подумала... Проходите!

Женщина отворила какую-то дверь, и Поливанов, перешагнув порог, с облегчением спустил рюкзак на пол.

В маленькой комнате стоял круглый стол, покрытый кружевной скатертью. На кровати, что стояла по левую руку, спали две девочки, две черные головы на белой подушке. По другую сторону комнаты на узком диване свернулся калачиком мальчик-подросток, а рядом на сундуке сладко спал малыш лет пяти. Рука его свесилась вниз, из-под одеяла торчала розовая пяточка. Комната полна была сонным дыханием.

— А я было подумала... Раздевайтесь, давайте пальто, повешу. Снимайте башмаки, вон как промочили ноги. Я вам сейчас сухие носки дам.

Она не спросила у него удостоверения. Она больше ни о чем не спрашивала: дала ему сухие носки, вскипятила чай, подогрела тушенку. Пока он ел, поставила раскладушку, разложила на полу матрац.

Они коротко поспорили, кому лечь на полу, потом она погасила свет и молча легла на кровать. Он растянулся на матраце, уверенный, что уснет, едва положив голову на подушку. Болела раненая рука. Гудело в ногах. Он не испытывал облегчения оттого, что, наконец, добрался до постели. Только сейчас он почувствовал, как устал. Но голова была ясная, и она-то не давала уснуть. И вдруг он услышал тихий плач. Ему казалось, что он видит, как она укрылась с головой, как, стиснув зубы, старается подавить рыдания. Он было приподнялся на локте, хотел что-то сказать, потом снова лег и молча слушал в темноте этот горький, тихий плач.

Он проснулся оттого, что чьи-то маленькие руки шарили по его лицу. Он открыл глаза и увидел давешнего малыша.

— Здравствуй, Петя! — сказал Поливанов.

— Я Коленька! — ответил мальчик. — А ты кто?

— Я — Митя.

— Я открывал тебе глаза. А ты все спал и спал.

Он стоял, упористо расставив ноги, обутые в маленькие валенки. Валенки были аккуратно подшиты кожей, ляжки на штанишках тоже кожаные. У него были очень серьезные глаза и круглая ямочка на подбородке.

Пока Поливанов одевался, Коля неотступно глядел на него, чуть приоткрыв рот. И вдруг сказал:

— Когда мама болела, я ей суп в больницу носил.

— Да ты молодец!

— А хочешь, я песню спою?

— Давай, пой!

— Я у детской крова-а-атки сижу-у-у... Хорошо? Хочешь, еще затяну?

В комнате было уже убрано. В печке трещал огонь, из кухни тянуло запахом жареной картошки. Мальчик ходил за Митей следом и говорил без умолку. Поливанов узнал, что мама бережет сахарные талоны, потому что на них обещались дать колотого сахару, а сейчас дают только подушечки. Он, Коля, любит подушечки, и «все у нас любят подушечки, там внутри варенье», но мама говорит, надо ждать колотого сахару. А еще у мамы в буфете в самом углу есть водка, ее можно обменять на масло. Мама обещалась скоро обменять. А когда Сережу засудили, мама сильно плакала, а он, Коля, не плакал. А когда соседский Петька крикнул Сережке «вор», Сережа его вздул, Петька долго будет помнить. Уж когда это было, а он до сих пор в синяках. Сережа сильный. А ты сильный? У тебя есть мускулы? Покажи мускулы! Ого!

Старшие дети были уже в школе. А Поливанов даже не слышал, как они встали, как позавтракали и ушли. Он уснул под утро и спал как убитый.

С чего ему начать? Куда пойти? В суд? В Сережину школу? Хорошо бы сначала повидать мальчишку. А может, выяснить все до разговора с ним? Расспросить Кононову? Вон какое у нее сумрачное, замкнутое лицо. Губы крепко сжаты, глаза смотрят в сторону. Не будет он ее спрашивать. Разыщет мальчишку, расспросит его. Он уже надел пальто, когда Кононова сказала:

— Отец все спрашивал, что, мол, Сергей не пишет? А как было писать, когда такое дело? Ведь это надо же, суд был и приговор — как про это напишешь? А отец все свое: пусть, мол, Сергей все честно мне расскажет. Ну, Сережа собрался с духом, написал все, как есть, а тут — похоронная. Что с мальчишкой было, это я вам описать не могу. Хоть бы разок заплакал. Нет, как бешеный стал. Со всеми товарищами перессорился, сестренку побил, учительнице грубость сказал, его чуть из пионеров не выключили, а может, еще и выключат, ведь он, хоть и условно, а осужденный. Письмишко его я припрятала. Может, прочитаешь? Здесь все честно описано, все, как было.

Она положила на стол измятый листок, вырванный из тетради в клеточку. Почерк был крупный, отчетливый, прямой. Кое-где чернила расплылись.

— Долго сидел, потом переписал начисто, а я этот листок припрятала. Он то письмо — в ящик, а к нам почтальон. С похоронной. Вот как было.

И вдруг, крепко переплетя пальцы, она заговорила громким шепотом, будто заклиная:

— Нет, вы скажите, как жить? Как жить мне? Одной с четырьмя ребятами? Да разве я мальчишек выращу? Я работы не боюсь. Я и стирать пойду, и полы мыть, мы голодом сидеть не будем. Но углядеть за ними я не могу. Вот осталась одна и сразу не углядела, сразу такая беда. Не справится мне, не справится. Что я могу одна? Как подумаю, хоть вешайся, хоть головой в прорубь, хоть...

Ее прервал громкий плач. Коля вжался в угол и громко ревел. Митя подхватил его на руки, крепко вытер платком лицо, сказал:

— Мы сейчас пойдем с тобой гулять. Пустите его, Вера Григорьевна?

Кононова махнула рукой и вышла из комнаты, ничего не ответив.

— Мама, когда тихо говорит, потом плачет и сердится... Я боюсь, когда она шепчет... Она потом злая... Ты меня, правда, с собой возьмешь? — Мальчишка прижался к Мите и говорил, вздрагивая и длинно, прерывисто всхлипывая.

«Папа! Здравствуй! Не сердись, что долго тебе не писал. Я сейчас расскажу все, как было. Мы с моим товарищем Юрой ходили гулять во двор артели Промкооплес. Это рядом с лесопильным заводом. Двор не огороженный, а контору и машинное отделение закрывали плохая дверь конторы приперта палкой, а у входа в машинное отделение большая дыра. И мы в эту дыру часто лазили. Там на полу лежал большой распределительный щит, и мы в нем копались, хотели поглядеть, как устроено, да мало чего поняли. Ну, потом катались на тачках-вагонетках. А один раз пошли в контору, а там груды бумаги. Смотрим, бумага исписана только с одной стороны, хотели было взять, пригодилась бы для письма, да не взяли. Потом пошли домой, да я вспомнил, что забыл варежки — вернулся, а тут, смотрим, стоит дядька, высокий такой, он меня схватил и давай бить, а Юра меня не оставил, он и Юре дал, а потом обоих нас отвел в милицию и составил акт. И в этом акте сказано, что мы своровали разного на пятнадцать тысяч рублей. А мы там никогда ничего не брали, только один раз взяли доску от забора, чтобы сделать ружье. Про это никто не знал, я зачем-то сам про это сказал на суде. Доска валялась около канавы, она была ничья, вот мы и взяли. А нас засудили: год лишения свободы и полтора года испытательный срок. Громовы плюнули, да и уехали из Подгорска и Юрку с собой взяли. А я один без Юрки остался. Ты спрашиваешь, почему я не пишу? Все ребята пишут отцам на фронт, чего хорошего случилось, а я должен про все про это? Мама плачет, Валька с Ольгой тоже плачут, один Коленька понимает, раз я не виноват, то и плакать нечего. Но тебе я писать стеснялся, думал, вдруг ты мне не поверишь. Но ты верь, ты мне, пожалуйста, верь, я никогда в своей жизни не воровал и никогда воровать не стану. А если им надо было свое воровство на меня свалить, так я в этом не виноватый.

Сергей.

Папа, ты не сердись. Твой Сергей».

...Это письмо до Кононова не дошло. Оно разминулось с похоронной.

* * *

Заплеванная комнатка с низким потолком, на полу окурки, стекла в окнах мутные, давно немые. Грязно-голубая краска на стенах облупилась. С потолка на длинном шнуре свисает тусклая лампочка без абажура. Все это ушибает тяжкой тоской. Как холодным сквозняком тянет тоской и от пожилого бухгалтера, который сидит за столом. Лицо

длинное, давно небритое, нос тоже длинный, вислый, унылый. Сонным голосом, побряхтывая, подолгу умолкая после каждого слова, он читает:

— Подростки Сергей Кононов и Юрий Громов в декабре и январе систематически проникали в цеха лесозавода... Эти лица производили хищения инвентаря, инструмента, материалов и готовых изделий с территории лесозавода... А также порчу производственного оборудования и станков с целью их похищения... Злоумышленники...

— Простите,— самым вежливым голосом говорит Поливанов,— а как же злоумышленники проникали в цех?

— Как? — бухгалтер удивлен.— Очень просто: путем взлома замков.

— Что же, они в течение двух месяцев безнаказанно взламывали замки? А где же были руководители завода?

— Руководители завода...— бухгалтер тяжело вздыхает.— Вообще на кражу в нашу артель ходили и другие, это само собой...

— «Ходили на кражу»... Какой странный отхожий промысел. Но откуда же набралось пятнадцать тысяч рублей?

Словно обрадовавшись, что снова может нырнуть в бумагу, бухгалтер деловито откликнулся:

— А вот: оконных стекол двадцать восемь штук, станков ножевых по металлу — два, электрораспределительный щит — один, амперметр — один... Всего семнадцать названий, на сумму пятнадцать тысяч семьсот семьдесят три рубля семьдесят копеек.

— Семьдесят копеек, говорите?

— Да.

— Ну что ж. Позаботились о вверенном вам имуществе, ничего не скажешь. Учтено все до последней копейки. Но если к вам ходили на кражу и другие, почему вы думаете, что все это украли подростки Кононов и Громов?

Бухгалтер вытирает платком лоб.

— Ну что вы ко мне пристали? — говорит он, и теперь Поливанов слышит его настоящий человеческий голос, бухгалтер больше не бубнит скучливо, он сердится.— Суд так решил, не я.

...На дворе Поливанова ждет Коленька. Он сидит на лавке неподвижно, уставившись на крыльцо. Едва в дверях появляется Митя, как он вскакивает и бежит ему навстречу.

— Беги домой, я еще долго ходить буду.

— И я с тобой.

Ты меня полюбил, я вижу,— думает Поливанов.— А за что? Непонятно. Просто так. Полюбил — и все. И связал меня по рукам и ногам. Я еще не видел этого Сергея, а уже в ответе за вас за всех. А почему? С какой такой стати? Я вчера вас знать не знал, а сейчас вы вот у меня где сидите...

— У тебя сыны есть? — спрашивает Коля.

— Нет.

— Ну, тогда собака, кошка?

— У меня дочки.

— Дочки? Как Валька и Олька?

— Поменьше. Катя и Аня.

Поливанов оставляет Колю в коридоре и входит в кабинет к директору лесозавода. Кабинетик маленький, чистенький, стол под зеленым сукном, на полу коврик, на окне занавеска. Не бог весть что, но чисто, пристойно, и сам директор под стать своему кабинетику: небольшого роста, чисто выбрит, в аккуратной гимнастерке. А глаза пьяноватые. Красные, мутные. Долго рассматривает удостоверение Поливанова, вертит его и так и сяк.

— И вы из-за этого сюда приехали? Эх, товарищ, товарищ! Мальчишка-то на свободе. Чего вы беспокоитесь? Тихонов,— обращается он к высокому молодому парню, вошедшему в кабинет,— вот товарищ из самой, понимаешь, Москвы к нам пожаловал, насчет Кононова, парнишки того.

Тихонов садится на стул, выставляет ноги и говорит, зевая:

— А чего? Мало дали подлецам. С таких лет — и воровать. Если сейчас не приструнить, дело далеко пойдет. Пускай спасибо скажут, что не засудили лет так на десять. Подумать, в такие годы на пятнадцать тысяч тяпнули! Это надо же!

— Вы Тихонов? Значит, это вы тогда исколотили ребят?

— Как понять — исколотил? Тряхнул маленько, это — да. Неужели по головке гладить за воровство?

— Вот это меня интересует — кто вор?

— То есть, как — кто? Суд разбирался, выяснял, люди мозгами ворочали, думали. Воров за руку словили, на месте, как говорится, преступления, а вы интересуетесь, кто своровал? Здрате!

Директор молчит. Разговаривает старший механик Тихонов. Разговаривает уверенно, напористо. У него яркие голубые глаза, плоские, без глубины — не то бельма, не то пуговицы.

Поливанов тоже вытянул ноги, тоже развалился на стуле и, дождав-шись паузы, тихо сказал:

— Есть такой анекдот: пьяный ползает на земле у фонаря. Люди спрашивают: ты что, мол? Рубль потерял, отвечает. А где потерял? Вон у того забора. Так почему ищешь здесь, а не там? А здесь светло!

— Вы на что намекаете? — Тихонов повышает голос.— Вы хоть из Москвы и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова. Если каждый, кто из Москвы, станет разоряться...

Когда Поливанов вышел в коридор, Коля стоял спиной к нему и глядел в окно. Он мгновенно обернулся, взял Поливанова за руку, и они вышли на улицу. Митя вынул из кармана кусок хлеба с тонким ломтиком шпига и дал мальчику. Коля поднял на него глаза:

— А ты?

— Я сыт.

— Ну, откуси.

Митя откусил, и они пошли дальше. Коля шел и спотыкался. Митя подхватил его на руки, мальчишка задрыгал ногами:

— Я большой! — И вдруг затих, обмяк, стал тяжелый. Переложил хлеб в левую руку, правой обнял Поливанова за шею и уронил голову ему на плечо.— Я большой,— повторил он очень тихо и опять умолк. Он был тяжелый, потяжелее Кати, да и Анюты, пожалуй. Поливанов все останавливался, спрашивая дорогу в прокуратуру. Одна тетка объясняла долго и путано:

— Суд, стало быть? Постой, постой, где же это такое? А, в райсовете. Вот завернешь после кина вправо, там поднимешься на горку и возьмешь левой. Эх, да что там, давай провожу!

Она шла рядом, размахивая кошелкой, и говорила без передышки:

— От сумы, говорят, да от тюрьмы не уйдешь. Сума — вот она. До сумы нас всех война довела. Окаянная! Ты, я смотрю, не на фронте. Отвоевался? А! Счастливая у тебя жинка. А у моих дочек мужиков побывало. У обеих. Обое с детьми остались. Счастливый ты, паренек, тятка вернулся. Вон как обнял, видать, соскучился? Эх, беда, беда наша, куда от нее денешься? В магазинах хоть шаром покати. А на рынке такое запрашивают, не подступись. Совсем бога забыли. Дерут, черти, ни стыда ни совести. А тебе зачем в суд? Да ладно, не хочешь, не говори. Кому охота про себя неладное рассказывать? Бывай здоров! Вон он суд, видишь? Ну, ни пуха тебе, ни пера!

Поливанов постоял с минуту, глядя на двухэтажное обшарпанное здание.

— Знаешь что, брат? — сказал он. — Пошли-ка в Серезину школу. А сюда я пойду завтра.

Поплутав немного, они вошли в школу, низенький деревянный дом, в ту минуту, как раздался звонок. Двери разом распахнулись, в коридор вывалились ребята, и все заходило ходуном. Поливанову казалось, что он в шапке-невидимке, никто не сторонился, мальчишки бежали напрямиком на него. Пахло хлоркой, чернилами (лиловыми, — подумал Поливанов). Хлопали двери, форточки, звонкий девчоночий голос кричал: — Кому говорят? Вон из класса!

— Где тряпка? Где тряпка, я вас спрашиваю? — откликнулся кто-то в конце коридора. Снова звонок, и так же внезапно наступила тишина, готовая вновь взорваться шумом. Поливанов стоял в затихшем коридоре и вспоминал московскую школу, которую часто снимал в кинохронике: ковры, широкие окна, классы, полные света. Он недавно снова был в этой школе. И сейчас, в войну, она по-прежнему была чистой, светлая, теплая. По коридорам не бегали, а ходили парами девочки в коричневых платьях, а величавая толстая директриса оглядывала их внимательным и строгим глазом. Здесь директором была усталая, оглохшая от шума женщина. Выслушав Поливанова, она сказала:

— Я, знаете, не в курсе дела. Тут мать Кононова приходила за характеристикой, она что-то такое рассказывала... Он, кажется, с группой ребят стянул какие-то части на машинно-тракторной станции. Подробности? Какие же я могу знать подробности? Тогда уж надо с делом знакомиться.

Дверь кабинета растворилась, и кто-то втолкнул в комнату подростка лет пятнадцати.

— Стань как следует, — устало произнесла женщина. — Ну что?

— Ольга Васильевна выгнала из класса.

— Вынь руки из карманов. Стань как следует, как человек. Ну? Что ты натворил?

— А чего? Я ничего! А чего она?

— Придется мать вызвать. Не жалеешь ты ее, Никитин.

— А чего...

Поливанов тихо вышел из кабинета. Никто этого не заметил.

— Ну вот, друг милый, — сказал он Коле, — пойдём домой. Ничего нового мы, наверно, не узнаем. И пора уже мне познакомиться с Сергеем Кононовым.

— Иду-у-ут! — услышал он еще на крыльце. Дверь распахнулась, на пороге стояли две одинаковые девочки: обе курносые, глазастые, у каждой, как и у Коли, по ямочке на подбородке. Они как знакомого схватили его за руки и потащили в комнату.

— Я вам солью! Вот чистое полотенце! С петухами! Вы у нас долго поживете?

Они говорили наперебой, суетились, поливали ему на руки, собирали на стол — все разом. А в углу комнаты на низкой скамеечке сидел мальчик. Белокурый, со светло-кариими ореховыми глазами. Может, эти глаза смотрели чуть настороженно — самую малость. А может, просто это были очень внимательные глаза. Здороваясь, он смотрел на Поливанова спокойно и пристально. Вера Григорьевна была в свежей, тщательно отглаженной блузке, девочки в синих фланелевых платьях, с белыми бантами в тощих косичках. Все сели за стол, который казался праздничным: на ослепительно белой скатерти стояла миска, и в ней дымилась картошка. В глубоких тарелках — кислая капуста, винегрет, горя-

чая свиная тушенка, привезенная Поливановым, посередине стола — маленький графинчик с мутноватой водкой.

Поливанову казалось, что он никогда не видел детей, которые так доверчиво разговаривали бы с незнакомым человеком. Девочки обращались к нему так, словно век его знали, словно к ним приехал старший брат или дядя. Его спрашивали про метро, салюты, зоопарк. Ему накладывали в тарелку, подливали в стакан, на него глядели глаза ласковые и счастливые. Все это было просто так, задаром. Они не знали, что он приехал на выручку, знали только, что он гость. Из Москвы! Коля сидел рядом и жался к нему. Коля очень устал, но тоже был счастлив — едой, теплом. И ему хотелось показать, что Поливанов его, Колин, гость.

— А покажи им карточки! — сказал он.

И когда Поливанов вытащил фотографии, Коля сам все объяснил — где Аня, Катя, Саша. Рассказал, что Аня пошла в первый класс, а Катя еще маленькая. Что живут они на чудной улице — называется Серебряная. Вера Григорьевна долго и пристально рассматривала карточки, про Анисью Матвеевну спросила:

— Мамаша?

Поливанову было не занимать стать рассказов. Он рассказывал всякие истории, смешил, пил за здоровье Веры Григорьевны, дочек, сыновей. И вдруг он понял, что они тут все вместе, а Сергей один. Сергей тоже разговаривал и спросил даже:

— А в Москве хорошие ремесленные? Я бы пошел в ремесленное, да тут у нас одна шпана идет.

Но дело было не в том, что он говорил, а что, сидя за этим столом вместе со всеми, он был огорожен кольцом одиночества, и казалось, что от них от всех ничто за этот круг пробиться не может. Ни девочки, ни Коля, ни мать, ни он, Поливанов, не могли перешагнуть через эту преграду. Что делает человека одиноким — беда? несправедливость? потери? Поливанов вдруг вспомнил себя в Ташкенте. Ничье участие ему не помогало тогда. Ничья близость, ничье тепло. Ничья рука? Неправда. Была такая рука. Без этого бы не справиться. А как быть здесь? Этот тоже не пожалуется. Не попросит помочь.

Пока девочки убирали со стола, Сергей сел за уроки. Это значило: я занят. Меня не трогайте. А Коля ходил за Поливановым неотступно. Он стоял в своем тулупчике неподалеку, пока Митя колот на улице дрова. Потом помог сложить поленья в сенцах. Он забрался к нему на колени, когда они вернулись в дом. Девочки притулились подле на той низкой скамеечке, на которой прежде сидел Сережа, и преданно смотрели, как Поливанов мастерит из газетного листа голубей, самолеты.

— Ты бы послал девочкам в Москву какой подарочек, а, Коля? — сказала Вера Григорьевна. — Какую из своих игрушек?

— Ладно! Выберу, что мне не надо! — сказал Коля.

— И не стыдно? — разом закричали обе девочки и кинулись к шкафу. Они отворили дверцу, и на нижней полке Поливанов увидел кукольную квартиру. Стол, покрытый пестрым лоскутком, четыре табуретки, шкафчик — грубо сколоченный, но шкафчик, в дверцу которого вделано карманное зеркальце. По левую сторону от стола стояла кровать, и на ней две тряпичные куклы с целлулоидными головами. Глаза у кукол были пронзительно голубые, вытарашенные, и лица походили на блин. Но платья! На куклах — пышные цветастые платья, и на одной кушачок кожаный с маленькой пряжкой от чьих-то старых туфель.

Сидя на корточках, Митя разглядывал все это хозяйство.

— Сами шили? — спросил он.

— А кто же еще? А лоскуты какие богатые, правда? Мебель нам

Сережа сработал. Вы берите, берите, не стесняйтесь, и кровать берите, и шкаф. Нам Сережа еще сделает, сделаешь, Сережа?

— Сделаю,— ответил Сергей, не оборачиваясь.

Митя брал в руки и рассматривал стол, табуретки, шкаф. У девчонок от таких вещей сердце должно заходиться. В комод лежали кукольные платья, простыни и наволочки. Комод был из спичечных коробков и ящики выдвигались, как настоящие.

Потом все легли спать, за столом остались только Поливанов и Сергей. Настольную лампу приглушили газетой. Поливанов открыл книгу, мальчик что-то писал и зачеркивал в тетради по арифметике. Радио здесь не выключали. Оно говорило без передышки. Поливанов уже научился не слышать — музыка, говор, песни, стихи — все проходило мимо, звучало издалека. И вдруг он поднял голову и прислушался, как если бы его позвали. В черной тарелке проплакала скрипка, виолончель глухо повторила за ней ту же мелодию. Поливанов взглянул на мальчика. Сережа сидел, низко склонившись над тетрадкой. На бумагу со стуком упала капля, и Поливанов поспешно опустил глаза.

— А если, правда, в ремесленное? В Москву? — услышал он.

— А мать? А девочки? Коля?

— Вам рассказать, что здесь было, или вы уж наслышались?

— А что мне до этого? Я и сам понимаю, что к чему. И бухгалтера повидал, и Тихонова. Не маленький.

— Мы с Юркой только...

— Не надо. Знаю.

— Выручите?

— Выручу.

Сергей лег на полу, Поливанов на его диване. Радио пело «В лесу прифронтовом», а он хотел снова услышать, как глухо вторит плачу скрипки виолончель. Знать бы хоть, что это такое. Вот Саша, наверно, знает. Но он даже не сумеет объяснить ей как следует, что это было. Скрипка плакала, а виолончель повторяла жалобу своим человеческим голосом. Странная она, эта журналистская работа. Если так всех впускать к себе («в свое сердце» — кажется, так говорят в художественной литературе) — надолго ли человека хватит? Он любил свою прежнюю работу. Никто на свете не знал, как он ее любил. Он много видел. Разное встречалось на его пути. Хорошее, плохое, прекрасное, уродливое. Все вперемешку. Он видел, запоминал, шел дальше. Он не останавливался. А тут остановился. Первый раз в своей жизни он остановился, увидев Сашу. С той поры что-то с ним произошло. Но сейчас... Как быть сейчас? Разве он успокоится, если не выручит этого мальчишку? Разве он когда-нибудь забудет эту семью, печальную женщину, курносых девчонок, малыша, который сегодня уснул у него на коленях?

Он понял, что полночь: радио умолкло. И в тишине стало слышно, как Коля сползает с сундука. Поливанов окликнул его, и Коля тотчас зашлепал к нему босыми ногами.

— А я думал, ты на полу,— сказал он, заползая под одеяло,— слушай, чего я тебе скажу... Оставайся с нами. Не уезжай в Москву...

— А Катя с Анютой как же?

— Они сюда приедут. Будем вместе жить.

— А их мама?

Коля не ответил. Поливанову даже показалось, что он уснул. Но нет, он не спал. Поливанов снова услышал его шепот:

— Наша мама очень хорошая. Она редко ругается. Только если плачет. Вспомнит папу, заплачет и тогда начнет шептать: на что вы мне сдались все? И что я буду с вами делать? Когда папу убили, мама сильно плакала. Мы все тоже плакали, и мы ей говорили: — Не плачь,

мы тебя будем слушаться, всегда будем слушаться, а она все равно плакала. Даже заболела. Я ей в больницу суп носил.

— Ты молодец, хороший парень.

— Не уезжай, а то я буду плакать. Заболею, меня в больницу положат.

— Спи, уже поздно.

— У нас мама хорошая. Кружева умеет вязать. Видел на столе скатерть? Это она сама вязала. Она из всех надомниц самая лучшая. Она такая. Слышишь, что я говорю?

— Слышу. Спи.

* * *

В первую минуту ему показалось, что молоденькая девушка-адвокат похожа на Сашу: синие глаза и каштановые волосы над светлым лбом. Но стоило ей заговорить, и сходство пропало. Саша всегда оставалась сама собой. Это и по сей день не переставало удивлять Поливанова. Она разговаривала простодушно и открыто — сердилась ли она или смеялась, говорила с чужими или с кем-либо из своих — она оставалась все той же Сашей.

Увидев синие глаза под темными бровями, он улыбнулся, готовый услышать Сашин голос. И ошибся.

— Я настаивала на том, чтобы дело за маловажностью состава преступления прекратить, — строго сказала девушка, и Поливанов понял, что этой строгостью и металлическим голосом она утверждает себя. Никто не посмеет сказать ей: э, да ты слишком молода, рано тебе винить или оправдывать. Когда человек говорит так сухо, так серьезно, всем становится ясно, что молодость — не помеха, — несмотря на молодость, девушка кончила юридический институт, и за плечами у нее немалый опыт, и знание жизни, и глаза у нее зоркие, и от них ничего не укроется.

— В иске Промкооплесу мы сразу отказали, а эта несчастная доска, про которую вспомнил Кононов... так ведь в разделе третьем уголовного кодекса есть примечание — простое и ясное, я на него и опиралась в своей речи.

Поливанов глядел на нее — очень молодую и строгую — и постарался представить себе, как она произносит речь. Наверно, вот так же, стараясь держаться прямо, сжав руки в кулак и выбирая слова поостроже: «Раздел третий уголовного кодекса... состав преступления...» Она говорила дельно. Однако была такая замороженная, что Поливанов перестал расспрашивать и, подчиняясь ей, прочел примечание к разделу третьему. Там было сказано: «Не является преступлением действие, которое хотя формально подпадает под признаки какой-либо статьи особенной части настоящего кодекса, но в силу малозначительности и отсутствия вредных последствий лишено характера общественно опасного».

— Вот видите: общественно опасного. Но ведь кража двухметровой доски, которая к тому же валялась в неполюженном месте, не представляет собой ничего общественно опасного, так? А суд...

— Да, суд тоже предпочел искать там, где светло.

— Как вы сказали?

— Нет, нет. Просто к слову пришлось. Спасибо, я все понял.

Он больше никуда не пошел. Он вернулся к Кононовым. Смастерил Коле из дощечки лодку, совсем такую, как когда-то в Ташкенте для Ани. Он сделал красивый парус, и лодка стояла на столе, а Коля оперся подбородком на край стола и смотрел на нее, не мигая.

Весь день Коля был очень тихий. Не пел, не разговаривал, не расспрашивал Поливанова про Москву. Он только ходил по пятам, сидел рядом, а иногда молча касался его руки. Глаза Веры Григорьевны глядели холодно. Она истопила печь и долго сидела молча, глядя в огонь.

И только девочки были по-прежнему веселы. Они безмерно восторгались его расческой, кожаным футляром от нее и носовым платком в голубую и белую клетку. Он подарил им расческу, футляр и платок. Вера Григорьевна прикрикнула:

— Будет вам кланяться! — И девочки тоже примолкли.

Потом в окна заглянули сумерки, семья в тишине поужинала. Поезд на Москву уходил в час ночи, но Поливанов решил выйти загодя. Мальчики шли рядом с ним, взявшись за руки. На окраине города Поливанов услышал за спиной рев грузовика, остановился и поднял руку.

— До станции? — спросил шофер, приоткрыв дверцу. — Садись!

Поливанов пожал руку Сергею, поцеловал Колю и сел в кабину. Прежде чем захлопнуть дверцу, он высунулся и еще разок поглядел на мальчиков. Они стояли на краю шоссе — большой и маленький, стояли сиротливо, а за ними выцветало сумрачное небо с первыми бледными звездами.

И Поливанов понял, что навсегда запомнит этот молчаливый день и безмолвно глядящую в огонь женщину, высокое печальное небо и мальчиков, которые стояли, взявшись за руки, на краю шоссе.

* * *

И вот он сидит за столом, и перед ним лист чистой бумаги. Саша на работе, Анюта в школе, Катя во дворе. Тишина. Никто не мешает. Пиши.

В поезде, по дороге домой, он мечтал об этой минуте. Ему так хотелось поскорее остаться наедине с белым листом. Казалось, слова сразу польются на бумагу и читатель вместе с ним увидит и поймет то, что увидел и понял он. Но рука будто окаменела. Все слова куда-то запропастились. Из-под пера выходило что-то несусветное. Он писал и зачеркивал, писал и зачеркивал. Он зазря просидел у стола до часу дня, пока из школы не вернулась Аня. Следом за ней пришли Катя с Анисьей Матвеевной, и Поливанов вздохнул с облегчением: ну, какая же работа при детях!

— Как твои дела, Анюта? — спросил он, пряча перечеркнутую страницу в портфель.

Аня поглядела на него, крепко сжав губы, и вдруг залилась плачем:

— Опять... опять единица!.. По арифметике.

Аня размазывает по лицу слезы и, рыдая, пытается объяснить:

— Я не решила... не решила, сколько будет три плюс четыре.

— Никогда не поверю! Ты ведь складываешь в уме большие числа! Пстой, ты вчера сосчитала, сколько будет тринадцать и восемь!

— Да-а, а я сколько думала? Зинаида Петровна не велит думать, она велит сразу говорить, сколько будет.

— Ты что-нибудь не поняла, Анюта. Этого не может быть, чтоб учительница не велела думать.

— Митя, вот честное слово! Если ты не веришь, так вот самое честное слово! Митя, а ты знаешь, какие у Зинаиды Петровны самые любимые слова?

— Какие же?

— «У меня свой метод», «не возражайте мне». А еще так: «я требую».

Слезы высохли, оставив на щеках грязные полосы. Анюта садится с ногами на диван и, забыв о единице, рассказывает:

— Митя, сегодня Люба, ну, которая со мной на парте сидит, спрашивает: «Почему ты носишь на завтрак все черный хлеб да черный хлеб? Вот у меня на завтрак плюшки с изюмом!»

— А ты что ответила?

— Я ответила: я люблю черный хлеб, особенно если с повидлом, а плюшки с изюмом не люблю.

— А ты и вправду не любишь?

— Ну что ты, Митя! Конечно, люблю. Только ей об этом знать незачем. Митя, а ты уже написал про этого мальчика, про Сережу?

— Хватит болтать! — слышится из соседней комнаты голос Анисьи Матвеевны. — Анна, иди обедать!

Поливанов выходит вместе с Аней в комнату Константина Артемьевича и видит Катю, которая стоит у зеркала и, протянув своему отражению кусок хлеба, дружелюбно говорит: — На!

Остаться с ними? Пошататься по улице, подумать, может, что и придет в голову? Или пойти в редакцию, проверить, не переврали ли фамилии в фотоочерке о Мытищинском заводе. И вернуться, уже когда Саша будет дома. Да, пожалуй, он пойдет в редакцию. Его там не ждут нынче, всем известно, что он «отписывается» после командировки. Да, отписывается... Пишет и зачеркивает, пишет и зачеркивает.

Все-таки, — думал он, шагая по Серебряному переулку, — надо что-то сделать с Аней. Может, перевести в другую школу? Здесь ее заморозят. Как она спросила: а ты уже написал про этого мальчика, про Сережу?

Все, что он написал сегодня, было плоско. Ни мыслей, ни простого умения рассказать суть дела.

Может, посоветоваться с кем-нибудь. Например, с Сергеем Голубинским, что ни говори, он один из лучших очеркистов в газете. Но Голубинский очень занят собой. Поливанов не раз замечал: у Голубинского оживленное лицо, блестят глаза — это значит, говорят о нем, о его работе. Вот его лицо потускнело, глаза погасли — это значит, заговорили о ком-нибудь другом. Поливанов представил себе, как он рассказывает Голубинскому о Кононовых, мысленно увидел его скучающее лицо и то, как он старается подавить зевок... Нет, черт с ним, с Голубинским. Может, поговорить с Лаврентьевой? Она талантливая журналистка. Она называет себя многостаночницей и действительно умеет все и разом: написать передовую, очерк, деловую корреспонденцию, фельетон. Иногда пишет, чаще — для скорости — диктует прямо на машинку, и машинистки не могут надивиться этой способности диктовать быстро, отчетливо, на ходу выстраивая умную, яркую статью.

О ней говорили много и плохо. Говорили, что у нее всегда не меньше трех романов одновременно. Говорили, что сам шеф в нее влюблен. Говорили... Да мало ли что о ней говорили! Поливанову все это было нелюбопытно. Он учился новому делу и с жадностью наблюдал за чужой работой. А у нее было чему поучиться. На летучках она всегда выступала толково, кратко, умно. Она, по общему признанию, была хорошим советчиком. Да, для всех, кто умел не обижаться.

— Вы никогда не будете писателем, — сказала она Голубинскому.

— Да он уже писатель, у него книг столько! — воскликнула Оля, секретарша отдела.

— Вы талантливый человек, — продолжала Марина Алексеевна, — но вы никогда не станете писателем. Вы умеете обижаться, но не умеете слушать.

— То есть? — спросил Голубинский.

— Когда вам говорят, что вы написали плохо, вы обижаетесь и кистете. Вы не умеете ни выслушать, ни вдуматься в то, что вам сказали. Вот и сейчас, — ну, что с вами? Оля, скорей повторите ему, что он писатель, раз у него есть книги!

Поливанов вспомнил обо всем этом, пока поднимался по редакционной лестнице. Не заходя к себе в отдел, он открыл двери секретариата и тотчас наткнулся на Лаврентьеву и Голубинского. Она сидела в кресле за столом, он нервно ходил по комнате.

— Ильф очень точно заметил: есть литераторы, которые бесславно погибают в борьбе со словом «который»...

— Это, конечно, очень остроумно, но это не оправдывает ваших вечных нападок, которые...

— Вот, вот! Которые! — она засмеялась. — Попробуйте выпутаться из этой фразы!

Ей лет тридцать, может быть, тридцать пять. Темные волосы свернуты узлом на затылке. Лицо продолговатое, с большим красивым ртом — выразительным и умным. Она почти всегда курит, Поливанов, пожалуй, не помнит ее без папиросы. А папироса всегда в мундштуке, и от этого кажется очень длинной и тонкой.

— А! — сказала она. — Вот кого я рада видеть. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Говорят, вы интересно съездили?

Интересно? — подумал Поливанов. Кажется, это последнее слово, которым можно определить его поездку в Подгорск.

— Да, — ответил он, — очень интересно.

— Не могу ли я быть вам полезной?

— Пока нет, благодарю вас.

— Но написав, надеюсь, покажете?

— Конечно, если прежде не погибну в единоборстве со словом «который».

— Ну-ну! — сказала она. — Желаю успеха!

* * *

И вот он снова сидит за столом, и перед ним лист чистой бумаги. Дети спят. Тишина. Никто не мешает. Пиши. И он пишет: «В разделе третьем уголовного кодекса есть примечание, простое и ясное. Оно гласит...» Нет, не так. Сейчас, сейчас, что-то такое промелькнуло очень важное. Ах, да. Зачеркнув написанное, он складывает новую фразу: «Велика ответственность каждого человека перед теми, кто на фронте...»

Нет, опять не то. Откуда берутся эти казенные слова? Ведь он никогда так не говорит. Почему же сейчас они опутали его, и он никак из этой паутины не вырвется: «Дети фронтовиков», «великая ответственность», «примечание гласит»... Нет, дело не в словах, а в том, что он — бездарность. Ведь он знал, что ему не следует браться не за свое дело. Он был прав, когда сказал Леше, что не поедет в Подгорск. Надо было, чтоб туда поехала Лаврентьева. Или Голубинский. Или кто-нибудь еще. Он представил себе Голубинского в комнате у Кононовых, и эта картина ему не понравилась. А если Лаврентьева? Вот она вошла, поздоровалась с Верой Григорьевной. Нет, не то. Это он, Поливанов, был в доме на Любимой улице. Он, а не Голубинский, не Лаврентьева. Итак, была не была, начнем: «В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том, что двое подростков...» Проклятье! Поливанов скрипнул зубами и отложил перо. И вдруг сзади его обняли за шею. Он прижался щекой к Сашиной руке.

— Я не слышал, как ты вошла.

— Я давно уж тут и смотрю, как ты маешься.

— Только зря ездил. Мне не написать.

— Неправда, напишешь. Вот послушай. Представь себе: ты приехал из Подгорска, а меня нет.

— Где же ты? Я не люблю, когда тебя нет.

— Я уехала на Северный полюс. Или в Ленинград. Или гуляю по Царской тропе в Крыму. Ты приезжаешь, а меня нет. Что ты делаешь?

— Я сержусь.

— Верно. Ну, а потом?

— Потом я ору на всех подряд, расшвыриваю все, что попадает под руку. Дети плачут, а я проклиная вселенную и все ее окрестности.

— Все верно. Ну, а потом?

— Потом я пытаюсь дозвониться тебе.

— На Северный полюс? Нет, ты пишешь мне письмо. И в письме рассказываешь обо всем, что было в Подгорске. Понимаешь? Ты должен написать не статью, не очерк, а письмо ко мне. Дорогая Саша, я приехал в Подгорск поздним вечером. Темень. Где же здесь Любимая улица? Где дом Кононовых? Ну, зачем мне сейчас повторять все, что ты нам рассказывал? Потом мы вычеркиваем «Дорогую Сашу» и «Целую тебя», и остается статья.

— Ты предлагаешь игру, а мне надо написать серьезный очерк.

— Митя, честное слово, я тебе дело советую. Вот попробуй. Ведь ты не станешь мне писать...— Она перегнулась через его плечо и прочитала: — «В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том...»

Поливанов прикрыл ладонью начатую страницу.

— Ложись. Уже поздно,— сказал он хмуро.— А я еще поколдую.

Он работал всю ночь. Он мысленно повторял весь путь от вокзала до города, снова едва не упал в овраг, снова услышал, как течет в темноте река и стук своих башмаков по булыжной мостовой. Он вспомнил, как женщина сказала: «А я было подумала...» А что она подумала? А вдруг... вдруг — добрая весть. Вдруг то извещение было ошибкой. Вдруг...

Он рассказал о заплыванной комнатке с низким потолком и о бухгалтере с его унылым носом, он написал про чистенький кабинет директора Промкооплеса и про Тихонова: — Вы на что намекаете? Вы хоть из Москвы и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова.

Про бухгалтера, директора, Тихонова писалось легко. Про Сергея, про Колю писать было куда труднее. Опять все слова взбунтовались. Поливанову почудилось, что он пишет не чернилами, а патокой, сладким сиропом. Откуда-то выскочила «тонкая шейка» и даже «ясные ребячьи глаза». Бр!.. Он в бешенстве перечеркнул страницу и начал все сызнова. Хорошо ли, плохо ли, но он написал свой очерк. И даже приращение из третьего раздела уголовного кодекса нашло в очерке свое место: как оно и было, его помянула молоденькая защитница. И о том, как они с Колей ходили по городу, было сказано. Поливанов не говорил за бухгалтера, директора, Тихонова, они сами говорили — директор вкрадчиво («Ах, товарищ, товарищ!»), Тихонов напористо, а бухгалтер будто читал протокол. И непреложно ясно было, кто вор.

Под утро он разбудил Сашу и прочитал ей свою статью.

— Спасибо,— сказала она.— Очень хорошее письмо.

* * *

Это было, наверно, единственное в стране учреждение, где машинописным бюро заведовал мужчина. Ростом он не вышел и весь был очень маленький: маленькое личико, маленькие ручки и огромные круглые очки. Но маленькие ручки с бешеной быстротой стучали по клавишам, с ним не могла состязаться ни одна машинистка. Он печатал, не глядя на клавиши, и при этом еще делал замечания машинисткам, брал телефонную трубку, отругивался, объяснял, что у него все материалы срочные и он ни для кого не намерен делать исключения. Если ему диктовали, он то и дело вопил:

— Быстрее! Еще быстрее! Быстрее, вам говорят!

В редакции он назывался машинист. Все машинистки ненавидели его, боялись и уважали: он печатал не только с чудовищной, неправдоподобной быстротой, но безупречно грамотно. Отдавая перепечатанную

статью, он обычно говорил автору несколько слов. Чаще всего это были неодобрительные слова:

— Сложные периоды у Гоголя получались лучше, чем у вас, не скрою. Обратите внимание на последний абзац — пока его читаешь, может пройти товарный состав в сорок вагонов.

Или:

— Что это у вас «распоряжение», «удивление», «разъяснение» — «ение»! Акафист какой-то, а не статья.

Он терпеть не мог Голубинского («Написано красиво, но смысла ни на грош») и любил Лаврентьеву («В том, что она пишет, всегда есть зерно»).

Как ни странно, он хорошо относился к Поливанову. Он сам ему печатал. Не хвалил его фотоочерки, но и не ругал.

Сейчас он взял очерк Поливанова, перелистал его, поднял брови:

— Подвал? Гм... Ладно, приходите через час.

Дверь приотворилась, и кто-то на ходу крикнул:

— Поливанова в секретариат к Савицкому!

Савицкий был ответственным секретарем редакции. Когда-то хороший журналист, он давно уже ничего не писал.

— Давно не писал и уж, наверно, никогда ничего не напишу, — с грустью сказал он однажды Поливанову. — Секретариат съел меня со всеми потрохами. Но, — прибавил он, — если он мог меня съесть, то туда мне и дорога. Вот Марину не заставишь сидеть в редакции, ей нужны жизненные просторы — ездить, писать. А я... Так, видно, до конца буду протирать свой ширпотреб на этом окаянном месте.

Но он любил это окаянное место. Любил редакцию, ревновал к каждой интересной статье в другой газете. Никто лучше него не учил практикантов, никто пристальней не приглядывался к новым людям, пришедшим в редакцию. И это он сказал Поливанову, когда тот принес в редакцию письмо, найденное в чемодане майора Кононова:

— Вот вы и поедете. Давно пора. Не спорьте. Поедете.

Зачем я ему понадобился? — думал Поливанов, отворяя дверь в кабинет Савицкого. Савицкий сидел над макетом полосы и что-то вымерял строчкомером. Он поднял усталые глаза и жестом пригласил Поливанова садиться.

— Это не очерк, — сказал он Глебову, сотруднику отдела науки, — не очерк, а восемь страниц Нагорной проповеди. Понятно? Верни в отдел.

Глебов проворно схватил какие-то гранки и умчался. Савицкий подпер щеку ладонью и сказал:

— Поздравляю, дорогой друг, с боевым крещением.

Что он мелет? Он ведь еще не читал статьи?

— Я не о статье, — сказал Савицкий, словно угадав его мысли. — Я с другом. Поздравляю с первой анонимкой. В редакцию пришло письмо, в котором сообщается, что вы — родственник Кононовых.

— Очень интересно.

— Да, конечно. Это правда, что вы остановились у них?

— Правда.

— Послушайте, но ведь это журналистская азбука — нельзя останавливаться у людей, которых собираешься защищать.

— А если собираюсь ругать?

— Тоже нельзя. Гостиница — вот резиденция журналиста. Нейтральная зона. Независимость. Запомните это раз и навсегда.

— Есть запомнить.

— Идите и больше не грешите.

— Есть не грешить.

— В письме говорится, что вы младшего Кононова таскали по городу на руках. Было дело?

— Было.

— А зачем, собственно?

— Мальчишка устал. Почему не взять его на руки?

— Да зачем он за вами ползлелся?

— Знаете что, Леонид Евгеньевич, вот скоро очерк придет с машинки, прочитаете и поймете. Или не поймете, это уж как выйдет. А объяснить я вам ничего не могу.

...Поливанов поклонился по коридорам, забрел в читальню, посмотрел свежие журналы. Ровно через час он заглянул с порога в машинописное бюро.

— Десять страниц,— сказал главный машинист,— и доложу вам, очень толково написано. Зацепили.

Поливанов взял очерк, отыскал пустую комнату и стал читать. То ему казалось: хорошо. То вдруг он непреложно понимал: из рук вон плохо. Одно только он знал твердо: может, нельзя журналисту останавливаться у людей, которых он хочет защищать, но если бы он зашел к Кононовым, чтоб, как говорят, «проверить факты», он ничего не мог бы написать. Надо было там пожить. И посидеть с ребятами у печки. И походить с Колей по городу. И поговорить с Сергеем в затихшей комнате. «Выручите?» — услышал он снова. Выручу. Не будь всего этого, он не написал бы очерка, нет, не написал бы. А хороший вышел очерк или плохой, этого он не знал.

* * *

Очерк напечатали. Держа в руках газету, Поливанов испытывал чувство, похожее на то, с каким впервые взял на руки новорожденную Катю: это мое? Неужели это незнакомое, непонятное — мое?

На летучке его очень хвалили. Критиком был Голубинский, и он не пожалел слов: талантливо, глубоко, живописно, видишь людей, слышишь страстный, заинтересованный голос публициста.

— В редакции появился новый талантливый очеркист, надо помочь его росту.

Все это было не очень приятно. Если тебе тридцать шесть, то неловко слушать, как говорят, что ты молодой, растущий и что тебе надо помочь. Но все это было забыто, когда в газете была опубликована маленькая заметка «По следам наших выступлений» и читатель узнал, что очерк сделал свое дело: ребята оправданы, судимость с них снята. Поливанов набрал домашний телефон:

— Саша, ты видела?

— Еще бы!

— Ты рада?

— Еще бы! Приходи пораньше.

— Постараюсь.

Поливанов стоял у окна. Далеко внизу сновали автомобили, трамваи, троллейбусы. Шли маленькие пешеходы — кружились, сталкивались, расходились: муравьи да и только.

Поливанов смотрел на все это и думал: оказывается, у счастья есть вкус совсем незнакомый, прежде не испытанный.

Разве он раньше не помогал людям? Помогал. Тебе нужны деньги? Бери, не жалко. Ночлег? Приходи, ночуй. Нянька, накорми! Совет? Нет, советов не даю. Советчику первая оплеуха. Приходилось ему вступаться за людей? Приходилось. Мог разнять драку, а заодно дать по морде кому следовало. Мог сцепиться с начальством, если начальство упражняло свою властность на ком-нибудь безответном. Ну что ж, вступался за людей. Так почему же... Он услышал, что в комнату кто-то вошел. Обернулся и увидел Лаврентьеву.

— Хочу поздравить вас,— сказала она.— Не буду, как Голубинский,

разливаться соловьем, но вы — молодец. И я очень хорошо понимаю, что вы сейчас чувствуете. «По следам» — это нашему брату журналисту самая лучшая награда. Неправда ли?

— На вашу долю она, наверно, часто выпадала?

— Случалось, не буду врать. А знаете, что самое главное в вашем очерке? Свое я. Не безликое газетное «мы», а вот именно «я». Начинающие этого боятся, а вы сразу же, с первых слов загремели: я думаю, я видел, в полной уверенности, что это важно, — то, что вы думаете и видите. И верно: это важно. Очень важно. Теперь вот что: редакция «Вечного пера» попросила меня написать о вас. Хотят отметить ваш дебют. Как вы на это смотрите?

«Вечное перо» — так называлась редакционная стенгазета. Гм... Ей поручено написать о нем. Превосходно!

— Как я смотрю? Положительно. Как же еще можно на это смотреть? Это почетно, и я польщен.

Она сидела на диване, он сел рядом и задумчиво сказал:

— Мне хотелось бы, чтоб в вашей статье нашли отражение примерно следующие пункты: первый — Дмитрий Поливанов — выразитель надежд и чаяний своего народа. Не смейтесь, это очень серьезно. Пункт второй — биография. Детство, родители. Первые литературные опыты — на заборе. И первые огорчения: порка. Шатания и сомнения. Выход из кризиса и новый творческий подъем в пятом классе. Пункт третий — тема нравственного обновления и богоискательство. Отвращение к точным наукам, равно как и к гуманитарным. Пункт четвертый: Дмитрий Поливанов — на стыке двух эпох.

— Это все? — спросила она, закуривая.

— Что вы? Конечно, нет. Нужен еще пункт пятый — Дмитрий Поливанов и журналистика сороковых годов. Фотоочерк, очерк-портрет, очерк на моральную тему — излюбленные жанры Дмитрия Поливанова. Вот тот минимум, без которого не получится статья обо мне.

— Иными словами, вы не хотите, чтобы о вас писали.

— Не хочу.

— Ну что ж, пожалуй, вы правы.

* * *

— Все-таки это очень странно, что Аня не любит ходить в школу, — говорит Нина Викторовна. — Помнишь, Саша, как ты любила школу? И Леша тоже. Анята, ну почему ты не любишь школу?

— Я люблю, — отвечает Анята неуверенно. Она знает: школу надо любить, школу полагается любить. И поэтому говорит, растягивая слова: — Почему это не люблю? Я люблю-у...

Аня ходит в школу и возвращается домой одна. Но изредка Саше удается забежать за ней и всякий раз, когда она видит в школьном коридоре притихшую, неприкаянную Аняту, ей становится не по себе.

Стоит Аняте выйти из школы и взять Сашу за руку, она опять становится прежней Анятой — веселой и словоохотливой. Дома — у мамы, у Мити, у всех — она может спросить обо всем, что ей придет в голову, и никто не пожмет плечами, не скажет: — Какая ты странная, Москвина! Вечно ты что-нибудь выдумашь.

Почему, если ты о чем-нибудь спрашиваешь, а в ответ пожимают плечами, становится так стыдно и неловко? Может потому, что девочки смеются?

— Москвина! Зачем ты смотришь в окно? Что ты там увидела?

— Провода!

— Ну и что?

— На провода села птица.

— Ну и что из этого?

— А может, птица слышит, какие слова бегут по проводам?

И вот тут-то Зинаида Петровна пожимает плечами. А девочки начинают смеяться. Если учительница пожмет плечами, это значит, что ты сказала очень глупые слова. И девочки смеются: они хотят показать учительнице, что понимают, какая глупая и неразвитая эта Москвина.

Вот потому-то Аня и не любит ходить в школу и любит возвращаться домой: дома она умная и все понимает, и считает в уме, и стихи легко учит, и на любой вопрос ответит. А в школе — она глупая, нерасторопная, неповоротливая и почти ничего не понимает.

И почсму так получается — выучишь стих, и он тебе нравится:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Его хочется читать громко, звонко, весело. Анюта его читала много раз, следом за ней даже Катя все запомнила, а в школе Зинаида Петровна стала спрашивать:

— Кто скажет, какой гром грохочет в небе голубом?

— Весенний! Первый! — говорят девочки.

— Как он грохочет?

— Как бы резвяся и играя, — отвечают девочки.

— Девочки, кто объяснит, что такое «резвяся»? Москвина! Объясни.

Только что Анюта понимала каждое слово в этом стихе, а вот теперь она стоит столбом, испуганно смотрит на учительницу и не может объяснить слово «резвяся».

— Садись, Москвина! — со вздохом говорит Зинаида Петровна.

Анюта садится и уже нисколько не любит стихотворение про грозу в начале мая. И не раз Анюта замечала: вопросы Зинаиды Петровны делали непонятым самое понятное. А стихи, после того как их объясняли, становились неинтересными.

Под Новый год Дед Мороз положил Ане в чулок орехи, конфеты и маленькую голую куколку. Она принесла все это в школу.

— Вот какие подарки мне подарил Дед Мороз!

Зинаида Петровна очень рассердилась, ругала Аню и призывала девочек не быть такими глупыми, как эта Москвина: никакого Деда Мороза на свете нет и никогда не было!!!

Когда Аня дома рассказывает про школу, ей почти никто не верит, разве только мама.

— Бабушка, — говорит Аня, — нельзя, нельзя белую ленточку в косу. Не разрешает Зинаида Петровна, нало черную или коричневую.

— Аня, — отвечает бабушка. — Ты чего-нибудь не поняла. Ну почему непременно черную? Траур у вас. что ли?

Вот всегда так: ты чего-нибудь не поняла!

— Бабушка, ну, почему я знаю? Зинаида Петровна говорит: такой порядок.

И никто не верит, ни дедушка, ни бабушка. Только мама верит, а иногда Митя. Мама вздыхает и говорит:

— Ну, раз порядок, ничего не поделаешь. Отыщем коричневую ленточку, не горюй, Анюта.

А она и не горюет. Чего ей горевать. Вот ей бы заболеть и не ходить в школу. Вот это бы — да! В Ташкенте, когда в этом не было никакой надобности, она болела часто. А здесь, в Москве, — редко. До чего жаль, если б кто знал! Когда всем прививали оспу, многие девочки от этого заболели. А она ничуть не заболела и как дура ходила в школу... Эх!

Другие девочки ухитряются болеть чуть не каждую неделю, а она только раз: когда в больнице вырезали аппендицит. О, это была целая история! Она в больнице вела себя очень хорошо, и Митя ей все время говорил: молодец!

А Зинаида Петровна ничем не скажет, что она молодец. Какой же толк стараться, если все равно ничего не получается? Сегодня, например, Зинаида Петровна на глазах у всего класса разорвала Анину тетрадь: за грязь. Ане было очень плохо и очень хотелось плакать, но она не заплакала. Стояла и молчала. И все. А бывает, Зинаида Петровна говорит такое, что Аня дома не рассказывает: совестно.

Когда Зинаида Петровна посадила Аню на заднюю парту, Митя написал ей записку, очень хорошую: «Уважаемая Зинаида Петровна, я уезжаю в командировку и не могу зайти в школу, чтобы поговорить с вами лично. Если можно, посадите Аню поближе к доске, у нее после кори было осложнение на ухо, и она не очень хорошо слышит». Подписался он тоже очень красиво и вежливо: «Уважающий вас Д. Поливанов».

Прочитав записку, Зинаида Петровна сказала Ане:

— Пусть мать принесет справку от врача.

Она не верит Мите! Надо же!

Этого Аня дома рассказывать не стала. Ей бы непременно сказали: ты чего-нибудь не поняла, Аня!

А она все прекрасно поняла: Зинаида Петровна подумала, что Митя врет. Рассказывать такое просто-напросто невозможно. И Митя бы обиделся. Нет, незачем было рассказывать. Она и не рассказала. И осталась сидеть на задней парте. А что такого? Все равно, сколько ни старайся, а из троек не вылезешь!

И еще Зинаида Петровна донимала Аню из-за Мити.

— Кто это Митя?

— Он мне вместо папы.

— Тогда зови его папой.

— Нет, моего папу убили на войне.

— Тогда зови его дядей.

— Он мне не дядя.

— Кто же он?

— Митя.

Зинаида Петровна сказала: — ну и ну! — и пожалала плечами. Она чуть что — пожимает плечами. Но теперь всегда говорит: твой папа. Передай папе. Что ж, в общем, правильно. И вообще, на свете все-таки много хорошего. Первое хорошее: каникулы. Аня была на двух елках: у Мити в газете и в Доме пионеров. В Доме пионеров один мальчик очень чудно читал стихи: завывал и еще глаза закатывал. Мама даже отвернулась. От стеснения. Она не любит, когда так читают. Она говорит: стихи надо читать просто. Вот Аня читает просто.

А у Мити на елке Аня была вместе с Катей. Катя себя хорошо вела, не задирала никого и все держала за руку чужого мальчика Мишу. А когда играли в каравай, этот мальчик выбрал Катю: «Я люблю, признаться, всех, а вот эту — больше всех». И Аня видела — Мите приятно, что этот мальчик выбрал Катю. Он смотрел и очень смеялся. Потом он подвел Аню и Катю к какой-то тетеньке и сказал: «Вот знакомьтесь, Марина Алексеевна, это мои дочери».

И она сказала: «Какая прелесть!» Она курила папиросу — длинную-предлинную. Интересно, про кого она сказала «прелесть» — про них обеих или только про Катю. Нет, наверно, про обеих. Потому что, если бы только про Катю, она сказала бы: «Какая прелесть эта черноглазая девочка!»

И еще был хороший день — Победы! Все были веселые, добрые, все

целовались: война кончилась! Митя написал про этот день в газету — про Красную площадь. И про салют. А мама сказала:

— Какой день! Какой счастливый и какой трудный!

Анюта не стала спрашивать, почему трудный, она сама поняла: трудный потому, что на войне многих убило. А Леша живой остался! Вот счастье!

И еще один день был — ни плохой, ни хороший, так, середка на половину: Аню перевели во второй класс. Она очень обрадовалась, она не думала, что с тройками переводят. Она пришла домой веселая, но дедушка посмотрел отметки и сказал:

— Да, невеселый табелек...

А бабушка сказала:

— Мамочка твоя училась только на отлично.

Ане сразу стало скучно. Потом пришли мама с Митей. Мама поцеловала Аню, поздравила, Митя тоже сказал:

— Молодец, Анюта, перевалила через первый класс.

Но веселье не возвращалось.

— Что ж поздравлять, — ответила Аня, — когда одни тройки.

Подумала и прибавила:

— Я все свое старание приберегла для второго класса.

...И снова настала осень. Осень сорок пятого года.

* * *

— Послушай, Анюта, ты превратила мой диван в письменный стол. Что это? Клей, спички, да смотри, клей-то пролит! Вот лягу и приклеюсь. Почему ты за собой не убираешь?

Митя говорил сердито. Он очень устал. Сегодня был трудный день — он ездил в Фили, снимал клубную самодеятельность. Снимки получились плохие, а подписи к ним еще хуже. Митя и сам хорошо понимал это. Но когда услышал из уст редактора: — Не пойдет! — расвирепел.

Возвращаясь домой, он думал, что ляжет и постарается уснуть. «Проспись, — говорила Анисья Матвеевна, когда он злился, — сном все уходит — и болезнь и злость». Злой и усталый, он сейчас собирался последовать ее совету, но, войдя в комнату, увидел на своем диване рассыпанный коробок спичек, лужицу клея, Анин альбом для рисования и Катю, которая тут же строила из кубиков дом.

— Я сейчас уберу, Митя, — торопливо сказала Аня.

— Ты — страшная неряха, — сердито повторил Митя. — Я ведь тысячу раз тебе говорил...

И в эту минуту раздался из-за двери голос Константина Артемьевича:

— Как вы разговариваете с ребенком? Почему вы на нее кричите? Я долго терпел, но больше терпеть не намерен!

В первую минуту Митя растерялся. Потом, плотно прикрыв двери своей комнаты, он вышел к тестю.

— Что вы говорите? Да вы понимаете, что вы говорите? Да еще при Ане и Кате!

— А при ком же? — спросил Константин Артемьевич.

— Нет, все же... — сказала Нина Викторовна, — ведь ребенок сирота... Я тоже была мачехой, но... И если вы — отчим...

— Что? — взревел Митя. — Что? Кто это — отчим? Что вы болтаете?

— Да, — повторила Нина Викторовна, — я мачеха, но я Саше никогда и слова не посмела сказать.

— Оно и видно, — уже сам не слыша, что говорит, ответил Митя.

— Что? Я плохо ее воспитала? — Нина Викторовна всплеснула ру-

ками.— Это я-то плохо воспитала? Да я ее в жизни пальцем не тронула! И как у вас только язык поворачивается?

— Дедушка, ну зачем ты сердишься? — появляясь в дверях, сказала Аня.— Я сама хочу, чтоб Митя на меня кричал! Пускай кричит!

— Поди отсюда! Не вмешивайся! — крикнул Митя, почти вытолкнул Аню из комнаты и, повернувшись к тестю, сказал сквозь зубы:

— Ну вот что. Если я ей отчим — поступайте, как знаете, мне дела нет. Пускай растет... — Он запнулся и поискал слова, в памяти мелькнула прекрасная строчка из какой-то статьи: «Как сорная трава», но он сказал иначе: — Пускай растет, как беспризорница. А если я отец, то буду кричать. Буду требовать. А если надо — и выпорю!

Немного спустя вернулась с работы Саша и увидела: Митя, сидя на диване, облитом клеем, зашнуровывает башмаки. У него было то выражение лица, которое Саша уже очень хорошо знала: сжатые губы, сведенные к переносице брови.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего, — ответил Митя, — пойду проветрюсь.

Он вышел и, конечно, хлопнул дверью.

— Папа сказал, что будет нас бить, — объяснила Катя.

— Что такое? — спросила Саша.

— Дай белого хлебушка! — на всякий случай сказала Катя.— А папа кричал: буду пороть!

— Аня, да что случилось?

Дверь распахнулась и вошел Константин Артемьевич:

— Ты — плохая мать, — сказал он.— Ты позволяешь чужому, в сущности, человеку...

Что долго рассказывать — Константин Артемьевич глотал валерьянку, Нина Викторовна плакала, Катя редела в голос, Аня, всхлиывая, повторяла:

— А все из-за меня.

Мити не было. Дожидаясь его, Саша слышала за дверями сдержанный шепот тети Маргариты:

— Да... А казался таким деликатным...

— Все они поначалу деликатные...

— Да, что ни говори, а брак — это лотерея...

Не умея стерпеть все это, Саша оделась и вышла на улицу. Постояла у решетчатой ограды, а потом пошла вдоль переулка к Арбату, и почти тотчас из-за угла показался Митя. Было часов одиннадцать. Он шел быстро, решительной, твердой походкой.

— А, ты здесь, — не удивившись, сказал он.— Очень хорошо. Давай походим.

— Мне сказали... — начала Саша.

— Это не имеет никакого значения — то, что тебе сказали, — ответил Митя, — я знаю одно: мы здесь не жильцы. Я готов хоть на Камчатку... На Северный полюс...

— Но ведь это наша семья... Я их люблю.

— Ну вот что, в писании сказано: оставь отца и мать своих, понятно? И пора жить своим умом, а не чужой глупостью.

— Это кто же глупый? Папа, что ли? И что ты такое говоришь?

Он взял ее под руку, и они пошли по Арбату к Смоленской площади.

— Давай будем говорить серьезно, — сказал Поливанов, — это вопрос всего нашего будущего... Покоя... Свободы. Ну, и не боюсь высоких слов — нашей любви. Мне трудно это постоянное вторжение в вашу жизнь. Я не хочу его. Константин Артемьевич прекрасный человек, не спорю. Он построил свою жизнь, как хотел. А мы будем строить по-своему, как умеем и хотим.

Саша шла, опустив голову, и молчала.

— Я не говорил тебе раньше, но мне здесь душно. Душно, понимаешь? Они разрушат мои отношения с Аней. И наши с тобой...

— Чего же стоят наши отношения, если их кто-нибудь может разрушить?

— Ты не знаешь, что может сделать пошлость.

— Да слышишь ли ты себя? Ты говоришь о моей семье — пошлость!

— Прости меня. Но сегодня я не хочу подбирать слова. И если мне говорят «отчим» — это пошлость. Неужели ты не понимаешь? И в конце концов я не ангел... Это я должен сказать со всей прямотой.

* * *

Да, надо сказать по правде: кем-кем, но ангелом он не был.

Ну, что ему стоило сказать Константину Артемьевичу хоть одно ласковое слово? Ради нее, Саши. И, может, все опять пошло бы по-старому, пусть не всегда гладко, но привычно.

Но Митя этого слова не говорил. Он только сухо кивал: здравствуйте, мол.

Константин Артемьевич был добрее. Он пытался завести разговор. Он спрашивал:

— Митя, а вы читали во вчерашней «Литературке» любопытный фельетон?..

— Простите, не удосужился, — отвечал Митя, не дослушав и едва приметно сдвигая брови. — Прочту, непременно прочту.

Отец отвечал грустным взглядом. Когда Мити не было дома, он заходил в Сашину комнату, или забирал детей к себе. Он читал им, гулял с ними по Серебряному переулку, подолгу сидел на скамье под обуглившимся каштаном.

Иногда, словно отвечая каким-то своим мыслям, он безнадежно махал рукой. Отец был вспыльчив, но отходчив. А вот Митя был злопамятен и не умел забывать. Ничего. Он стал приходить очень поздно — не раньше двенадцати. Приходил усталый, голодный. Торопливо ел и ложился спать... Он так мало видит нас — и не скучает? — думала Саша. — Как же так?

Прежде их общим днем было воскресенье. Сейчас и в выходной день его не было дома. Шли дни, он возвращался все позднее.

Что же мне делать? И впрямь ехать на Камчатку? Если я не могу их помирить, если он не понимает, что все это мне хуже смерти. Ведь отец старый. Неужели нельзя ему простить? Не заметить. Ну, хорошо. А если бы тебе сказали: ты мачеха... О, я бы! Вот то-то. Но как же быть? В Ташкенте я думала: приедем в Москву, вернемся домой, и станет ему здесь тепло и счастливо. И было. А вот сейчас опять нет. Что же будет?

Как-то вечером, когда Саша разогревала на кухне ужин, соседка-стенографистка, колдуя над кофейником, сказала задумчиво, будто про-должая какой-то внутренний монолог:

— Брак — это отживший институт. Счастливых браков нет. Конечно, куда корректнее молчать, чем драться и вопить на людях (тут она посмотрела на Лелю, которая жарила яичницу), — но по сути... по сути... Помните, как там у Вертинского: «даже самой нежной любви наступает конец»... Да, по сути...

Не договорив и сняв с огня кофейник, она ушла к себе.

— Погуливать стал? — соболезнующе сказала Леля. — Ну что ж, все они такие. А ты не теряйся, бери пример с меня. Я не теряюсь! Мужикую потакать — хуже нет.

Саша покрепче сжала зубы и ничего не ответила.

Проще всего было бы поговорить с Митей. Но что-то ей мешало. А он

по-прежнему приходил поздно, утром же исчезал чуть свет, коротко бросив: рано не жди.

И Саша, считавшая, что ничего не надо прятать за пазухой, все молчала и молчала.

Но вот однажды (это было примерно через месяц после ссоры Мити и Константина Артемьевича), он пришел чуть раньше. Дети уже спали. Он сел на диван, вытянул ноги и сказал:

— Поди сюда.

Он притянул ее к себе, посадил рядом и, взглянув прямо и ласково, сказал:

— Ты мне веришь?

— Верю.

— Умница. Очень веришь?

— Очень.

— Так вот, ни о чем меня не спрашивай. Немного потерпи. У меня есть для тебя подарок.

— Часы?

— Лучше. Прекрасный, огромный, ослепительный подарок. Но подожди немного. Однажды я приду и назначу тебе свидание. На углу Серебряного переулка и Арбата. И тогда я тебе все расскажу. Согласна?

— А не можешь ты хоть намекнуть... ну, хоть словечко...

— Не могу,— ответил он твердо.— Я и так уж сказал слишком много.

* * *

Та ссора с Константином Артемьевичем была у Мити не первой. Просто не все доходило до Саши. Да и разве дело в ссорах? Нет, тут было другое, тут было много всего.

Он не мог забыть, как, придя однажды поздно из редакции, услышал, что соседка Ольга Сергеевна говорит Нине Викторовне:

— Да... Все меняется. Андрей Николаевич никогда не позволял себе приходиться так поздно.

Он не сразу понял, кто это Андрей Николаевич. Но Ольга Сергеевна добавила со вздохом: — Душа в душу жили...

И он понял, что речь идет об Андрее Москвине.

Светлый прямоугольник на стенке, след от фотографии Андрея, до сих пор лежал отпечатком на старых обоях. В Ташкенте портрет лежал на дне Сашиного чемодана, теперь — в левом ящике письменного стола. В Сашином ящике...

...А Константин Артемьевич? А Нина Викторовна? А тетя Вера и тетя Маргарита? Они входили в их с Сашей комнату без стука. Они говорили: — Почему вы так много тратите? Надо жить скромнее.

Константин Артемьевич считал, что Митя плохо продвигается по службе и что с его способностями он должен бы работать не фоторепортером, а заведовать отделом. Как юрист, он напоминал Мите о его правах («Вы же фронтовик, не забывайте») и обижался, когда Митя в ответ молчал.

И все вместе они оберегали от него Аню, точно Красную шапочку от Серого волка.

Митина любовь к Ане досталась ему нелегко. То поверхностное чувство, которое он испытывал к Ане до войны, ничего общего не имело с теперешним. Тогда она была только частью Саши. Когда же это случилось, что он ее полюбил? В темные ташкентские вечера у ее постели, когда она лежала тихая и безучастная и, казалось, куда-то уходила, уходила от них?

Или ночью, по пути из Ташкента в Москву? На одной полке спали Саша с Катей, на другой, верхней, Митя с Аней. Вдруг Аня всхлинула

во сне и забормотала: «Боюсь! Боюсь! Уходи!» Он разбудил ее, а она крепко схватила его за руку, прижалась мокрой щекой к его ладони и сказала:

— С тобой не страшно.

А может, вот когда: он пришел за ней в школу, и учительница, не стесняясь Ани, которая стояла тут же, сказала своим мерным, отчетливым голосом:— У вас странная девочка, папаша. Сегодня мы рисовали на тему «Лес зимой», а она сказала: «Вот бы мне лист черной бумаги!» Подумайте, папаша, какая странная фантазия!

— Зачем тебе понадобилась черная бумага? — спросил Митя на пути домой.

— У меня есть белый карандаш, — робко сказала Аня, глядя на него своими шоколадными глазами.

— Аня, да ты умница! Это же прекрасно! Была бы зимняя ночь, да?

— Да! — откликнулась она радостно и доверчиво.— Лес ночью, снег белый, а бумага черная, сразу видно, что ночь и темно.

И он расшибся в лепешку, раздобыл грифельную доску, потом он вымочил кусок мела в желтой краске, кусок в голубой. И на черной доске они нарисовали белым мелом снег, желтым — луну, голубым — ели. Это была красивая картина! Аня не могла налюбоваться ею и всем рассказывала: поглядите, как мы с Митей придумали.

Нет, это случилось раньше. Это случилось, когда Саша ударила Аню и девочка убежала из дому. И он помнит, как оборвалось у него сердце при словах Анисьи Матвеевны: — Беги, ищи, Анюта куда-то подевалась.

И он бегал по городу, как оглашенный, пока не догадался, наконец, заглянуть к близнецам Юре и Сереже. Аня была у них. Она сидела, забившись в угол, и, увидев его, заплакала: — Я не пойду с тобой! Я всех вас не люблю!

Она билась у него в руках и повторяла, обливаясь слезами:

— Не пойду! Вы никто меня не любите! И мама не любит, и ты не любишь! Вы все одну только Катку любите!

Потом, притомившись, она покорно пошла к нему и по дороге домой только всхлипывала. Он нес ее на руках и мысленно говорил себе: подлец ты, вот ты кто! Подлец и мерзавец.

А недавно врач сказал, что у Ани аппендицит. У нее был приступ, и Константин Артемьевич, не найдя Сашу (она теперь была патронажной сестрой в детской консультации, ходила из дома в дом, и найти ее было нелегко), позвонил Мите в редакцию. Митя тотчас примчался, и, увидев его, Аня воскликнула:

— Ну, вот и Митя! Теперь я не боюсь!

— С нашими детьми не соскучишься! — пробормотал Митя и отвез Аню в больницу.

— Ты будешь молодцом, правда? — спросил он на прощанье.

— Буду! — ответила она.— Даю честное слово!

На другой день после операции Митю с Сашей пустили к Ане в палату. Она лежала тихая, с большими прозрачными глазами, полными слез:

— Не обращайтесь внимания, — сказала она.— Это просто так.

Говорить ей было больно, она безмолвно лежала, держа Сашу и Митю за руки. А мальчик из соседней палаты сказал Поливанову:

— Она у вас молодец: даже не стонала, когда ее из операционной привезли. А когда шла на операцию, то говорила: «Нет, не буду плакать, нет, не буду плакать!»

И ему казалось, что это он научил ее не бояться.

«Она у вас молодец!» Она у меня молодец! А ему говорят: отчим! Был ли он отчимом или отцом, об этом знал только он, он один!

Если говорить честно, возвращения в Москву он боялся. Боялся минуты, когда впервые пройдет мимо Лихова переулка, услышит вопрос: «Ну, как с работой? Переквалифицировался?»

От всей Москвы не отгородишься. А сколько любопытных, жестоких и бездумных вокруг. В редакции были хорошие ребята и много фронтовиков, эти отлично все понимали и не лезли. Но таких, что лезли, тоже было немало.

— Значит, кинохронику побоку? Чего не бывает! А неплохой, неплохой был кинооператор, что правда, то правда! Те, камчатские, киноочерки хороши были, хороши, лаконичные, выразительные! Да и фронтовые были прекрасные, очень яркие были фронтовые киноочерки!

Поливанов улыбался, кивал: да, неплохи!

Но откуда взять силы, чтоб сопротивляться и этим, чужим, и там, дома,— тестю и теще? Оказывается, душевные силы ограничены, а он когда-то думал и говорил: безграничны!

Когда он, не скрывая тревоги, пришел в поликлинику, врач сказал ему: — придется подождать, надо набраться терпения. Пока о кинохронике забудьте.

Поливанов молча одевался. Потом, уже собравшись уходить, повернул к доктору лицо, которым уже не всегда умел владеть:

— Ждать, ждать... А сколько? Скажите прямо: с прежней профессией покончено.

— Нет, я этого утверждать не могу,— ответил врач,— но контузия очень тяжелая. Последствия ранений куда легче преодолеть.

Что бы он делал, если бы не дом, не Саша и дети?

Это они помогли ему отыскать пока еще очень узкую тропку к новой работе. Они и Леша. Да, после той поездки в Подгорск он все видел по-новому. Нет, не так: полюбив их, он иначе видел и понимал все в Подгорске. Это он знал твердо, в этом убеждался постоянно, на каждом шагу.

На днях, например, он, тоскуя, фотографировал в одной женской школе сборы на тему «Безударные гласные» и «О режиме дня».

Не веря ушам, он слышал, как дети говорили: «Я строго соблюдаю режим дня», «Я работаю упорно и терпеливо».

Прежний Поливанов сказал бы: — Ну-ка, ты, сероглазая, поверни голову немножко влево — вот так. А ты, с косичками, обопрись рукой на ее плечо. Улыбайся! Остальные смотрят сюда! Хорошо! Отлично!

Он очень мало думал над тем, что снимал. А сейчас он думал. И не верил, чтобы дети могли по доброй воле заниматься на досуге безударными гласными и толковать о режиме дня и трудолюбии. Ему захотелось написать об этом, он даже знал, как это сделает: пойдет в мужскую школу, снимет мальчишек на таком вот мертвом сборе, а потом этих же самых ребят сфотографирует на дворе, когда они заняты тем, что их увлекает: игрой, разговором, дракой наконец. Это будет наглядно: постные скучающие физиономии — и те же самые лица, освещенные спором, азартом, смехом.

Да, да, он начнет с этого, а потом приведет почти стенографическую запись: «Работаю всегда упорно и терпеливо...» А потом... Да что «потом», когда его то и дело посылали в какие-нибудь Фили снимать клубную работу, скучную, как осенний дождь.

Вскоре после командировки в Подгорск он ездил на село с заданием: написать очерк о передовом колхозе и о передовом председателе этого колхоза Василии Ятченко. Приехав, Поливанов узнал, что Ятченко лежит мертвецки пьяный: фельдшер, чуть не плача, рассказывал, как Ятченко требовал у него спирту. Когда фельдшер отказал, Ятченко выбил стекло в медпункте и сам взял весь наличный запас спирта.

Вместо положительного очерка о знатном председателе Поливанов написал фельетон. Редактор прочел и сказал:

— М-м... Между прочим, Поливанов, нашу газету читают не только в Советском Союзе.

— И что же?

— Если по этой статье будут... м-м-м... судить о жизни в колхозах...

— Значит, теперь вообще надо писать только о хорошем, а о плохом — нельзя?

— Не передергивайте, Поливанов. Позвольте вам сказать, м-м-м... что вы за деревьями не видите леса. Да, м-м... Вы берете один случай и обобщаете его. Подумать, какой острый глаз у Поливанова. Увидел, что председатель напился. А увидеть, что этот колхоз тем не менее лучший в районе...

С тех пор редактор всячески дает ему понять, что он — фотограф — и только, и незачем ему лезть в калашный ряд со своим суконным рылом. А он будет. Он хочет еще и еще попробовать себя на этой новой работе, черт бы ее побрал. Он не может забыть, как колотилось у него сердце, когда была напечатана маленькая заметка «По следам наших выступлений»... Он вдруг понял, что сделал дело. Выручил. Помог.

Он понимал и то, что любой темой можно заняться с мыслью, с раздумьем, но никто этого от него не ждал. От него ждали фотографий и подписей: на снимке слева направо... фото Д. Поливанова.

Он жил с досадой в душе, не зная, что делать, и не желая мириться. Как бы ни были велики заботы каждого дня, в человеческой жизни должны быть свет и ясность. А на его улице было темно и тускло.

Теперь, возвращаясь домой, Поливанов думал о Константине Артемьевиче, о голосах за стеной. Отгородиться от этого нельзя, а изменить что бы то ни было — непосильно.

Угнетенный этими размышлениями, он, как и прежде, ходил на работу, ездил в разные концы города, а иной раз и в другие города, но тень заботы и досады легла отпечатком на лицо, глядела из глаз.

— Что вы такой угрюмый стали, или старость — не радость? — спросил его однажды Петр Петрович, редакционный шофер.

Петру Петровичу было лет пятьдесят. Они с Поливановым часто ездили вместе в недалекие командировки — Владимир, Суздаль. Однажды были в Иванове — ездили в дом, где живут разные ребяташки: испанцы, итальянцы, турки и еще много всяких. Дмитрий Александрович готовил фотоочерк ко Дню защиты детей. Петр Петрович уважал Поливанова. Во-первых, Поливанов здорово водил машину. Не хуже его, Петровича. Во-вторых, Поливанов никогда не задирает нос: я, мол, культурный, а ты, мол, нет. Петрович это дело понимал тонко и знал: Поливанов не старался, не следил за собой, а и на самом деле был с Петровичем на одной ноге. Вот Голубинский, к примеру: — Здорово, Петрович! Как жизнь молодая? Как жена, как детишки?

— Спасибо, спасибо, хорошо, — отвечает Петрович, а сам думает: — ну что бы тебе запомнить, что нет у меня детишек. Нет и нет. Ну, что ты кривляешься, артист чертов.

А Поливанов свой брат. Когда на них наскочил грузовик и они чуть не отдали богу душу там, под Суздалем, Поливанов не сплеховал, не струсил, на своем горбу оттащил Петровича в больницу и сам отремонтировал машину, своими руками. Да. Сам и привез его в Москву. И в редакции хоть бы словом кому похвастался. Ни! Могила! Фронтвик, ничего не скажешь, не чета Голубинскому. И вот сейчас, когда Петр Петрович спросил: «Что вы нынче такой угрюмый?» — Поливанов выложил ему все.

Начав, он стал было в тупик. Даже из его рассказов выходило, что тесть — человек хороший, заботливый и хочет добра дочери и внучкам.

Теща — хорошая. Жена и дети — очень хорошие. В чем же дело? Чего ему не хватало?

Но Петр Петрович все понимал. Он вел машину в Люберцы, вел спокойно, задумчиво и внимательно слушал Поливанова и вдруг сказал: — Вот что, брат, отделяться надо. Отделяться!

И на следующий день Поливанов вместе с Петром Петровичем, который, неведомо как, за одни сутки стал ему ближайшим другом и товарищем, пришли на старую Митину квартиру. Они пришли поглядеть, прикинуть. Внизу их ждала машина.

От поворота ключа скрипнул ржавый замок, и двери давно необитаемого жилья распахнулись.

Стекла были выбиты, по комнате гулял ветер. И дверь, ведущую во вторую комнату, спалили, и первую оконную раму. Даже плитусы и подоконники — и те спалили временные жильцы в трудные военные годы. Ни стола, ни стульев, ни кровати. На полу — кирпич, вывалившийся из боков корявой печки-временки, пол в зазубринах от топора: дрова, видно, кололи тут же. Затхлой сыростью тянуло от стен, ключьями повисли обои, штукатурка отвалилась, по углам сочилась вода. О том, чтобы жить здесь, да еще с детьми, и думать было нечего.

— М-да... — потирая небритую щеку, промышчал Петр Петрович, — постарались... Ничего не скажешь — постарались...

Он деловито обошел обе комнаты, пощупал рукой стены, понюхал зачем-то ладонь, подошел к окнам, потряс оконные рамы и долго ходил взад-вперед, что-то прикидывая, насвистывая, обдумывая.

— Как это у тебя не отнята квартира-то? — спросил он вдруг.

— Я за нее платил. Мы с нянькой тут прописаны.

— Платишь здесь, а живешь там... Чудно! Ишь, что тут развели! Погибель!

Почему я давно не занялся всем этим? — думал Митя. — Ведь руки мои — не крюки, я и стекло вставить могу и стены покрасить. Но где их взять, эти стекла? Да, где взять стекло, дерево, краски, все, что надо для ремонта? А разве ты пытался раздобыть? Раньше «посредством улыбки» ты все мог раздобыть, что же сейчас? Правда, что же сейчас?

Петр Петрович был человек действия — и притом немедленного. На другой день рано утром, когда Поливанов, придя на работу, подписывал очередную фотографию, он заглянул в дверь:

— Ты один, Дмитрий Александрович?

— Один, один, заходи.

Петр Петрович вошел, сел подле, вытянул вперед ноги в тяжелых военных сапогах.

— Вот что я полагаю, брат, — начал он, будто продолжая их давнишний разговор. — Первое, это — стекла. Бери-ка у редактора ходатайство, а мы эти стекла из глоток вытащим, уж будь уверен. Второе — вот что: тесу хорошего, чтоб посуше. Это я расстараясь. Есть у меня дружок, на грузовике работает. Не спрашивай, сделаем.

Третье дело — просушить стены. Помещение не сырое, только что отсырело. Это надо топить и топить. Временючку опять в строй введем, тут без печника не обойдешься, печь — это наипервейшее дело. Ну и дров надо запасти. Получишь ордер. Но ордер — ордерами, а дело — делом. Обмозгуем. Осина тут не пойдет. Это я тоже, пожалуй, на себя беру.

И помолчав, прибавил нараспев, мечтательно:

— Есть монета разменная, правильная и всегда ход имеет. Не монета — валюта. Водка — вот она валюта. Понятно? Достань пару талонов, да какое — пару, — побольше. Пойди к Громову, объясни насчет ремонта, про детей, про жену, про контузию не забудь. Одним словом — жми, Сам не подождешь — тебя зажмут.

Поливанов достал много водочных талонов, ему их отдали и Савицкий и Голубинский. Ремонт, предстоящий Поливанову, был делом нештучным, и это понимал каждый.

Талоны Митя вручил Петру Петровичу. Петрович отправился получать водку и пропал, сгинул, испарился.

— Запил! — сказал Поливанову завхоз. — Эх вы, яичница всмятку, интеллигент, черт бы вас подрал!

Все дружно проклинали Поливанова и беспокоились за Петра Петровича: редактор шутить не любил и за прогул мог уволить в два счета. Домой к шоферу никто не хотел идти. Во-первых, было ясно, что он запил не дома. Во-вторых, все боялись его жены, которая тоже шутить не любила и, когда Петр Петрович запивал, считала виновными всех, кроме него.

У Поливанова в типографии был дружок — восемнадцатилетний парнишка-наборщик Володя. Он любил Митю не только за то, что Митя помогал ему решать задачи по алгебре, которые задавали в вечерней школе. Он его просто любил. Его восхищало в Поливанове все — манера говорить, острить, а главное, поливановские рассказы. Иногда после рабочего дня Володя поднимался в редакцию и присаживался к Митиному столу. Он по-детски ловил на лету каждое его слово, каждую шутку.

И когда с Поливановым случилось несчастье и неизвестно куда ухнули его водочные талоны, Володя, не долго думая, отправился к Петру Петровичу и тут же попал в лапы его жены. Она даже не дала ему переступить порог, она вытолкала его с криком:

— Спойли, черти! Будто не знаете, что ему и запах-то водочный хуже смерти! Товарищи называются!

Оставалось одно: забыть о Петре Петровиче и приниматься за дело самим. Без водочных талонов — как без рук, но стекло на два окна схлопотали (в долг!) в самой редакции. Оно серое, мутное, но Поливанов с Володей вставляли его так, будто оно по меньшей мере венецианское. Володя достал хорошую замазку, они с Митей стояли на стремянках (подоконников-то не было) и вмазывали окна.

И вдруг в дверях раздался голос Петра Петровича. Он кричал, как ни в чем не бывало, будто не он пропил драгоценные талоны, будто не он исчезал на четыре дня, будто не он подвел товарища. Он кричал:

— Недотепы, будьте вы прокляты! Сначала надо протопить, а потом уж стекла вставлять!

— Протопить?! Улицу, что ли, топить?

— Ты не спорь, ты, знай, меня слушай! Жар — он станет сушить. А не то все потрескается потом. Завтра к вечеру придет печник, понятно?

И прибавил тихо:

— Ну ладно, виноват. Я люблю ее — беленькую, чистенькую, раз да горазд, а не каждый день по наперстку! Но больше такого не будет, ты мне поверь!

И больше такого не было. После трудового дня в редакции они работали за шестерых. Прорабом был Петр Петрович.

Не на завтра, как обещал Петрович, а дней через пять появились два печника. Один из них прибыл со станции Зеленоградская. Он был тонкий мастер своего дела и разворотил печи со стороны коридора и забросал кирпичами путь к парадной двери. Потом заикнулся насчет водки, но Петр Петрович строго сказал:

— Да ты в уме ли? Откуда мы напасемся для тебя водки?

И мастер принялся за дело. Коммунальная квартира бунтовала. Женщины требовали немедленно очистить коридор. Антонина Алексеевна, знавшая Митю с юных лет, подошла к нему и сказала:

— Митя, я рада вашему возвращению. Но вы поймите, как же Се-

мен Осипович будет здесь проходить? Долго ли до беды, он ведь как-никак слепой.

А на другой день на пороге комнаты, стуча высокими каблучками, появилась новая, еще не известная Мите соседка. Потянуло тонкими духами. Этот запах заставил Поливанова поглядеть на свои руки в замазке, на спецозону, забрызганную известкой. Потом он поднял глаза. На пороге стояло волшебное видение. Стройна, светловолоса. Стройные длинные ноги, узкие в шиколотках, меховая шубка, поблескивающая серебром.

— Вот это да! — шепнул Володя.

Все трое бросили работу и ждали. Она говорила что-то, и комната переполнилась раздраженной капризной речью — и все тянуло неожиданным, непривычным запахом духов.

— ...Эгоизм... — говорила она. — Вы тут не один. Тут люди живут. Мы не в окопах, не в землянке.

— Оно и видно! — сказал Володя.

— Вы обязаны, — продолжала женщина, — в кратчайший срок договориться с уборщицей... Не квартира, а хлев... Я устала каждый день натирать полы...

Поливанов смотрел на нее пристально и молчал.

— Это ты верно говоришь, детка, — не повышая голоса, ответил Петр Петрович. — Оно очень даже невредно подмыть полы, да ведь это дело не мужское. Помоги, видишь, люди работают, спасибо скажем! Скинь-ка шубку, разуйся, милочка, да и вымой, дело бабье. А мы Володьку сгоняем, он воды нагреет, долго ли на газу-то?

— Что? — произнесла она, задохнувшись, и, переводя глаза на Поливанова, сказала: — Вы — человек интеллигентный, почему вы молчите?

И тут, вместо того чтобы учтиво ответить, Поливанов засмеялся. Он смеялся, глядя ей в лицо, понимая, что это и грубо и несправедливо.

— Черт знает что! — сказала она, резко повернулась и ушла.

— Не сердитесь! Мы вымоем! — донесся до нее голос Поливанова.

Что же с ним?

Сознайся, — сказал он себе, — еще совсем недавно при виде такой женщины ты немедля распустил бы хвост и уж наверняка вечером сидел с ней в ресторане, а потом провожал бы ее домой. А теперь, теперь захлопнулась какая-то створка его души — и все, что прежде кружило ему голову, не то, чтобы поблекло, а просто перестало существовать. Что-то было в этой женщине, вызывавшее не то улыбку, не то желание пошутить. Ее не хотелось защищать, она сама себя защитит и сама кого захочет обидит. Ее не хотелось спросить: «О чем ты думаешь?» Она не думала ни о чем, что было ему дорого. К ней не хотелось приглядываться, не хотелось понять «кто ты?», — узнав одну такую, знаешь всех. Да...

— Вот это женщина! — сказал Володя, когда затихли в коридоре ее шаги.

А Поливанов и Петр Петрович вздохнули — каждый по-своему. Петр Петрович крикнул с досадой, а Поливанов повел плечами, и все трое продолжали работать.

Вечером дворничиха вымыла в коридоре полы, жильцы стали чертыхаться потише.

...Удивительны были эти минуты, когда после долгого трудового дня Митя, Володя и Петр Петрович подводили итоги: радовались, что исчезла желтизна в углу, или прикладывали руки к жарко нагретому кафелю — печник поработал на славу. А вот и дверь навесили, а вот уже и плитуса готовы.

В комнате пахло свежей стружкой и, вперемешку с краской, — смолой от новых плитусов.

Они ужинали квашеной капустой с хлебом. Чай заваривали в чьей-нибудь соседской кастрюльке и пили его без сахара.

Работа кипела, и эти комнаты, которые, казалось, вовек не привести в порядок, постепенно преображались — и дело дошло до оклейки стен. Но обоев не было, и стены решили красить.

Каждый день в редакции задавали Поливанову один и тот же вопрос:

— Ну, как у вас там? Подвигается? Не надо ли помочь?

И однажды Митя ответил:

— Олифы нет.

Подготовка стен под масляную краску — работа кропотливая и сложная. Поливанову вызвали помочь еще двое.

Один — Коля — был свой парень, из отдела иллюстраций, как и Митя, — фотограф: коренастый, круглолицый, веселый. В прошлом электротехник, он тотчас же пообещал сделать своими руками всю проводку.

Другой — его звали Борис — был из иностранного отдела, шеголеватый, подтянутый. Он свободно говорил на трех европейских языках и обладал умом злым и язвительным. Когда он выступал на летучках, все в страхе ждали, каким злым и остроумным словом он припечатает их сегодня, как отзовется о передовой, фельетоне, очерке. Он не давал спуска никому и гордился этим. Но сегодня он был косноязычен.

— Нас как бы мобилизовали, — говорил он, — ну, субботник и субботник. И вообще, методы народной стройки в наше время поощряются. Отправить их назад было невозможно — да и к чему? Они принесли с собой олифу и масляную краску. Краска для одной комнаты была веселая, голубая, а для другой — та, что осталась от редакционных коридоров: немислимая, черно-зеленая.

— Ничего, — сказал неунывающий Петр Петрович, — подбавим белил. Жаль, нет трафарета, мы по этому фону еще цветочки пустили бы.

— Обойдемся без трафарета, — с некоторым испугом сказал Поливанов.

Стены в комнатах отделявали шесть дней. И устали порядком. Когда ремонт был закончен, Петр Петрович сказал:

— Раз, да горазд! — и поставил бутылку на расстеленную по полу газету.

Они сели вокруг, как турки, поджав под себя ноги, очень усталые, но бодрые и веселые. Они пили и пели:

— Те-о-омная ночь! — выводил Петр Петрович, а Володя, не желая слушать, тянул свое:

На окошке, на девичьем,
Все горел огоне-о-ок!

Журналисты — все трое — склонялись к песне Петра Петровича и подхватывали каждый на свой лад:

...у детской кроватки не спишь!

— Эх, — сказал Поливанов, — вот бы мою Сашу сюда — она на гитаре так славно играет.

— Да-а, под гитару оно задушевней, — сказал Петр Петрович.

— А сколько... сколько, например, лет вашей старшей дочери, Дмитрий Александрович? — осторожно спросил Володя.

— Восемь — девятый. Во второй класс осенью проводили! — откусывая соленый огурец, сказал Поливанов.

— Ах, вот оно почему Володька старался, рук не покладал! — воскликнул Петр Петрович. — Породиться охота? Что ж, я не против. Он

хоть и интеллигентный, а дело знает не хуже нашего. Не только башка, но и руки при нем. А ты, Дмитрий Александрович, не брезгуй: парень такой, будьте уверены, в люди выйдет — некурящий и непьющий.

— Я что! Я с удовольствием! — усмехнувшись, сказал Поливанов. — Согласен ждать?

— Нет, десять — больно много ждать! Пять — это бы я, может, еще и согласился. А десять — не пойдет!

— Те-о-омная ночь! — снова завел сотрудник иностранного отдела — полиглот и остроумец, но Петр Петрович сказал:

— Стоп! Прекратить! Квартира коммунальная, а Поливанову здесь жить, поживать, добра наживать. И так жильцы косятся, а теперь второй час ночи. По всему по этому песню — отставить. Давай, кто знает, анекдот! Люблю анекдоты — смерть!

...В эту ночь Поливанов пришел домой поздно и крепко навеселе.

— Ах, Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович! — сокрушенно сказала Ольга Сергеевна. — Этого я от вас ну никак не ожидала. Андрей Николаевич никогда этого себе не позволял.

— Уж и выпить человеку нельзя! — ворчливо отозвалась с сундука Анисья Матвеевна. — Нечего человеку глаза колоты! Захотел и выпил, не на ваши деньги пьет!

— Молчи, нянька! — сказал, чуть покачиваясь, Митя и прошея в свою комнату.

Ни о чем не расспрашивая, Саша помогла ему снять башмаки. Уже лежа в постели, он сказал мечтательно:

— Завтра я назначаю тебе свидание. Ровно в пять.

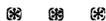
— Где? — спросила Саша.

— Как обещано: угол Арбата и Серебряного переулка.

Засыпая, он успел пьяно похвастаться:

— Ты еще меня не знаешь... Ты еще обо мне услышишь... Я, может, тебе серебряную шубку подарю...

— Спасибо, дорогой. Спи, — печально ответила Саша.



Ее муж пришел на свидание небритый, усталый, но очень счастливый. Старое кожаное пальто покрывала белая пыль. При свете яркого зимнего дня было видно, что вокруг глаз легли морщины, лицо — измученное.

— Куда же мы теперь? — спросила Саша. — На Камчатку?

— Угадала, умница! Пойдем!

...Он распахнул дверь, и перед Сашей предстало чудо: она стояла на пороге прежнего Митино дома. Робко, не смея поверить, она перешагнула порог светлой комнаты с побеленным потолком. В окнах чуть поблескивали еще не мытые стекла. Плинтусы были самодельные и, может, жалкие, но это были плинтусы! А подоконник! Широкий, просторный — сколько цветочных горшков здесь уместится! Пол был устлан газетами, пахло свежей краской и клеем. Посреди комнаты стояла табуретка, на ней сидел паренек и улыбался.

— Познакомься, Саша: Володя, мой товарищ из типографии.

— И все-то он волновался! — вместо «здравствуйте» сказал паренек. — И все-то он хлопотал, чтоб вам понравилось. А мы втроем, я, ну я, конечно, не в счет, наш водитель и Дмитрий Александрович, и еще двое из редакции, мы тут шуровали, шуровали, и вот, пожалуйста, не хуже, чем у людей. А? Что вы скажете?

Петр Петрович стоял у стены спиной к окну и глядел на Сашу, прищурясь, и не позволял себе улыбнуться. Но по всему видно было, что он наслаждался: наслаждались прищуренные глаза, нос, которым он шумно

дышал, пальцы, которыми он барабанил по высохшей стенке мутно-зеленоватого цвета. Он скромно, молча торжествовал, ожидая, что же скажет эта самая Саша, для которой они полтора месяца — не давая себе ни отдыха, ни срока — штукатурили, строгали, красили, превращая безнадежно разрушенные, холодные комнаты в теплое человеческое жилье.

Саша не умела сказать «спасибо», ни повернуться к Мите, ни взглянуть на Петра Петровича. Обняв Володю, она поцеловала его в запачканную краской щеку.

* * *

И они поселились в прежнем Митином доме, неподалеку от Тимирязевской академии.

Жильцы не знали Сашу маленькой. Они говорили ей «вы» и «Александра Константиновна», и ей все время хотелось объяснить, что она — Саша, а не Александра Константиновна, но Митя сказал:

— Так держать! В твои годы, матушка, уже надо величаться по имени-отчеству.

В ее годы? Какие же такие ее годы? Немалые: двадцать шесть.

— А может, можно еще не величаться? — спрашивала Саша.

— Нельзя! — коротко отвечал Митя.

Кроме них в квартире жили еще четыре семьи: полковник с женой и девятилетним сыном, слепой юрист со своей женой Антониной Алексеевной, которая когда-то сказала Саше, что она похожа на Дину Дурбин.

В комнатке при кухне жила повариха, работавшая на фабрике-кухне, с племянницей Милой. И, наконец, слева от входной двери в большой просторной комнате с фонарем жил Василий Васильевич, по профессии театральный критик.

Он очень любил поговорить о воспитании детей.

— Когда моему сыну от первой жены было шесть лет, — говорил он Саше, — я практиковал регулярно следующие меры воздействия: малая ушадка, большая ушадка, порка обыкновенная, порка большая и порка по высшей категории — ремнем. Все это я практиковал регулярно по четным и нечетным числам. Иначе погибли бы мой сын, моя жена, я сам и все соседи. А дом наш рухнул бы. Моя первая жена разделяла мои убеждения, она была умная женщина.

Саше очень хотелось спросить, как обстояло дело со второй женой, но она не решалась.

А Митя говорил:

— Чрезвычайно стройная система воспитания малолетних. И, надо сказать, что вы излагаете ее с чисто профессиональной жестокостью.

Ане и Кате на новой квартире было вольготно. Здесь был большой, широкий коридор и ни одной девочки, только мальчик Алик, сын полковника и Нины Георгиевны — красивой женщины в серебряной шубке.

— У вас хорошие девочки, довольно воспитанные, — говорила она.

Довольно воспитанные девочки могли ворваться в любую комнату, и почти всюду им были рады. Больше всего они любили ходить к Антонине Алексеевне. У нее был слепой муж. Он почти всегда сидел в кресле и читал книгу, странно ощупывая ее чуткими пальцами.

Приближение Ани и Кати он слышал раньше других. Еще не успевали девочки распахнуть дверь, как навстречу им поворачивалось лицо слепого, и он протягивал к ним свои большие руки. Катя, не долго думая, взбиралась к нему на колени и тотчас брала лист чистой бумаги и остро отточенные разноцветные карандаши, в образцовом порядке стоявшие в высоком узорном стакане.

Аня, усевшись на стол и сбросив туфли, ставила ноги в чулках на его свободное колено, как на скамеечку, и принималась рассказывать.

Ей было о чем порассказать!

С Аниной школой все решилось просто: ее перевели в новый микрорайон. Прощайте, Зинаида Петровна!

Новую учительницу звали Мария Ильинична. Саше было тревожно — вдруг еще одна Зинаида Петровна? Но, кажется, нет. Прежде все Анютины рассказы про школу сводились к одному: — Зинаида Петровна не велела! Зинаида Петровна сердилась!

А теперь не так. Теперь рассказы другие.

— Наша учительница зовет девочек по имени, — говорит Аня Семену Осиповичу. — Я в той школе привыкла: Москвина да Москвина. И вдруг: «Аня!» Как дома! Больше всего Мария Ильинична не любит, когда врут. Если кто из девочек провинился да сознается, она, хоть и выговаривает, да смотрит по-доброму. А если врут — она сердится. Брови нахмурит — вот так, и губы сожмет. Она говорит: если человек сознался — полвины долой. А еще Марья Ильинична не любит, когда ябедничают. Сегодня одна девочка, Любой зовут, встает и говорит: — Аня Москвина не решила задачку! А Марья Ильинична ей отвечает: — Аня мне сама об этом скажет!

Семена Осиповича все интересует в Аниных делах — и то, какая в школе учительница, и какая девочка сидит на одной парте с Аней, и что кто сказал, и кто подрался на перемене. Он любит, когда Аня делает уроки у него в комнате. Она делает уроки и болтает:

— Дядя Сеня, ну зачем ему ехать из пункта А в пункт Б? Если бы он ехал из Воронежа в Москву или из Москвы в Киев, было бы понятно, что он в командировке, как Митя. А когда пункт А и пункт Б — ничего непонятно и ничего про этого человека нельзя придумать. А сегодня нам Мария Ильинична читала книгу «Храбрый пастух и великий ученый». Это про Пастера. Пастер — это такой ученый врач. Он изобрел, как лечить людей от сумасшествия, и мы все должны его за это сильно уважать.

Ну что ж, он в детстве тоже не понимал, зачем человеку ехать из пункта А в пункт Б. Насчет Пастера он с Аней согласен: это великий ученый, и все мы должны глубоко уважать его. А знает ли Аня про ученого, который спас людей от черной оспы? Вот он сейчас ей об этом расскажет. Он много знал и умел рассказывать. Сказки он тоже умел и рассказывал по вечерам, когда Аня приходила к нему, приготовив уроки. Но иногда Катя просила:

— Дядя Сеня, расскажи нам какую-нибудь правду!

Это значило: не сказку, а быль.

— Дядя, ты забыл зажечь свет! — говорила Катя, отворив дверь.

— Верно! — соглашался он и, уверенно пройдя по комнате, поворачивал выключатель.

Катя требовала, чтоб он искал ее. И куда бы она ни залезала — в шкаф или под кровать, — он находил ее безошибочно и быстро. Слепой, а так здорово играл в прятки!

Иногда казалось, что в тишине своей комнаты он только их и ждет.

— Дети, я ухожу, — говорила иной раз Антонина Алексеевна, — приглядите за дядей Сеней. Ему, может, что-нибудь нужно будет.

И это значило: не давайте дяде Сене скучать.

И они не давали ему скучать. Особенно Катя. В школу она еще не ходила, и времени у нее было много. Утром она просыпалась с тем, что надо оглядеть свое государство, проверить, все ли на месте и нет ли чего нового.

Она любила открывать входную дверь. Она становилась на цыпочки и терпеливо ждала. Едва раздавался звонок, она открывала, здоровалась с пришедшим и снова становилась на часы.

— Отойди от дверей, горе мое! — грозно кричала Анисья Матвеевна. — Вот дам сейчас по затылку, узнаешь!

Мальчик Алик, который был очень худ и плохо ел, безоговорочно подчинился Кате — изнемогая, возил ее на спине, как заправский конь, а садясь завтракать, говорил:

— Мама, если Катя не придет, я какао пить не буду.

— Катенька, ты свободна? — медовым голосом спрашивала мама, и Катя, у которой и впрямь было много досуга, шла в комнату к полковнику, пила какао, а потом забиралась с ногами на красный плюшевый диван и рассказывала, тарача большие черные глаза, разные разности.

— А про вас во дворе говорят, — сказала она Аликовой маме, — за мужем живет и горя не знает.

— Вот как? Что же еще там говорят?

— А еще говорят: упырь. А один дядя сказал: красивая у Алика мама! Это про вас, тетя Нина!

— Прелестная девочка! — говорила Нина Георгиевна про Катю. — Очаровательная.

— Катерина! — кричала за дверью Анисья Матвеевна. — И что это за привычка такая по чужим хатам шастать?

...Возвращаясь домой и входя в коридор, Митя прислушивался к детским шагам. Вот они топают! Из глубины коридора навстречу ему летел крик: — Папа пришел! Митя пришел!

Хорошо, когда ты кого-то радуешь своим приходом!

Анисья Матвеевна быстро собирала на стол: пришел хозяин. Тут он был главою семьи — какое глупое честолюбие! И тут были две комнаты — целых две комнаты. В одной — Анисья Матвеевна и дети, в другой — они с Сашей.

По вечерам, когда дети и Анисья Матвеевна засыпали, начинались их с Сашей часы, их вечер. Они читали, молчали, разговаривали. И теперь он полюбил работать дома. Сидя у письменного стола, он чувствовал на себе ее взгляд, слышал ее присутствие. Иногда она пристраивалась неподалеку с книгой или детским дневником. Прежде он не любил эту тетрадку в твердом синем переплете. Она была чужой, оставленной в наследство кем-то, кого Саша любила прежде. Поливанов заглянул однажды в эту тетрадь там, в Ташкенте, и наткнулся на слова «нет, людей не сравнивают...» Значит, она сравнивала... Сравнивала постоянно. Эта мысль была ему нестерпима. Но сейчас она все реже приходила ему в голову. Он любил после командировки полистать дневник и прочитать о том, что было в его отсутствие, что говорили Катя, Аня, и о чем без него думала Саша. О себе она писала редко, да и о детях — строчку-другую, — словцо, восклицание, — а он почему-то сквозь это видел их — всех вместе и каждую в отдельности.

Он рассказывал ей обо всем, что случалось за день, каждую мелочь пережитого дня. И словно бы то, что было пережито прежде, было лишь преддверием этих долгих, счастливых часов.

И было, оказывается, на свете воскресенье, день, когда не работала Саша, когда не ходила в школу Аня и не спешил в редакцию Поливанов.

Можно было поспать подольше, можно было всем вместе завтракать, а потом всем вместе ходить на лыжах — даже Кате. Ее попробовали было оставлять дома, но не такой она была человек, чтобы стерпеть это, — и ей купили маленькие короткие лыжи.

В Серебряный бор они ездили на автобусе, каких-нибудь полчаса, и вот он — Серебряный бор, серебряный, белый, серебряные в снегу деревья. И пустое поле, иссеченное лыжами. Кругом — никого, только слышатся откуда-то далекие голоса. Тем лыжникам ходить легче: с ними нет Кати.

Поливанов не знал, что на свете бывает такое: снег, переполненные радостью Катины глаза и звонкий голос Ани. И рядом Саша. Из-под вязаной шапочки выбиваются каштановые волосы, блестят зубы. Неужели он когда-нибудь огорчал, обижал ее? Да и было ли это? Да не было этого никогда!

Вот она забежала вперед, оглянулась, махнула рукой: — Ми-итя! С горки! Ау-у!

И Аня мчалась с горы рядом с ней и вопила, что есть мочи:

— С дороги, куриные ноги!

А ему оставалось держать за хвост Катю, которая рвалась скатиться вслед за ними.

...Пришел новый сорок шестой год. Первый послевоенный год.

В редакции устраивали новогодний вечер. Но у них был дом. Этот вечер люди, у которых есть дом, проводят дома.

Ему было не лень, расколов орехи и вынув ядра, долго, терпеливо, четким почерком исписывать розовые и голубые бумажные квадратки. В каждом орехе было заключено новогоднее предсказание: «У тебя выпадет зуб» (для Ани). «Новых туфель не миновать» (для Саши), «Кто много болтает, у того типун бывает» (для Кати).

Наверно, это было глупо и нисколько не смешно для стороннего глаза и уха, но он знал, что на каждое слово здесь откликнутся смехом.

...Еще не пришел Новый год, а большая комната, где жили Анисья Матвеевна с детьми, была переполнена музыкой, которую передавали по радио, и запахом большой нарядной елки.

Новогодний стол был красиво накрыт. Анисья Матвеевна в белой кофте, гладко причесанная, окидывала его хозяйским взглядом. Ну что ж: Митя пристроен, женат, при детях.

В одиннадцатом часу в коридоре послышался шорох тугого, жесткого шелка. Катя бойко открыла дверь и завопила: — С Новым годом! С новым счастьем!

Осторожно неся белокурую голову в тугих завитках, выглядывавших из-под легкого тонкого платка, улыбалась, сияя зубами, Нина Георгиевна — воплощение женственности, красоты и нарядности. За ней выступал полковник — солидно и гордо.

— Анисья Матвеевна, милушка, загляните потом к Алику! — сказала Нина Георгиевна и ушла, а в коридоре остался след ее духов, будто след того, что он прежде считал радостью. И что-то в нем отозвалось на вопрос, на который он не умел ответить словами. Почему, понимая эту яркую привлекательность, он больше не слышит в себе отклика на нее. Оглянувшись, он увидел Сашу. Она была в летнем платье, на ногах бо-соножки: как она радовалась его подарку — светлым шелковым чулкам!

И обняв ее, он сказал ей, как поклялся: — Расшибусь в лепешку, а шубу тебе куплю. Серебряную! И платье... А вот мой главный подарок. Смотри!

Он вынул из кармана серую коробочку и открыл ее. Там были часы. Маленькие, круглые, на черной узкой ленточке. Он снял с Сашиной руки Лешины часики и надел свои.

Саша молча глядела на них. Что-то больно кольнуло ее. Она вспомнила Лешины глаза и его дрогнувшие от обиды губы.

— Тебе не нравится? — спросил Митя. — Почему ты молчишь?

Она подняла глаза:

— Теперь я все буду знать про тебя — если часы заспешат, значит, ты на меня сердисься. Если отстанут — значит, ты меня разлюбил.

— Они никогда не отстанут! — сказал Митя.

Лестницы, лестницы, лестницы — по скольким лестницам она поднималась!

Двери, двери — в какие только двери она не стучала!

Она приходила к только что появившимся на свет людям на другой день после их приезда домой. Она была их первой гостьей. Вместе с матерью она пестовала только что родившегося человека до тех пор, пока он из грудного младенца не превращался в ребенка, которому больше не нужна патронажная сестра.

— Мама, ты их не путаешь? — спрашивала Анята. — Они же все одинаковые!

Нет, она их не путала, они никогда не казались ей одинаковыми. У каждого было свое лицо и свой характер. Она знала о своем подопечном все: нрав — веселый или сердитый, — и здоров ли он: нет ли диатеза или рахита? Она знала и то, чего он пока знать не мог: какая у него семья — мама, папа, бабушка. Какова комната, в которой он живет, — сухая? светлая? сырая? темная?

Саша звонит, а если звонок не работает — стучит в дверь. Ей открывает обычно кто-нибудь из соседей — мать грудного младенца почти всегда занята: кормит, полощет пеленки. Или просто стоит над кроваткой и пристально смотрит на красное личико.

Саша быстро проходит по коридору, она знает, куда постучаться, куда войти, знает и то, как ее встретят.

Мать, к которой она пришла сейчас, — здоровая, благополучная. Ей двадцать два года, у нее розовые щеки, вся она какая-то гладкая и очень послушная: делает все, что ей велит Саша.

Саша давно заметила: когда появляется первый ребенок, такое чувство, будто в доме тяжелобольной, ни у кого ни минуты покоя. Вот и сейчас в глазах матери светится ужас: ее беспокоит, что у малыша изпод чепчика торчит ухо — а вдруг вырастет лопухий? Потом во сне у него всегда такое недовольное лицо, может, он родился глухим?

Она встречает Сашу молчаливым кивком, и Саша тотчас понимает: он, видно, долго орал и только что притих на руках у матери.

Саша входит на цыпочках и молчаливо кивает в ответ, и обе улыбаются друг другу, как заговорщицы. — Только что уснул? Жалко будить. А все-таки придется.

И они тихо переговариваются над уснувшим ребенком.

Саша осторожно разворачивает его и оглядывает спинку, головку, смотрит за ушами... Коля медленно просыпается и глядит на Сашу молочными подслеповатыми глазами. Ничего, потом глаза расцветут, станут большие и чистые.

— Ну вот, — говорит Саша, — уже можно купать в некипяченой воде... А знаете, почему у него заворачивается ухо? Потому что он, как подсолнух, поворачивает голову к свету, к окошку. Вы его кладите то на одну сторону кровати, то на другую. Поняли?

И снова лестницы, лестницы, лестницы...

В комнаты она входит, отогрев в коридоре руки, улыбаясь. Улыбка, — не понимая этого, Саша знает твердо, — ее представительство. Если ребенок болен — ее улыбка несет надежду. Если здоров — как же не улыбнуться.

И она ходит, как почтальон, по лестницам, она хоть и помнит о доме, об Ане и Кате, но глубоко внутрь загоняет эту постоянную память — сейчас не до них, не до них! Вечером она все расскажет им и Мите, а сейчас — мимо, мимо!

Один этаж, и другой этаж — и снова она стучит в дверь.

...В этом доме — нерадостно. Тут живут трое: мать, пятнадцатилетняя дочь и трехнедельный сын.

Мужчины в доме нет. Ни одного знака, который сказал бы: здесь есть отец. Или был когда-то. Ни старой кепки, ни сапог, ни пепельницы, ни пиджака на спинке стула, ни завалывшегося перочинного ножа, ни фотографии на стене. Дверь платяного шкафа приоткрыта, но на поперечной перекладине девичья лента, поясок. Ни ремня, ни галстука.

И вот в этой комнате раздался властный крик новорожденного. Это — мужчина. Через каких-нибудь семь лет в этом шкафу будет висеть ремень от школьной куртки. А потом, очень скоро, мужская рука заколотит гвоздь в эту стену — по-мужски, как следует, а не так криво, как сейчас. Скоро на этом полу будут валяться гвоздики, гайки, железки, может, побежит заводной автомобиль — бывает, что дарят на день рождения!

Все это будет. Но покамест опора этих двух женщин лежит в коляске, наморщив лоб и крошечный нос. Выражение его лица серьезно и неприступно. Пока он только яблоко раздора, обуза и срам: родился без отца.

...Взрослая девочка не смотрит в сторону матери, она не может примириться с тем, что случилось. Подруги перешептываются, смеются. На кухне осуждают. По ночам он орет — как тут готовить уроки? У всех девочек дом как дом, а ей что делать?

Лицо матери бледно, немолодо. Саше оно кажется робким и печальным. Во всем мире ей опора только вот этот — двухнедельный. Он, может, один ее не судит. А если б и судил... Пока не скажет... А если б и сказал — его не разлюбишь.

На Сашу женщина смотрит злобно и неуверенно, она знает: и эта осудит. На всякий случай она говорит:

— Ну что ж, сестрица... Бывает...

Саша будто не слышит. Распеленав ребенка, она говорит:

— Прекрасный парень! Богатырь!

Глаза у матери светлеют, а в углу молчит дочка, сестра малыша.

— Девочка, тебя как зовут? — не глядя, спрашивает Саша.

— Ну, Маруся.

— Так вот, Маруся, вскипяти мне, пожалуйста, воды.

Девочка в ответ пожимает плечами.

— Ты что, не слышишь? — Сашин голос звучит повелительно.

— Я сама, — говорит мать.

— Как это — сама, когда вы еще больны. Ну-ка, Маруся, проводи меня на кухню.

Маруся молча идет впереди, а придя на кухню, говорит:

— Чего вам? Вот наш примус. Ну?

Не успев ничего обдумать, Саша хватается девчонку за плечо:

— Ты что, ослепла? Оглохла? Нет, не вывертывайся! Мать больная, а ты...

— Не ваше дело! — вырываясь, говорит Маруся.

— Мое! — отвечает Саша. — Я за вашу семью отвечаю, и за тебя, глупую, тоже в ответе. Если молоко у матери пропадет, что тогда?

— Так ее, валяйте, сестрица! — говорит пожилая женщина, выходя из комнаты при кухне: — Совсем от рук отбилась! Удержу нет, что ни день — то скандал, матери глаза выела — срамит!

— А что же ей в ножки, что ли, матери, кланяться за такое? — тут же подхватывает другая женщина — очень высокая, могучего сложения, в цветастой косынке. — Ей свою жизнь скоро устраивать надо, матери об ней бы позаботиться, а она, смотри, хвост распустила! Ей бабушкой быть, а она — пожалуйста! Совесть иметь надо!

— У тебя совести много, — ответила пожилая, — дочь на мать натравляешь. Это какой же может быть позор от ребенка? Ты в уме ли? Что ж

теперь бабам не рожать, что ли, если мужиков мало? Ты за себя, Степановна, не бойсь, на тебя никто не польстит, не бойсь, никого не опозоришь.

Степановна молча хлопает дверью, и на кухне остаются трое — Саша, Маруся и та, пожилая.

— Откуда у тебя такое понятие, что ребенок — это позор? — обращается Саша к угрюмой девочке.

— Незаконный, — говорит Маруся, — у него в метрике вместо отца — черточка.

— Черточка? А вместо сестры — что? Клякса? Да ты не только глупая, ты жестокая.

И, разжигая примус, наливая в кастрюлю воду, Саша выкладывает все, что накипело на душе. Что едва открыв глаза и начав дышать, человек не может быть вне закона, что только пошлость могла выдумать это слово — незаконный, незаконнорожденный, что с вора, когда отсидит, и с того клеймо снимают, а эта девчонка ставит клеймо на брате, который и глаз-то еще толком не открыл, — надо же придумать! Незаконный!

Она еще не раз сюда придет. Но нынче, уходя, у самых дверей, она оборачивается и говорит:

— Изволь принести братишку в консультацию. Послезавтра, в три. Чтоб мать не ходила, ей еще нельзя. Ясно? Если молоко у матери перегорит, я с тебя взыщу, так и знай.

Сказав все это, Саша спускается с лестницы и долго еще идет хмурая, злая. Ей кажется, что и снег под ногами потемнел, и небо темное. И правда: уже сумерки. А ей еще надо зайти в одну семью, так, для спокойствия: там веселая сероглазая девочка Зинка. Ей десять месяцев, а она уже ходит и говорит. У нее славная, веселая мама, добрая, веселая бабушка. И отец, который стесняется быть нежным. Но когда смотрит на девочку, не может сдержать улыбку.

Нет, это напоследок, а сейчас она побывает у Тони Григорьевой. С Тоней она познакомилась давно и знает всю ее короткую историю. Тоня любила человека, но замуж за него идти не хотела.

— Я ему говорю, — рассказывала она Саше, — и учили тебя, и специальность есть, как ни говори, токарь шестого разряда, а живешь неприкаянный. Будни, праздник — тебе все равно. Даже костюма себе справить не можешь, ходишь, как нищий. А все водка. На что ж мне такой? Прошло время, и вот он мне звонит: спасибо, наладила ты мою жизнь, я, говорит, теперь не пью, справил себе костюм и буду тебя ждать, и буду стремиться. И, правда, стремился. И поженились мы. И сразу война. Приехал на побывку, как взяли Варшаву, и опять на фронт. И не вернулся больше. Не вернулся, убили...

А малышу уже три года. Сейчас он болен. Тоня растила его одна, больше замуж не вышла. Мальчик рос у Саши на глазах, на ее памяти и пошел, и сказал первое слово. Он любит Сашу, не боится ее белого халата. И сейчас, когда у него воспаление легких, Саша поставит ему банки.

Тоня на работе. С малышом соседская бабушка. Саша приоткрывает дверь. Юра лежит в кровати, на одеяле игрушки, которые положила мать. Старая потрепанная книжка, матерчатый заяц, песочный совок и ведерко. Когда Саша входит, Юра не говорит «здравствуйте», он только улыбается, застенчиво и радостно. На нем белая рубашонка, шейка открыта.

— Сорока-воровка кашку варила, — лукаво говорит Саша, вынимая банки из чемодана, — этому дала. Так! Есть! (Одна банка поставлена!) Порядок! Этому дала! (Вторая банка поставлена!) А этому не дала! (Третья банка поставлена).

Она быстро прикрывает Юрину спину одеялом.

— Тетя Саша, больно, сними!

— Ты воду не носил? Ты кашу не варил?

— Сними!

— Нет, ты скажи: ты воду не носил? Ты кашу не варил? Полетели, полетели, на головушку сели!

Одну за другой она снимает банки. Фокус удался. Юра не расплакался.

Каждый взрослый полон лукавства, это нехорошо! Но что же поделаешь? — думает Саша, убирая банки в чемодан.

— А когда ты опять придешь? — спрашивает Юра.

— Послезавтра, — отвечает Саша и щекочет Юру за ухом.

В коридоре темно, никто ее не провожает. Вон там, в углу, велосипед. Не наткнуться бы, обойти.

И вдруг дверь одной из комнат распахивается, широкий, светлый луч освещает Саше дорогу. Из света выходит человек — высокий, широкоплечий.

— Сестра, — говорит он ласково и решительно, и Саша замечает, что глаза у него светло-карие, почти янтарные, — я давно искал случая с вами поговорить. Я врач — хирург. Королев Дмитрий Иванович. Я ишу сестру. Нет, нет, не отказывайтесь, Александра Константиновна. Я был уже у вас в консультации. Мне нужна медсестра, такая, как вы... Вот так... Давайте поговорим!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Длинный коридор, по обе стороны — палаты, палаты. Сашин пост — третий, в конце коридора. На столе — стекло, лампа под зеленым абажуром. Сегодня день не операционный, можно чуть вздохнуть, оглядеться.

И тем, кого вчера оперировали, сегодня немножко легче. Пришла в себя двухлетняя Оля. Она задумчиво смотрит на снежинки за окном и говорит:

— Мухи...

Галя Павлова (операция на сердце) полусидит, опершись спиной на высоко взбитые подушки. От носа идут, как тонкие усы, коричневые резиновые трубочки с кислородом.

— Не пускайте Ваню, — говорит она, прерывисто дыша, — не пускайте... не хочу, чтоб видел меня такой... Вот маму — да... маму пускайте.

Рядом с Сашиним столиком сидит четырнадцатилетний паренек Толя. Посмотришь на него и видишь: ресницы и веснушки! Ресниц и веснушек такое количество, что хватило бы на пятерых. Саше сидеть некогда, она все время около больных, но он ждет терпеливо. На коленях у него книга, и он читает. Но стоит Саше хоть на секунду подойти к своему столу — за лекарством или за шприцем, — как он немедленно вступает в разговор:

— А если мне во врачи податься, как вы считаете?

— Очень хорошее дело, Толя. Я тоже скоро подамся: пойду в мединститут. А ты кончи семь классов — и в медтехникум!

— Там одни девки! — отвечает он Саше вдогонку, а когда она возвращается, говорит: — Я очень доктора Королева уважаю. Я считаю: если ты врач, так будь, как Дмитрий Иванович. А вы как считаете?

— Я с тобой согласна.

— А вот таких, как сестра Прохорова, я бы в больницу вообще не пускал. В ней одна злобность и больше ничего нет. А с больными злобно нельзя. Как вы считаете?

Саша считает совершенно так же, но отвечать Толе она не хочет и, нахмурясь, идет к плитке кипятить инструменты.

Толя приехал сюда из глухого сибирского городка. До операции он пробыл в больнице полтора месяца. Полтора месяца, а он не хотел быть здесь ни одного дня! «Если не забереешь меня отсюда, я тебе не сын, а ты мне не отец!» — писал он домой. А потом привык. У него был синий порок. Синие веки, синие губы. «Синий мальчишка», — говорили про него. Сначала он слонялся без дела, потом стал помогать Саше: давал больным напиток, менял воду в грелке, поправлял подушку, сползшее одеяло.

А потом доктор Королев его оперировал. Весь день — с восьми утра до шести вечера — Саша была при Толе почти неотступно. В шесть вечера ее сменила до утра Алевтина Федоровна Прохорова — ночная сестра.

— Ох, не уходили бы вы, — говорил Саше Толя. — Не могу я на нее смотреть. Уж лучше б никого не было, чем она.

Он тяжело ненавидел Прохорова. Почему? Он был терпеливый больной, лежал без стопа, никогда не звал сестру понапрасну. Но Прохорову он не звал никогда.

Если бы я болела, умирала, пропадала, я бы тоже ее не позвала. Ни за что. Но я-то ее знаю. А Толя видит только то, что видят все: аккуратная, исполнительная. Халат, шапочка — всегда белоснежные, туго накрахмаленные. Все назначения выполняет добросовестно. И многие ее уважают. А Толя — не любит и боится.

Сашино знакомство с Прохоровой началось так: из седьмой палаты вышла девушка. Она дежурила около матери и очень боялась, как бы ей не сказали: уходите домой, обойдемся без вас. Поэтому на лице ее постоянно было искательное, испуганное выражение. Она хотела казаться как можно меньше, незаметнее. Выйдя из палаты с длинноносой поилкой в руках, она спросила у Прохоровой:

— Пожалуйста... будьте так добры... где тут кипяченая вода?

— Я не из этой палаты! — не разжимая зубов, сказала Прохорова.

Девушка беспомощно посмотрела на Сашу, и Саша молча показала ей глазами на бачок. Прохорова стояла рядом с ним.

Девушка поспешно налила поилку и скрылась за дверью палаты. Саша в упор смотрела на Прохорова. Та улыбнулась и сказала:

— Какие все умные стали!

Прохорову нельзя было ничем удивить, ничем растрогать или порадовать, ей нельзя было рассказать ничего интересного: она все знала наперед. И ответ у нее был один:

— Какие все ученые стали!

Еще она говорила: — Я никогда ни у кого не занимаю, вот и у меня не просят.

И еще она говорила: — Жить надо по средствам.

И еще: — Не вижу радости от замужества. Много радости — стирать мужские портки.

И еще: — А зачем мне дети? Вырастают хулиганами. Или пьяницами.

В хирургическом отделении была сестра Валя. Она собиралась замуж. Все радовались за Валу. Жених был очень симпатичный, он приходил за Валею после работы, и все прилипали к окнам, чтобы взглянуть, как он прохаживается по больничному саду — высокий, красивый, с такой гордой независимой повадкой.

— Орел! — говорила больная, лежавшая у самого окна.

И вдруг он уехал, оставив Валею письмо. В письме он сообщал, что

ошибся: он Валью не любит. А любит другую девушку. Та девушка живет в Тбилиси. И он к ней уезжает: «Привет, Валя! Надеюсь, твоя сердечная рана вскоре заживет!»

Валя плакала. Она говорила: «Я жить не хочу». Все жалели ее, и только Прохорова сказала:

— А что же вы раньше смотрели?

Она была вежливая и даже молоденьким сестрам и санитаркам говорила «вы». Помолчала, улыбнулась и добавила:

— Орел... Орел за мухой не погонится.

Заведующий хирургическим отделением Петр Геннадиевич Аверин говорит о Прохоровой:

— Алевтина Федоровна очень добросовестная сестра.

Добросовестная... Почему же Саше всегда не по себе, когда она сдает Прохоровой дежурство? Особенно если в палате есть тяжелые, а после операционного дня все — тяжелые.

— Доктор велел, чтоб Петров чаще отхаркивал,— говорит Саша Прохоровой, сдавая дежурство.

— Знаем.

— Не то придется делать трахеотомию.

— Слышали.

— Дмитрий Иванович велел позвонить ему в девять и сообщить, какая температура у Волковой.

— Это у бабушки с тромбозом, что ли?

— Да.

— Королев всегда что-нибудь придумает. Какая у Волковой может быть температура. Ей восемьдесят восемь лет.

Порывшись в сумке, Прохорова вынимает канву, разноцветные нитки. Ночью, когда все затихает, она будет вышивать болгарским крестом салфетку. Она позвонит доктору Королеву в девять часов и сообщит, какая температура у бабушки с тромбозом. Она поможет Петрову откашляться. Она добросовестная сестра. Почему же Саше так тревожно, когда ее сменяет Прохорова?

...У людей после операции отрешенные лица. Кажется, что человек не видит, не слышит. Он ранен. Надо снова привыкать к жизни. Да, надо привыкать жить заново. Ночью ему становится хуже. Скрипят полы, за окном качается на ветру фонарь. И кажется, что ты один на свете. Кажется, что боль тебя никогда не оставит. Силы не вернуться. Ты никогда не обрадуешься дневному свету. А может, ты его больше никогда и не увидишь. Ночь в больнице длинная, нескончаемая. Тоска подступает к горлу и не дает дышать. Кажется, что из жизни выкачен воздух. Нет прибежища.

Сестра Прохорова сидит за своим столом у третьего поста. Огни притушены. В палатах темно, в коридоре горят только настольные лампы. Услышав стон, сестра Прохорова встанет, отложит вышивание и войдет в палату.

— Чего вам, больной?

— Пить.

— Вам нельзя пить.

— Пить!

— Не капризничайте, больной!

* * *

— Дмитрий Иванович,— говорит Саша,— вам кого-то напомнила Ирина Игнатьевна из седьмой палаты?

— Как вы угадали?

— Не знаю.

— Напомнила жену. А почему? Ведь непохожа. У Анюты были карие глаза. У Ирины Игнатьевны синие. Анюта была очень красивая. А Ирина Игнатьевна — не знаю, красивая ли.

— Она — хуже, чем красивая.

— Гм... Это — определение, над которым стоит задуматься.

Они часто уходят с работы вместе. Не сговариваясь, идут пешком. На дворе октябрь. Ветер влажный, тянет дождем. После суматошного больничного дня это отдых — идти вот так, не очень спеша, то молча, то перекидываясь словом.

— Дмитрий Иванович...

— Да, Саша?

— Я почти год в больнице. А ведь я так до сих пор и не знаю — как вы меня нашли? Почему позвали?

— А я удивлялся, почему вы так долго не спрашивали.

На щеку упала капля — холодная, свежая. Ветер снова рванул, и в лицо бьет целая пригоршня дождя. Саша поднимает капюшон плаща, а Дмитрий Иванович как шел без шапки, так и идет.

— Спрячемся в метро? Я боюсь, вы промокнете, — говорит он.

— Я в плаще. А вот вы?

— Я не боюсь дождя. Да, как я вас нашел. Время это было для меня трудное и темное. Умерла жена. Оставаться в Ленинграде — чувствую — немоготу. Мы росли с Анютой в одном детском доме. А потом мы встретились на фронте — ее, раненую, доставили в наш медсанбат. Она была, как вы, сестрой. Увидел я ее там — и понял, что всегда... почему так трудно произносить это слово, а? Понял, что всегда ее любил — сразу полюбил, еще в детстве, когда ее прислали в наш детский дом. После войны мы поженились. Родился сын. А потом она умерла. Я уехал из Ленинграда. Меня давно звал сюда Аверин, мы с ним были вместе на фронте. Сынишка остался у Наташи, Анютиной сестры. А я переехал в Москву, и дали мне комнату в Тониной квартире. Она быстро поняла, что мне плохо и тошно, очень прямо обо всем расспросила и стала меня лечить: если вам плохо — работайте. Нельзя ждать, чтоб крыша свалилась на голову. — Мне уже свалилась — отвечаю. А она опять: нельзя gloхнуть, если несчастье. Умирай, погибай, а душа пускай будет жива. Спрашиваю — откуда это у вас, Тоня? А она говорит: это мне сказала Саша, наша патронажная сестра. У меня муж погиб, я хотела умереть, но живу ведь? — Так ведь и я живу. — Нет, говорит, вы не живете, вы оглохли. Вам все стало все равно. Саша говорит: это самое худшее, если становится все равно. А главное, надо, чтоб душа была живая.

— Неужели я говорила такие умные слова?

— Говорили. И все, что вы говорили, Тоня обрушивала на меня. Между прочим, я всегда удивлялся: почему люди утешают друг друга чужой бедой? Почему думают, что если сказать — вот и у меня несчастье, и еще там и там горе — от этого ваше горе станет легче? Потом заболела наша квартирная бабушка. Зашел я вечером к ней, чтоб посмотреть, прописать лекарство. А она говорит: не надо, была Саша, все сделала. — Так она же, говорю, патронажная сестра, а не доктор. — А бабушка отвечает: — Она для меня лучше всяких докторов.

— По-моему, это все не про меня, — сказала Саша. — Какой-то рождественский рассказ.

— Да, как в хрестоматии.

— И вы оценили меня за мои хрестоматийные поступки?

— Вот тут-то и закавыка, Саша. Я вас терпеть не мог. Я думал: ну, что она все время лезет не в свое дело, проповедует, поучает, пропагандирует. Я этого смерть как не люблю. Занималась бы своим делом, что ли. Ведь она же патронажная сестра, а не Франциск Ассизский.

И вот прихожу раз домой и вижу, во дворе ребята собрались и галдят. Что, спрашиваю, у вас такое? Они отвечают: патронажная сестра дала Гошке по морде. Какая патронажная сестра? Ну, та, которая из детской консультации ходит к Юрке Киселеву. За что, спрашиваю? И выясняется, что Гошка дразнил малыша, кричал ему: полтинник, полтинник! Так, кажется, дразнят безотцовских? А вы подошли и дали тому самому Гошке по физиономии. Было дело?

— Было.

— Ну, а тут как раз ушла из нашего отделения сестра, перебралась в другую больницу, поближе к дому. И я попросил у Аверина разрешения самому подыскать ей замену. Он сказал: ну что ж, ищи, найди хорошую, добросовестную. А я решил — шут с ними, с добросовестными. С меня довольно Прохоровой. Рискну, позову эту самую Сашу, которую не знаю и даже никогда не видел. Вдруг повезет? После операции человека надо беречь, как... как хрустальную вазу, что ли... Ему надо сказать — дорогой. Или там — голубчик, или еще какое-нибудь петушиное слово. Доктору — не обязательно. А сестре, которая выхаживает, — непременно.

— Значит, пока я выхаживала Юру и бабушку, вы меня терпеть не могли, а когда съездила человека по физиономии, вы меня оценили и поняли, что я умею говорить петушиные слова?

— Да. Вот так оно и было. Но сегодня вы меня огорчили. Вы чересчур глазастая. Вам совершенно незачем было понимать, что больная из седьмой палаты кого-то мне напомнила. Больные никого не должны доктору напоминать. Больной — он больной и есть. И все. Давайте, все-таки, пойдем в метро. Ну, промочили ноги? Я же говорил!

* * *

В третьей палате шесть женщин. В самом углу у окна огромная, толстая, та самая, что говорила про Валиного несостоявшегося жениха «орел». Саша любит угадывать, чем занимается больной за стенами больницы.

Повариха? — думала она про толстую женщину. — Или просто домашняя хозяйка?.. Оказалось, работает в тире — не вахтершей, не кассиршей — инструктор стрелкового спорта: не глядя, попадает в яблочко! Вот и угадай тут!

Инструктора зовут Полина Васильевна. Она озабочена Валиной историей и в разговоре все время возвращается к ней.

— Выйти замуж — это не шутка, — говорит она. — Вопрос — как выйти? Это, может, счастье, что Валин ухажер уехал в Тбилиси и нашу Валечку освободил. Вот послушайте, в квартире у нас живет девушка, молодая совсем. И выходила она замуж три раза. Погодите осуждать. Девушка хорошая, и родители у нее с высоким образованием. Вышла в первый раз — муж оказался хулиган. Пьет и хулиганит. Ну, наша девушка не растерялась — вышла второй раз. Он — с виду культурный, из себя — стройный, вроде Валиного, не хуже.

— Орел? — спрашивает Лара, больная, которая лежит напротив Полины Васильевны. Ей под тридцать, у нее зеленые глаза, легкие, светлые волосы. Она такая красивая, что на нее приходят поглядеть из соседних палат.

— Орел, — соглашается Полина Васильевна. — Утром на работу ходит, порядок, — оказалось, бандит. Самый натуральный бандит, шайка в восемнадцать человек. С виду ни за что не поверишь. Если с ним вращаться, ну вот, как я сейчас с вами вращаюсь, ни за что не поверишь: отвечает культурно, смотрит вежливо. Ну, взяли его, как пола-

гается, раз бандит. И вышла наша девушка в третий раз. Вот поглядим, как будет...

— А мои все мужья были моряки,— говорит Лара.

— Гм... Сколько ж их у тебя было? — спрашивает Полина Васильевна.

— Сколько б ни было — все мои! — смеется Лара. — Последнего от жены увела!

У самых дверей кровать Тани Ильиной. Ей завтра выписываться. Она сидит на кровати, обхватив руками колени, и пристально, не мигая, смотрит на Лару.

— Я женатых не признаю,— говорит она. — Ну, там потанцевать или побеседовать — пожалуйста. Но чтоб в женатого влюбиться, этого я не признаю. И сильно осуждаю.

— И осуждай на здоровье! — весело отвечает Лара, блеснув зелеными глазами.

— Заметили вы, какие глаза у этой, ну, у Лары, из третьей палаты? — спрашивает студент-медик Коля Великанов доктора Королева.

— Заметил,— отвечает Дмитрий Иванович.

— Никогда не видел глаз красивее! — говорит Коля.

— А я видел,— отвечает Дмитрий Иванович. — Вот у Ирины Игнатьевны из седьмой палаты, например.

— Ну какое же сравнение! — восклицает Коля. — У Лары прямо-таки зеленые озера, а не глаза.

— У Лары глаза для красоты. У Ирины Игнатьевны — глаза, чтоб видеть,— спокойно говорит Дмитрий Иванович.

* * *

— Сколько на свете болезней! — восклицает Толя.

Сколько на свете людей! — думает Саша. Сколько судеб! Они проходят мимо нее, сменяются, как в калейдоскопе. Но она не хочет, чтобы сменялись, проходили, она хочет сберечь в памяти всех, с кем ее сталкивает больница.

А Ирину Игнатьевну она, как и доктор Королев, заметила давно. Ее навещают дети, два сына — двенадцати и пятнадцати лет. Иногда она приходит из своей седьмой палаты в третью, окно которой глядит в больничный сад. В саду, напротив этого окна, часто стоят ее мальчики. Стоят и терпеливо ждут — не выглянет ли она?

Синий больничный халат сидит на ней ловко. На других — он неуклюжий балахон. На ней — домашнее платье, перехваченное в талии пояском. Она, как и Толя, помогает Саше ходить за больными, маленьким детям рисует, читает. С Толей говорит о книгах. Своей операции она ждет с глубокой затаенной тревогой.

— Мне нельзя умирать,— сказала она однажды,— у меня мальчишки.

— Не надо об этом,— ответила Саша.

— Я знаю. Я просто так. Да я и не хочу!

— Это и есть главное: не хотеть!

Саша знает — каждый, кому предстоит серьезная операция, думает: а если... И здесь человек один. Эту тревогу ни с кем не поделишь. Радостью можно поделиться. И горем иногда. А неизвестностью? Предчувствием? Страхом? Тут все надо одолеть одному. Трудно!

Иные бегают и всем, кто хочет и не хочет слушать, говорят: — Как вы думаете? Выживу я? Меня обещал оперировать сам Н. Н.! Доктор, а как ваше мнение? Сестрица, вы не слышали, что там про меня говорили после обхода? Я знаю, знаю, что умру, доктор, это правда, что я умру?

А вот Ирина Игнатъевна только раз сказала: — Мне нельзя умирать. У меня мальчишки.

Очень часто, почти через день, когда Саша, сдав дежурство, собирается уходить, Ирина Игнатъевна говорит:

— Опустите, пожалуйста, мое письмо.

Кому она так часто пишет? На конверте — почтовое отделение Ванино. Далекий край! Кто у нее там?

Во время работы редко выдается тихая минута. Уколы камфоры, ингаляция, банки! Не забыть — у Волковой пролежни, вот он круг, сейчас положу. А Борю Валетова уже можно поднимать. Таню Попову переодеть, она совсем мокрая. Взглянуть в тетрадку назначений: не забыла ли чего? Ирина Игнатъевна опять у окна, смотрит на своих ребят. У нее темные волосы, мальчишеская стрижка, смех прерывистый, похожий на покашливание.

Сейчас осень, дожди. Если выдается сухой, теплый день, Ирине Игнатъевне разрешают спуститься в сад, и тогда уж Саша выглядывает в окно, чтоб посмотреть, как она со своими мальчиками сидит на скамейке под толстым кленом.

А иногда к этой скамейке под кленом приходит видимо-невидимо мальчишек лет по пятнадцати. Ирина Игнатъевна преподает литературу в девярых и десятых классах. Она спускается к мальчишкам в сад и подолгу с ними разговаривает, и Саше очень жалко, что она не слышит этих разговоров.

Однажды заболела сестра, которая должна была дежурить ночью. Позвонили Прохоровой и еще другой сестре — их не оказалось дома.

— Придется вам, Саша, остаться на ночь, — сказала старшая сестра.

Саше очень хотелось домой: приехал Леша. Но делать нечего, пришлось остаться. Часам к девяти вечера все понемногу уgomонились. Вышла из седьмой палаты Ирина Игнатъевна с полотенцем через плечо и присела на стул рядом с Шашиным столиком. Вышел из первой палаты Толя и тоже остановился около Саши.

— Ты почему не спишь?

— А вы забыли, Александра Константиновна... Мне завтра выписываться.

— Как же я могла забыть? Я помню. И радуюсь за тебя.

— Чего я хотел сказать, Александра Константиновна...

— Да, Толя?

— Ну, в общем... передавайте привет своим девочкам. И вообще я, может, вам письмо напишу. А если что, приезжайте в отпуск. У нас сад и яблоки — антоновка. Приедете?

— А ты что думаешь? Может статься — и приеду. Чего не бывает на свете! Прихвачу Анюту с Катей и приеду.

— Вы смеетесь, а я вправду приглашаю. И отец пишет — скажи доктору Дмитрию Ивановичу... Ну и Александре Константиновне... Сколько же я здесь пробыл... И привык, верно ведь?

Ирина Игнатъевна внимательно смотрит на Толю, потом встает и уходит. Толя садится на освободившийся стул и молчит. Совсем недавно он был такой многословный, такой красноречивый, он сидел рядом с Сашей или ходил за ней из палаты в палату и болтал, болтал обо всем на свете. А сейчас молчит. Потом встает и нехотя, медленно, словно раздумывая — не вернуться ли, уходит к себе. Саша проходит по палатам, а возвратившись, видит у своего стола Ирину Игнатъевну, которую она про себя давно уже зовет просто Ириной.

— Спать, больная, спать! — деловито говорит Саша.

— Не хочу! И вы не хотите, чтоб я ушла.

Она сидит, откинувшись на спинку стула, и задумчиво смотрит на зеленый абажур Шашиной лампы.

— Я подумала: может, я мешаю ему? И ушла. Он заговорил после моего ухода?

— Нет. Мы просто очень содержательно помолчали.

— Я иногда думаю: что людям мешает говорить? Ведь он хотел сказать: я полюбил вас, Александра Константиновна. Я никогда вас не забуду. Он знает все эти слова, но он не мог их вымолвить. Почему?

— Эти слова не так-то легко произносить. Я его понимаю.

— А я нет. То есть я понимаю, отчего возник страх перед словами. Говорят, что медузы бывают очень красивые и переливчатые, пока не возьмешь их в руки. Вот то же самое и со словами. Многие слова страшно затерты и захватаны. И поэтому приземляют самое высокое. Только меня этот страх не загипнотизировал.

— И вы говорите «эти слова», не заикаясь? Легко?

— Я обречена их писать. Не говорить, а писать. И это гораздо труднее.

Если бы Саша не боялась слов, она бы сказала, как говорят в детстве, как она сказала когда-то Юле: — Давайте дружить.

Ирина сидит в синем больничном халате, на ногах у нее огромные больничные тапочки. Не надо удивляться тому, что она говорит. Надо только представить себе, что этот длинный, тускло освещенный коридор — купе ночного вагона. Поезд мчится, все пассажиры спят, а они вдвоем разговаривают так, будто никогда больше не увидят друг друга.

— Его взяли в тридцать восьмом, — говорит Ирина. — Скоро десять лет, как мы в разлуке. Через год он будет на свободе, и я поеду к нему. А пока я пишу. Писать очень трудно. Когда говоришь, важен совсем не точный смысл слова, и никто не думает, не взвешивает, можно ли этим словам верить навеки, но каждый знает, что сейчас они правда. А когда пишешь... Когда пишешь, каждое слово требует, чтоб с ним обращались с умом.

Она говорит так открыто и бесстрашно, — Саша и не думала, что можно так говорить. Ее голос звучит как эхо Шашиной мысли:

— Не удивляйтесь тому, что я говорю, просто представим себе, что мы едем в поезде и больше никогда не увидимся. Тем более, что мой поезд мчится невесть куда, и если я не соскочу на ходу...

— Об этом не надо.

— Ладно. Не надо. Но вот что я хочу вам сказать. Когда его взяли, меня вызвали к следователю и показали мне пачку писем — его писем к другой женщине. Я прочла только одно — больше не надо было. Я думала, что умру. Что было делать? Что бы вы сделали на моем месте?

Саша думает: я бы умерла. Но отвечает:

— Не знаю.

— Мне казалось, я знаю его как себя. Я думала, мне в этой душе все открыто, все ясно. И вдруг... Не смотрите так, это прошло. Вы ведь видите, что прошло. Я все эти годы писала туда, а сейчас решила на операцию, чтоб быть здоровой и приехать к нему человеком, не обузой.

— Вы... все забыли?

— Забыла? Вот видите, рассказываю, значит, помню. Но я видела по его письмам, что он любит и мучается. Конечно, что-то живое во мне тогда умерло, но я тоже люблю. Меня только мучает, что я не могу ему этого сказать, меня мучают письма — и его и мои. Мне бы увидеть его хоть на минуту, и тогда бы я все поняла про него. И про себя.

Она умолкает. Саша тоже молчит, ждет.

— В романе у одного француза рассказана вот такая история. Муж

героини уехал по делам, привычный уклад нарушен — не очень, может быть, интересный, но уже милый сердцу. И ей кажется, что она в любом случае и по любому поводу знает точно, что ее муж подумает, почувствует, скажет. И тут на глаза попадает забытый ключ от всегда запертого письменного стола. Она не удержалась, открыла ящик, а там хранится целая вторая жизнь, скрытая от нее, — незаконная дочь, любовная драма, тяжба о наследстве и прочее. Сначала она в негодовании, отчаянии, а потом начинает вспоминать всю свою жизнь — и убеждается, что у нее тоже есть свой «тайный сад», и она не имеет права упрекать мужа. Пусть по-прежнему обычная, будничная жизнь течет своим чередом, все в ней будет размеренно, до мелочей знакомо и привычно, а «тайный сад» цветет дурманом и маком в душе каждого человека, да, кажется так: дурманом и маком, — и трогать этот сад нельзя. Что вы на это скажете?

— Если называть тайным садом внутреннюю жизнь, то он, конечно, есть у каждого. Но если это то, что непременно надо скрыть от самого близкого человека...

— У вас этого нет?

Саша помедлила.

— Боюсь, мой тайный сад никому неинтересен, кроме меня, — сказала она. — В нем не растут ни дурман, ни маки. Так, какие-то очень простые цветы, одуванчики, что ли.

— Вы скрытная?

— Пожалуй.

— А я была очень открытым человеком. Но с тех пор, как я прочитала то, не мне адресованное письмо... что-то сломалось. И отношения с людьми становятся все более внешними, а душевная моя жизнь скрыта, и я, пожалуй, сама не всегда знаю, какие там цветут растения. Теперь я много молчу. Мне легко в классе, с детьми. Раньше я преподавала в вузе, но потом меня, конечно, уволили. И никуда решительно не брали. Я поняла, что пропаду. Подумала-подумала и махнула в Сибирь, в Заозерье, стала преподавать в пединституте. А про мужа ничего в анкете не написала. Скрыла. Если бы вы знали, как трудно было молчать. Я ничего не могла с собою поделаться, мне надо было поговорить. И о себе рассказать, и другого послушать. Мне надо было, чтоб вокруг были люди. Без людей трудно. Может, и рыба привыкает к кипяченой воде. Но ведь и рыба иногда мечется в поисках свежего глотка. У меня были прямо-таки приступы тоски по человеку. И вот я очень подружилась с одним студентом. Он был уже на последнем курсе. Мы много разговаривали, читали стихи. И однажды я ему все рассказала. Вот — сказало. Сорвалось с губ. Ну, а он... сообщил директору. Выполнил свой долг. Через несколько дней — приказ: уволили за сокрытие. Дорого мне достался свежий глоток. Я вернулась в Москву. Спасибо из Москвы не выслали. Повезло. И еще раз повезло: меня на свой страх и риск взяла к себе в школу одна замечательная женщина. Не побоялась. И отстояла меня во всех инстанциях. Вот еще с ней мне легко говорить. И с вами! Я давно вас выбрала.

Она улыбнулась Саше. И встретив этот пристальный сильный взгляд, Саша сказала:

— Спасибо.

...Когда она легла, Саша обошла все свои палаты, потом заглянула в седьмую. Она подошла к Ирине и провела рукой по ее щеке, как будто это была Аня или Катя.

— Не жалеете о том, что рассказали мне, хорошо?

— Зачем же?

— Бывает. Расскажет человек, а потом пожалеет. Не жалеете.

— Не буду.

...Вот уже полтора часа, как идет операция. Она продлится, наверно, еще час. Внизу, окаменев, ждут два мальчика. Есть ли на свете мука тяжелой ожидания? Все заняты, все что-то делают, а ты жди, и мучайся, и готовься к худшему. Они пришли с книжкой, но какое уж тут чтение. Застыв, смотрят перед собой. Вчера они сидели с матерью в саду до самого вечера. Она простилась с ними, поднялась на крыльцо и вдруг позвала:

— Погодите! Я хочу еще раз на вас посмотреть.

И они вернулись. Саша не могла забыть этих лиц и глаз.

Теперь она ждет сигнала, когда можно ехать за Ириной. Девушку, которой оперировали щитовидную железу, уже давно привезли, она сидит, распластавшись на высоких подушках. Ее оперировал Аверин, все хорошо.

А та операция еще длится. Саша спускается вниз, надевает маску и заходит в операционную.

— Зажим! На бронх! — слышит она голос Дмитрия Ивановича. Не поворачиваясь, он протягивает руку и берет зажим. Не оборачиваясь, каким-то боковым зрением, Королев видит Сашу и говорит:

— Я хотел оставить хоть несколько сегментов, не вышло. Все легкое поражено.

Рука Ирины беспомощно лежит вверх ладонью, будто прося. Запрокинутое спящее лицо безмятежно.

— Готовьте каталку, — кидает Королев Саше.

Кровать на колесах уже давно готова. На белой простыне грелки — синяя, красная, зеленая.

Люба, сестра, которая дежурит сегодня вместе с Сашей, открывает дверь операционной и вкатывает туда кровать.

Шов, как кривой частокोल. Обнаженное тело перекладывают на теплые простыни. Осторожно. Тише! Укрыть. Грелки к ногам. Лифт поднимает их наверх, и Саша подкатывает кровать к палате. В дверях столпились больные — и те, у кого операция позади, и те, кто только ждет ее.

Глаза сочувственные — ах ты, бедная! Глаза жадно любопытные, глаза испуганные: и со мной так же будет?

Взглядом, движением руки Саша просит отойти. Нехотя, медленно больные расходятся. Ирина спит. Саша подносит ладонь к ее губам — не дышит! Нет, дышит, дышит: тепло дыхания, как прикосновение теплого ветра.

Ее первые слова: — Мальчикам... сказать... мальчикам... Мальчики ждут... Устала, — говорит она. — Уходилась...

Она засыпает и просыпается, она тихо стонет в забытьи. Саша дежурит вместе с Любой. Они привыкли друг к другу и действуют как один человек, понимая все с полувзгляда. Сегодня, кроме Ирины, еще двое после операции. Всем нужно неусыпное внимание, всем троем плохо. Но хуже всех Ирине. Надо следить за кислородными трубочками, следить, чтоб не отказала система переливания крови: неслышно капает из стеклянного баллончика кровь. Через стеклянную трубку, которая соединяет две резиновые, видно, как по капле, по капле, без стука, неслышно капает кровь.

Потом надо будет ввести в эту исколотую измученную руку хлористый кальций. Потом...

Саша опомнилась только, когда пришла смена: Прохорова, ночная сестра. Саша сдает ей дежурство и... остается.

— Что ж не уходите? — спрашивает Прохорова. — Или дома делать нечего? Сидите, мне же лучше.

Саша остается. Ночь полна стонов, тихого бормотанья, жалоб, тоски. Скрипят полы в коридоре, за окном качается на ветру фонарь.

Когда Ирина в сознании? Когда бредит?

— Хотите, я прочту вам мои стихи? — говорит она.

— Не надо. Вы устанете.

— Нет, послушайте. Дайте руку. Как же там было...

И когда в одинокий полуночный час
Задрожит в испуге и погаснет свеча,
Ты в последней нахлынувшей темноте
Подведешь тихонько итоги потерь,
Улыбнешься, как равный, в лицо судьбе,
Ляжешь — и руки начнут слабеть.

Она умолкает, обессилев. И потом в забытии говорит:

— Есть где-то на земле город... Там все по-прежнему... как в детстве... Я еще вернусь туда. И увижу свой дом. И печку, за которой мы шептались... — Открыла глаза, взглянула: — Саша, это вы? У меня в тумбочке тетрадка. Детям не отдавайте. Оставьте у себя. Когда-нибудь отдадите ему... Когда-нибудь... Или... когда подрастут... дети...

Есть ночью в больнице такой предрассветный час, незадолго до пробудки — становится совсем тихо. Все уснули. Не скрипят полы. Не стонет больной из второй палаты — затих. Не кашляет старик из восьмой. Почему-то становится зябко и так клонит ко сну, что кажется, сейчас уронишь голову на руки и тоже уснешь.

И вдруг за стеклом двери темный силуэт. Дверь тихо отворяет чья-то рука: доктор Королев.

— Саша, сейчас в ординаторскую звонил Дмитрий Александрович. Он едет из редакции домой и заедет за вами. Не спорьте. Я останусь тут. Я не уйду. Спускайтесь. Поспите. День будет трудный.

Саша тихо бредет по лестнице, по саду к проходной, на улицу. Ветер холодный, пронзительный. Качаются и скрипят деревья, качаются фонари. Почему, когда не выспишься, еще холоднее? Что-то есть славное в этом осеннем ветре — непокорство, свежесть, напор. На улице уже стоит машина.

Саша садится рядом с Митей и, уткнувшись лицом в его плечо, засыпает.

* * *

И снова утро. Саша открывает дверь больницы и видит мальчиков. Лица у них отчаянные.

— Что? — спрашивает она.

— Мы не знаем, — отвечает старший. — Никто ничего не говорит. Может быть, ей хуже?

Не дожидаясь лифта, Саша летит наверх — скорее, скорее через две ступеньки, через три, скорее!

— Дмитрий Иванович! — начинает она и, задохнувшись, умолкает: обрывается и падает сердце...

— Мальчики здесь? — спрашивает Королев. У него тяжелое лицо, тяжелые глаза, запекшиеся сухие губы.

— Да. Я их видела. Я им скажу. Сейчас спущусь и скажу.

— Нет. Я сам.

...Это случилось только что. Она опоздала на какие-нибудь двадцать минут. Ирина лежит за ширмой, укрытая простыней. Саша поднимает уголок простыни и видит спокойный лоб, спокойные уснувшие губы и тихие ресницы в полщеки. «Уходилась», — вспоминает она.

Митя называет свою работу — проклятая. Нет, это ее, Сашино, дело

проклятое, безутешное. И она спрашивает себя о том, о чем всегда думают у гроба живые: где ты теперь? Слышишь ли? Куда же это ушло то, что было живо еще вчера, еще минуту назад — твоя мысль, твое горе, твоя любовь, Разве можно понять, что всего этого больше нет...

* * *

— Очумел! Очумел! — говорила Анисья Матвеевна. — Не один ты работаешь, все нынче работают! Подумаешь, он один на свете работает! Есть люди не глупее тебя, а спят! И дело делают! Нет такого закона, чтобы не есть и не спать.

Она говорила правду: Митя работал днями, ночами, будто навостывая упущенное. Он и раньше, бывало, поздно приходил из редакции, но теперь он там дневал и ночевал. Приходя домой, взглянув на спящих детей и поужинав, он снова садился за письменный стол и принимался за неоконченную статью.

— Саша, — будил он ее иногда, — вот послушай, прошу тебя, ну, проснись, проснись и послушай. Мне очень надо понять: получилось?

И присев на край дивана, читал.

— Нет, тогда уж сначала, я по кускам не понимаю, — говорила Саша и принималась слушать. Она слушала хорошо и хорошо понимала. Она вдруг говорила что-нибудь такое, что заставляло его снова сесть к столу и все перечеркнуть.

— Митя, описание картины здесь совсем лишнее.

— Это почему?

— Ну вот поверь. Ну, посуди сам: ты говоришь, как уютно было у них в комнате, как беззаботно и дружелюбно велась беседа, а потом описываешь эту картину, как это у тебя там: «Скачут всадники, у одного замкнутое, недоброе лицо и коварная улыбка на губах», — и ощущение покоя, дружелюбия исчезает, нет его...

— Что-то больно сложно, — сердито говорил Митя. — Я ровно ничего не могу понять.

Однако понимал отлично, а если не очень уставал, переписывал все заново.

— Ты, конечно, не журналистка, — говорил он, — но в тебе что-то есть. Здравый смысл, что ли. Что-то ты в нашем деле понимаешь...

Иногда ночью он звонил из редакции: — Ты еще не спишь? Встреть меня, пройдемся.

И она шла, чтобы встретиться с ним на углу переулка, и они еще долго бродили и разговаривали.

— Саша, — спросил Поливанов однажды, — тебе нравится, как пишет Лаврентьева?

Саша минуту подумала.

— Нет.

— Почему?

— Ее статьи... Они... как бы тебе сказать... Они заранее разрешенные. Они обречены на успех.

— Это несочетаемо — «обречены» и «успех». Сразу видно, что ты не журналистка.

— Если ты журналист, ты должен понимать: чем несоединимее слова, тем интереснее их соединить. Твоя газета тем и плоха, что, прочитав одно слово, знаешь, какое следующее. Если Грузия, то солнечная, если боец, то доблестный, если...

— Я понимаю, просто я дразню тебя. Ну, а кто из очеркистов, по твоему, настоящий?

— В твоей газете?

— Нет. Вообще.

— Овечкин. Он продирается через все с чем-то своим, самым главным. У него болит. Это сразу слышишь, когда читаешь. И он заставляет думать.

— Думать... Да. Ох, не любил я прежде думать. Только война и заставила шевелить мозгами.

Митя подолгу рылся в ежедневной почте отдела писем. Он отыскивал какое-нибудь письмо, которое словно взывало: — Скорее! Не медли! На помощь! — и тотчас ехал — на Урал, на Украину, в Сибирь — по случаям, которые многим казались пустяковыми.

Потом он возвращался из командировки, писал статью, и почти всегда начиналась баталия. Он рассказывал в своей статье десятую долю того, что хотел бы рассказать, но и эту десятую редактор встречал в штыки. Вот Голубинский едет в колхоз-миллионер, пишет роскошный очерк о молочных реках и кисельных берегах, его печатают, хвалят, и все в порядке. На черта мне, в самом-то деле... И тотчас вспоминал избу на Тамбовщине, земляной пол и дырявую соломенную крышу. Он хочет писать про это. Он не герой, не какой-нибудь Гарибальди, он просто честный журналист, почему он должен врать? А ты не ври, ты просто пиши про другое. Нет, иногда молчать — тоже вранье. А у него и без того уже немало накопилось всякого молчания. Он ездит, видит. Все виденное хочет прорваться на газетную страницу, но есть вещи, о которых он и сам знает: надо закопать поглубже, никакой, самой далекой надежды нет на то, чтоб сказать это вслух.

Поливанов часто вспоминал полутемный вагончик, в котором он ехал из Сосьвы в Свердловск. Поезд подолгу тосковал на каких-то полустанках, а когда, наконец, трогался, все начинало греметь и лязгать. За окном бесилась уральская метель. Снег сыпал не сверху, а мчался навстречу поезду, и в окошке ничего, кроме этой белой кутерьмы, не было видно.

Шел третий час ночи. Пассажиры спали сидя, лечь могли только счастливицы, захватившие вторые и третьи полки. Поливанов не спал и силился рассмотреть сидевшего напротив человека в треухе. От него веяло непокоем. Он сидел молча, но видно было — ему до смерти хочется поговорить. Он вздыхал, покашливал, надолго прикивал к окну.

— Зимно... — не вытерпел он наконец и послушал: не откликнется ли Поливанов.

— Да, февраль...

— Ты откуда?

— Из Сосьвы.

— И я из Сосьвы. На поминках был. Полдня пили. Дружок мой — мал-маленько справился и женщину хорошую нашел, расписался и в одночасье помер. Сердца разрыв. Теперь она одна осталась. У нее своих двое и его двое — всего четверо. А дом старый, того и гляди завалится. И как она справляться будет? А ты далеко ль?

— В Свердловск. Потом в Челябинск, Магнитку.

— Магнитку... ха! Какое я дело в Магнитке сотворил! Не поверишь! Из лагерей я. Выпустили, а кто меня такого возьмет? Кому я такой, спроси, нужен? Мотался я, мотался, целый год мотался, вижу — не миновать обратно в лагеря, нету никакой другой пути. И вот в Магнитке, дай ему бог здоровье, один нашелся, научил: дали в милицию три сотни, и вот паспорт, нет, ты подумай, — новенький, гладенький и безо всяких пометок — чистый, как слезка.

— Зачем болтаешь? Помалкивай.

— Знаю, знаю. Но нет моих сил, радость какая. Я сейчас в Миас подамся, своих заберу — жену и мальчонку, и поминай как звали! Мало ли на Урале городов, а? Или, скажем, в Сибирь. У меня братан под Иркутском.

— Лучше в такой город, где никто тебя не знает.

— Вот я и говорю, лучше, чтоб ни одна душа... Да ведь куда ни приедешь — спросят: откуда, мол?

Он умолк, насторожившись. На верхней полке кто-то пошевелился, и молодой женский голос негромко и протяжно произнес:

— Прячься не прячься — все равно найдут.

Поливанов, не видя, ощутил, какой смертный испуг лег на лицо соседа. Хмель с него как рукой сняло.

— Что спяну не наплетешь... — пробормотал он. — Чего я тебе тут брехал? Ох, зелье проклятое.

Он встал и, перешагивая через чьи-то ноги, спотыкаясь о мешки и корзины, пошел вдоль вагона. Доверил ли он себя и свой драгоценный паспорт тмени другого вагона? Или спрыгнул на ходу в ночную метель? Побрел до ближайшего полустанка или заночует в лесу?

— Черт бы вас побрал, сударыня, — сказал Поливанов, — простите, не имею чести вас знать, зачем вы это сделали?

Ему не ответили. А утром женщина ловко, никого не задев, спрыгнула с полки. На ней были аккуратные бурки и новенький коричневый полушубок. Круглолицая, румяная. Густые черные брови над прозрачными серыми глазами. Ей было лет двадцать пять.

— Зачем вы это сделали? — спросил он снова.

— Захотела и сделала. Надоело дрожать мелкой дрожью.

— И вы решили отточить свое мужество на загнанном, смертельно испуганном человеке?

Они шепотом кричали друг на друга, будто спеша выложить друг другу все, что накопилось за долгие годы тяжелого, сварливого брака. А вокруг просыпались, зевали, гремели кружками, шуршали бумагой, разворачивая съестное.

— Ну, чего дорогу загородили?

— Дай чайник поставить. Плеснуть тебе кипяточку?

— Братцы, соль забыл. У кого есть?

Она взяла с верхней полки рюкзак, вынула из бокового кармана несессер и полотенце. Рюкзак был зеленый, замшевый. Все в нем было толково прилажено: его можно было надеть на плечи, можно было, как сумку, нести в руках. Он был бы очень уместен в Москве. Но как дико он выглядел здесь. Отвернувшись от Поливанова, девушка снова кинула рюкзак наверх и пошла умываться.

Потертые шубейки, засаленные ватники, выдавшие виды полушубки. Валенки в заплатках, разбитые на многих дорогах башмаки. Кованые сундучки, плетеные корзинки, неуклюжие брезентовые заплечные мешки... И ее зеленый замшевый рюкзак. Аккуратные бурки, заграничный полушубок... Несессер на сверкающей молнии. Запах дорогого мыла... Ее московская речь. Все это было не к месту. Из другой жизни. Гм... Рюкзак большой, а пуст. Она в нем что-то везла и ношу свою где-то оставила.

Она вернулась, мельком взглянула на него злыми беличьими глазами. На лавке потеснились, она села на краю и принялась глядеть в окно. И он вдруг понял, что она недаром попала сюда в своей городской одежде, в эти места, где на несколько километров тянется колючая проволока. Что и у нее, как и у ночного соседа, есть какая-то своя жестокая забота. Она, как и он, тоже боялась и говорила сейчас наперекор страху и отчаянию.

Он встал, подал ей кружку с кипятком и тихо произнес:

— Простите меня.

Она опустила плечи, как будто, попросив прощенья, он лишил ее единственного оружия.

— Вы ездиле на свидание? — спросил он одними губами.

— К маме,— ответила она, отвернувшись. И не сказала больше ни слова.

Они приехали в Свердловск после полудня. Он снял с полки диковинный рюкзак и приладил его ей на плечи. Рюкзак был легкий, почти пустой. Они вместе вышли, и она, все так же не глядя, поспешно простилась.

— Спасибо, не надо, не провожайте,— и тотчас затерялась в толпе.

Он спрашивал себя: как это он не догадался сразу? У него бывали такие встречи и раньше в этих краях. И они будили в нем мысли, давно уже лежавшие где-то в мозгу неподвижным клубком. Он не распутывал этого клубка. Не хотел. А клубок становился все тяжелее, с каждой поездкой.

Если есть в жизни огромные пласты, которых нельзя касаться, стоит ли вообще писать? Если нельзя писать обо всем и всю правду — стоит ли писать о чем бы то ни было? Стоит ли пробиваться на газетную страницу с той каплей правды, которую разрешит тебе твой редактор? Будем справедливы, Поливанов, дело не только в трусости твоего редактора, хотя он, конечно, трус и больше всего на свете дорожит своим местом. Так вот, стоит ли биться на своем жалком пятачке, если это ровно ничего не изменит?

Но он знал: это говорит в нем трусливая, усталая сторона души... И он уже давно сказал себе: все, что в твоих силах,— делай.

* * *

— Саша, помажь-ка его йодом!

Митя держал за плечо мальчишку лет двенадцати. Руки, шея, все лицо у мальчишки было в глубоких царапинах. По правой щеке от виска до подбородка ползли струйки крови. Он то и дело отирал щеку и подбородок рукавом синей рубашки — и не успевал. Кровь капала со лба, заливая ему глаза.

— Йодом! Его перевязать надо с ног до головы! Где тебя так изукрасили? — говоря это, Саша быстро приготовила раствор марганца и промыла мальчику лицо и руки.— Можешь кричать,— сказала она.— Больно же.

Но он молчал. Он молчал, когда на него вылили целый пузырек йоду.

Саша расстегнула ему у ворота рубашку и увидела на голой груди синие полоски, как на тельняшке. Она быстро застегнула пуговицу, сделав вид, что ничего не заметила.

— Ну, слава богу, шея и грудь целы! — сказала она.

— Это его мальчишки так? — сказала Аня неуверенно.

— Нет, так мальчишки не дерутся. Это что-то другое,— сказал Митя.— Ну,— он поставил мальчишку меж колен и приблизил глаза к его изуродованному лицу,— ну, давай начистоту: что с тобой приключилось?

— Его зовут Женя,— промолвила Аня, словно это что-нибудь объясняло.

— Ладно, оставим его в покое. Давайте поьем чайку и, вообще, поразвлечемся. Согласен?

Он молча кивнул.

— Тебя ответит Дмитрий Александрович. И поговорит с твоей мамой,— сказала Саша.

Он опять не ответил, но так шевельнул бровями, что Саша поняла: разговор будет не из легких.

А Митя между тем открыл Андерсена и стал вслух читать «Русалочку». Саша насторожилась, она знала, что это затея небезопасная. Дети слушали вовсю, всеми потрохами: Катя, Аня, исцарапанный

мальчишка. Катя сидела вытаращив глаза и полуоткрыв рот, Анюта, как всегда, слушала забравшись на стул с ногами и опершись щекой на руку.

«Знай также,— продолжала ведьма,— что, если ты примешь человеческий образ, тебе уже не быть русалкой никогда... И если принц не полюбит тебя так, что ради тебя забудет отца и мать... ты не обретешь бессмертной души».

— Зачем это забывать отца и мать? — говорит Катя. — Я вас никогда не забуду.

— Не мешай,— говорит Митя и продолжает читать: — «Если же принц возьмет в жены другую, то на первой же заре после их брака сердце твое разорвется на части и ты превратишься в морскую пену...— Пусть,— проговорила Русалочка и побледнела как смерть».

Не успел Митя дойти до этих слов, как случилось то, чего ждала Саша, Катя заплакала и закричала:

— Зачем ты читаешь такую книжку? Такую злую книжку?

— Если ты будешь вопить, я больше не стану читать,— сердито говорит Митя.

— А я и не хочу слушать про таких ведьм!

— Тогда убирайся! — подает голос Анисья Матвеевна.

— Я не хочу убираться.

— Тогда слушай.

И Митя беспощадно продолжал, а Катя слушала, мучаясь и страдая, как Русалочка выпила огненный напиток и упала замертво. Как потом с каждым ее шагом ей чудилось, будто она наступает на иглы или острые ножи. С трудом, под Катины вопли, Митя перевалил через жемчужную нить принца и добрался, наконец, до воздушных созданий, которые обещали Русалочке бессмертную душу.

«У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут заслужить ее себе добрыми делами,— читал он.— Триста лет мы 열심히 делаем добро, а потом получаем в награду бессмертную душу...»

— Триста лет очень долго! — плача, говорит Катя.

— Твое пожелание учтено, слушай... «Может быть, и раньше! — прошептала одна из дочерей воздуха.— Невидимыми взлетаем мы в жилища людей, где есть дети,— слушай, Катерина! — и если находим там доброе, послушное дитя, которое радуется своим родителям и достойно их любви, то улыбаемся,— и срок нашего испытания сокращается...— из нашего трехсотлетнего срока вычитается год. Если же мы встречаем злого, непослушного ребенка, мы горько плачем,— и каждая слеза прибавляет лишний день к долговому сроку нашего испытания».

— Брехня! — сказал Женя.

— Ну вас всех в болото! — с сердцем сказал Митя. — Вам читать, это просто каторжный труд, какая-то казнь египетская. Вместо того чтобы слушать и наслаждаться...

— Митя,— неожиданно перебивает Анюта,— «Ганс» — это немецкое имя?

— Немецкое!

— А как же тогда Ганс Христиан Андерсен? — испуганно спрашивает она.

— Слушай, Анюта, опять ты развиваешь свою порочную идею. Сколько раз я тебе объяснял, что немец и фашист это не одно и то же.

— Андерсен — датчанин. Есть такая очень хорошая маленькая страна — Дания,— отзывается Саша, понимая, что отдать Ганса Христиана немцам Анюта не может.

— Эх,— говорит Анисья Матвеевна, собирая со стола грязную посуду,— ни один мужик того не стоит, чтоб из-за него отца и мать забыть,

строит дом из кубиков и пробует слова на вкус: — Снегирь... — шепчет она, — снегирь... а дети его снегирьки, снегурки... Дочь снегиря — снегурка... снегурочка... Папа, ты читаешь, но я хочу тебя спросить...

— Спрашивай.

— Что такое циркуль?

— Это такой инструмент, помогает рисовать круги.

— Так это блюдо? Почему ты смеешься? Папа, мама, давайте играть в домино. Если я проиграю, то не буду жадной и ябедой. А если вы проиграете, то купите нам с Аней полпуда конфет и тысячу порций мороженого.

— Катька, помолчи, — говорит Аня, — мама, а можно я другое сочинение напишу? Я хочу написать сочинение «Что бы я сделала, если бы я была невидимка». Можно?

Саша кивает, и Анятосклоняется над тетрадь.

— Что ты читаешь? — спрашивает Саша, заглядывая в Митину книгу.

— Это новая повесть Голубинского «Широкие дали».

— И как?

— Скучновато. Мне в этой повести не хватает освежающего дыхания отрицательного героя.

— Гм... Тут есть какая-то загадка. Ведь, в сущности, зачем человеку недостатки? Ведь они его не красят. Но в «Трех мушкетерах» я Атоса люблю, он такой шалый и выпивает, а в остальных частях только и делает, что произносит благородные речи, и до того становится невыносимый, просто беда.

— Готово! — кричит Женя. — Слушайте!

Он встает и, как дирижер, взмахивает рукой.

«И вот мне исполнилось двадцать восемь лет, — читает он дрогнувшим голосом. — А я уже окончил Академию Жуковского и стал испытывать реактивные самолеты. И вот я лечу на самолете. — Женин голос крепнет. — Мой путь проложен через пролив. И как раз на этом проливе у меня отказали рулевые управления, а без управления самолет как птица без крыльев. И вот мой самолет полетел в море. Я — человек не трус (в Женином голосе металл!), и я сразу сообразил, что мне нужно быстро прыгать с самолета на парашюте, но вдруг я вспомнил, что не взял резиновой лодки. Я глянул вниз и ужаснулся. Мой парашют опустился прямо на кита. Что же делать? Смотрю, в боку у кита торчит гарпун. Я быстро вытащил финку и быстро обрезал стропы парашюта и быстро полетел вниз на спину киту, а спина у кита скользкая, и я поехал вниз к гарпуну. Счастье мое, что я зацепился за гарпун. И тут вдруг я заметил китобойное судно. Меня быстро вытащили».

— Прекрасное сочинение! — сказала Саша. — Завтра отдашь его учительнице, а про то она забудет.

— Как же, забудет! А правда, это — хорошее? Вы бы что поставили?

— Пять!

— Пять?! У меня сроду пять за сочинение не было. Честное слово, поставили бы пять?

— Честное слово!

— Вот поэтому-то Александра Константиновна и не учительница, — сказал Митя. — Ну, Анята, давай свое сочинение.

— У меня очень мало, — ответила Анята, — может, не надо читать?

— Я тоже придумала сочинение, — говорит Катя, — вхожу я в сад и вижу: на всех кустах растет эскимо — шоколадное и сливочное. Я срываю эскимо и сразу же вырастает новое — клубничное и земляничное. Хорошее сочинение?

— Превосходное!

Митя взял Анину тетрадку и тихонько потянул к себе.

— Ну ладно,— сказала она, махнув рукой,— читай! Только оно маленькое и плохое.

Сочинение и правда было очень маленькое, всего четыре строчки: «Если бы я была невидимкой, я бы пошла ночью в большой лес и увидела бы всех зверей, когда они идут на водопой».

* * *

«1 сентября 1949 года.

Нынче Катя проснулась в пять часов утра. Прощаясь со мной на школьном дворе, сказала сдавленным голосом:

— До свиданья, мамочка, передай привет папе.

Учительница вышла к ребятам веселая, смеющаяся. Ей лет двадцать, не больше. Похожа на старшеклассницу. Очень славная и улыбается хорошо. Катя так счастливо сияла в ответ, что я чуть не ослепла, глядя на нее.

Катя: — Мама, мне наш физкультурник не нравится. Он очень грубо кричит, вот так:

— Р-р-рав-няйсь! Стано-вись!

— Дурочка, так ведь это команда! Разве можно командовать тихо?

— Не тихо, конечно, но зачем так грубо? Можно так: равняйсь! Становись! (Эти слова Катя произносит ласкательным, почти просительным голосом). Нет, он мне не нравится!

Дедушка: — Что это у вас такой плохой замок? Обокрадут вас, смотрите!

Катя, с укоризной: — Дедушка, в нашей стране — воры?

Анисья Матвеевна: — Ну вот, пожалуйста, уже и воров отменила. Как она у вас на свете жить будет?

Катя: — Ох, мама, и ругала нас Татьяна Сергеевна! Что мы класс подметаем плохо! Самыми последними словами ругала — и аристократами и по-всякому...

Завтра Аня с Женей пойдут слушать «Евгения Онегина». Поэтому Митя пересказал им содержание, а потом прочитал вслух некоторые куски. Катя тоже слушала и очень внимательно.

Митя: — Онегин сказал Татьяне, что не любит ее...

Катя, в ужасе: — Так и сказал?

Когда Митя читал сцену дуэли, Катя в отчаянье зажала уши.

Слушая: «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами...», она сказала мстительно: «Так ему и надо!»

Женя слушал сдержанно, молчал.

— Понравилось тебе? — спросила я, когда они вернулись из театра. Он ответил:

— Стреляли здорово».

— Вот что, друг мой,— сказала Марина Алексеевна запальчиво,— у вас нет самого главного: уверенности в себе. Человек всегда должен понимать, чего он стоит. И угадывать в себе самое сокровенное, то, чего другие в нем не знают и знать не могут.

— Впервые в жизни меня укоряют в недостатке самоуверенности,— ответил Поливанов насмешливо.— Когда я был на своем месте...

— Я сейчас не о самоуверенности говорю, а о самостоятельности мышления. Вас никто по-настоящему не видит. И вы себя не видите и не понимаете. И то и дело называете себя фотокорреспондентом. И другим это хотите внушить. А это чушь, понимаете, чушь!

— Кто же я, по-вашему? — с любопытством спросил Поливанов.

— Вы — чистой воды очеркист. Но это еще не все. Вы можете написать прекрасный сценарий, я в этом убеждена: у вас очень точный и хороший диалог.

— Диалог — это еще не все...

— Ну, разумеется, не все. А знаете, когда я вдруг отчетливо поняла, что вы очеркист? Когда сравнила вашу корреспонденцию о сормовском заводе и кемеровскую корреспонденцию Локтева. Вы оба написали совершенно на одну и ту же тему, но у него — сухая статья, а у вас — художественный очерк. У вас люди, события, судьбы и свое я. Я говорила вам об этом давным-давно, еще после Подгорска. Не безликое газетное «мы», а очень личное «я». А это важно. Тем более, что думаете вы нестандартно и видите свежо.

Комната, где они сидели, была просторная, светлая, с легкими занавесками на окнах. Низкий диван, низкий круглый столик, два кресла да книжные полки — вот и вся мебель. Абажур самодельный, бумажный, разрисованный чьей-то легкой, небрежной кистью: кленовые листья вперемежку с темными силуэтами летящих птиц. Теплый свет сочился сквозь толстую пергаментную бумагу, и красные листья, и темные птицы казались прозрачными.

Зачем она говорит все это? — сказал себе Поливанов.— Думаю я стандартно и вижу несвежо. И мой очерк ничуть не лучше локтевского. Уж я-то знаю!

— Да, видите вы свежо и нестандартно. Чего же вам недостает? Смелости! Только смелости!

— Марина Алексеевна, кто вам сделал этот абажур? — спросил Поливанов.

— Сама. Зачем вы переводите разговор? Я ведь очень хорошо понимаю: вам важно услышать то, что я говорю. Именно эти слова нужны вам, чтоб на них опереться.

— Ну, полно,— ответил он,— я и сам о себе все знаю.

— Ах, вы хотите еще, вам мало? Извольте: вы — человек талантливый, но еще себя не до конца выразивший и...

Поливанов засмеялся и подошел к окну. На дворе под липой стоял большой стол, и молодые парни, с азартом ударяя костяшками, играли в козла.

— Сел! Ого-го! Сел! — доносилось со двора. А из глубины комнаты слышался спокойный и немного насмешливый голос:

— Самое легкое из того, что мы можем,— это отойти, отказаться, устранимся... Вы меня слышите, Дмитрий Александрович? Не хотите ли рюмку коньяку?

— Нет. А впрочем, пожалуй.

Своей легкой и твердой походкой она вышла из комнаты и вернулась с маленьким подносом, на котором лежали бутерброды и стояла бутылка коньяка.

— Ну что ж, за вашу удачу, за вашу уверенность! Это — единственное, чего вам недостает. Да, все забываю вам сказать: у вас прелестная жена.

Поливанов вскинул глаза.

— А почему вы заговорили о Саше?

— Ее зовут Саша? Я вспомнила о ней потому, что думала о вас. Вы счастливый человек. У вас все есть: славная жена, милые дети. Старшая похожа на вас, а младшая, пожалуй, меньше.

— Она в нашу армянскую родню, в деда,— сам удивившись «нашей армянской родне», ответил Поливанов и сдвинул брови.

— Вы не познакомили меня с женой. Но я запомнила ее на новогодней елке. Она была с обеими девочками. Кто она по специальности? Кажется, медсестра? Почему бы вам не подумать о том, чтоб она кончила вуз? Вот, встаньте на ноги, и это окажется легко, она сможет учиться.

— Что вы имеете в виду, когда говорите «встать на ноги»?

— Встать на ноги или, точнее, проявить себя до конца — это ваш долг не только перед самим собой, но и перед своими близкими.

Она говорила твердо и уверенно, глядя ему в глаза. И он ответил:

— Вы правы. Я не много сумел ей дать. Заботу. Тревоги. А радости — маловато. Только — прошу прощения — я не хочу об этом говорить.

— Выпьем, Дмитрий Александрович,— сказала она,— и давайте работать.

— Да, я отнял у вас много времени. Но я принес готовый план полосу, взгляните...

Он открыл блокнот, перелистал его. Она деловито села рядом, и он разложил перед ней листки, исписанные крупным четким почерком.

— Знаете, какой я придумал заголовок? Вы сейчас меня снова похвалите...

Она засмеялась и сказала:

— Валяйте, люблю хлесткие заголовки.

Они склонились над столом, перебивая друг друга, захваченные общей работой.

— У вас почерк лучше, писать будете вы,— сказала она.

Время шло. Во втором часу ночи он вдруг опомнился и взглянул на часы.

— Ох, простите! Где у вас тут телефон? — сказал он с тревогой.

Взял трубку, набрал номер и сказал виновато:

— Сашенька? Не беспокойся, я сейчас выхожу. Нет, нет, не встречай, я не из редакции. Я от Марины Алексеевны, это на другом конце города. Что? Леша приехал? Чудесно! Иду!

(Окончание следует)



СТИХОТВОРЕНИЯ И БАЛЛАДЫ

* * *

Не спрятанные прочно на замок
Рукою скопидома и сквалыги,
Исчерченные вдоль и поперек,
Люблю до дыр зачитанные книги.

Все — в поисках (оставивших свой
след)
То правды, то взаимопониманья,
В красноречивом множестве примет
Читательского строгого вниманья.

Где столько лиц склонялось над
листом,
Что автор как бы скромно отступает,
И, даже сам не ведая о том,

Читатель с ним в соавторство
вступает.
Где никогда не гаснет интерес,
Где места нет досужим пересудам,
Где некий термоядерный процесс
Все время совершается под слудом.

Невзрачный том, затрепанный на вид,
Опущенный на девичьи колени.
Как много мыслей и тревог таит
Поставленное ногтем nota bene!

Обложки, облетающие с книг,
Листы, табачным пахнущие дымом...
О, если б оказаться мне на миг
Таким же для людей необходимым!

Баллада о вечной бессоннице

Из цикла «Современные баллады»

Рекламы в небо мечутся,
Бросая людям вызов.
Закрывают шторы наглухо,
Погашен телевизор.
Фонарь в подъезде светится
Дремотно и устало,
Как будто им проглочена
Таблетка нембутала.
Летит планета спящая
По заданной орбите.
Военный летчик Изерли,
Чего же вы не спите?
Такая пытка, кажется,
Почти невыносима:
Опять перед вами в сумраке
Пылает Хиросима.
Огонь бежит по улице,
Подергиваясь жутко,
Как человек, от ужаса
Лишившийся рассудка.
Живые вместе с мертвыми
Лежат в одной могиле,
Мечтая, как о милости,
Чтоб их похоронили.
Идут, шатаясь, женщины,
Идут, как скорбь немая,

Лохмотья обгорелые
Стыдливо прижимая.
Бредет толпа в отчаянье,
Смутна и молчалива.
И только мгла колышется
Над эпицентром взрыва...

Вы всё в уме считаете,
Вы бром, как воду, пьете.
Напрасные усилия —
Вы нынче не уснете.
И вот по черной лестнице,
Что вам давно знакома,
Вы ото всех украдкой
Выходите из дома.
Вы ловко заматаете
Свой след как можно чище.

Теперь в огромном городе
Сам черт вас не отыщет.
Пусть пропадет все пропадом.
Сегодня вы не в духе.
Напрасно улыбаются
Ночные потаскухи.
Вы смотрите с безразличностью,
По городу шагая.

И вас совсем не радует
Любовь недорогая.
В бутылках с этикетками
Мелькают чьи-то лица.
Но вам сегодня, Изерли,
Не хочется напиться.
Залезть ли вам к миллионщику,
Алмазом взрезав окна,
Иль, может быть, на улице
Кого-нибудь приокнуть.
Вступить ли в бой с полицией,
Ведя огонь с колена.
Иль просто двинуть по уху
Мордатого бармена.
Иль, может, рваной тряпкою
Заткнувши рты пижонам,
Пошарить в сейфе взломанном
Фонариком зажженным?

На площади, где светится
Дежурная аптека,
Скитается Раскольников
Космического века.

Еще и ночь не минула,
Но вас уже хватились.
Уже по следу вашему
Несется черный «виллис».
Слепя вас, будто молнии,
В лицо вам светят фары.
Ату его! Ату его! —
Гогочут санитары.
С глубоким знанием техники,
По правилам науки
Вам люди в белых фартуках
Заламывают руки.
И вот вы снова в намертво
Привинченной кровати,
В особом отделении,
В тринадцатой палате.

Вам местные хозяева
Не делают поблажки.
Они кладут вас баиньки
В смирительной рубашке.
Чтоб вы лишились памяти
И стали вновь покорным,
Вас пеленают в простыни
И пичкают снотворным.
Над полутемным городом
Луна стоит в зените.
Военный летчик Изерли,
Чего же вы не спите?
Как в годы затемнения,
Висят на окнах шторы.
Склонившись над баранками,
Уныло спят шоферы.
Спят мойщики автобусов,
Спят фабриканты стали.
Спят те, кто с этой бомбою
В полет вас посылали.
Спят гангстеры и маклеры,
Пройдохи и прохвосты.
Под маской косметической
Уснули кинозвезды.
За целый день измаявшись,
В отеле спит прислуга.
Все города уснувшие
Похожи друг на друга.
А вам опять мерещится
В багровом нимбе дыма
Распятая, разбитая
Слепая Хиросима.
Бредут ребята стайкою
В потоке человечьем,—
И так глаза их выжжены,
Что им и плакать нечем.
На базах спят ракетчики.
Спит каждая квартира.
Лишь вы не спите, Изерли,—
Большая память мира!

Клоун

Ю. Никулину

Башмаки «Скорород»,
Пиджачок полинявший и тесный.
У Никитских ворот
Повстречался мне клоун известный.

Ваш сосед или так,
Никому не знакомый прохожий.
Кто он, этот чужак,
На афиши свои не похожий?

Может, бывший студент,
Иль начальник, убавивший в весе,
Или просто агент
Из бюро похоронных процессий?

То, как жизнь не проста,
Вы могли б догадаться едва ли,
Лишь морщинки у рта
С головою его выдавали.

Да похожий на бег,
Этот шаг с косилапкой малость,
Вызывавший не смех,
А скорее щемящую жалость.

Да упрямый вихор,
Что торчит, гребешком неприглажен
Да еще этот взор,
Как у волка, когда он зафлажен.

Шляпы старый фасон,
На штанах мешковаты колени.
Как поверишь, что он
Вечерами царит на арене?!

То невесть отчего
Он замрет и о чем-то мечтает,
То себя самого
Он с манежа метлой замечает.

То он тащит ковер,
Как большой муравей, озабочен.
И звенит до сих пор
У него в голове от пощечин.

И беспечный на вид,
И беду за улыбкою спрятав,

Отовсюду глядит
Он на нас с трехметровых плакатов.

Пусть проходят года,
Как вода
по неведомым руслам.
А смешное всегда
Неизменно соседствует с грустным...

Три стихотворения из африканской тетради

Африканские рынки

Если взять без разбору и перемешать воедино
Все — от жженой сиены до огненного кармина,
Все оттенки света и все разновидности мрака,
Все — от хрома до охры, от сепии до краплака,
Все тона океана и все его перемены,
Голубое свеченье и белое бешенство пены,
Если все эти краски взболтать в керамической кринке,
То и тогда вы себе не представите африканские рынки.

Будет ваша картина, конечно, неполною, ибо
Надо лично понюхать, как пахнет гниющая рыба,
Надо ясно представить, как пышет от камней жарюю,
Как песок перемешан с банановой кожурою,
Как плоды задыхаются от подступившего сока,
Как торчит из рогожи мясистая маниока,
Как гигантские тыквы разрублены на половинки,—
Но и даже тогда вы себе не представите африканские рынки.

Нужно, чтоб хоть однажды вы услышали сами,
Как ребята перекликаются птичьими голосами,
Как орут иступленно полногрудые тетки,
Будто в эту минуту их поджаривают на сковородке,
Как приезжие здесь часами толкутся без цели,
Как нахваливают себя мастера деревянных изделий,
Как здесь плещутся ткани — от нейлона до скромной сарпинки,—
Но и так все равно вы себе не представите африканские рынки.

Если вместе поставить отчаянье рядом с мечтою,
Все излишества Юга, соседствующие с нищетою,
Взгляд красивого юноши — с выжженным старостью взглядом,
Песню дряхлого нищего — с новою песнею рядом,
Всю сердечность улыбок, как солнце за тучкою хмурой,
Вдруг сверкающих вам ослепительной клавиатурой,
Все их прошлое — с будущим, встретившееся в поединке,—
Не трудитесь, все равно вы себе не представите африканские рынки!

На развалинах Карфагена

Обжигает горячий ветер
Исцарапанные колена,—
Как бесстрашно играют дети
На развалинах Карфагена.

Как притих он от удивленья,
Будто видит сквозь эти щели
Новой армии наступленье,
Не известной ему доселе.

Смотрят стены старинной кладки
В лица варваров незнакомых,
Что решились затеять «прятки»
В этих трещинах и проемах.

Что им этот замшелый камень,
Что им времени боль тупая?!
Мчатся мальчики,
башмаками
На Историю наступаая.

Пробегаю по шатким сходям,
Иль укрывшись в глухом овражке,
Хорошо им играть сегодня
Со столетиями в пятнашки.

Смех их ясен, и взор их светел,
Беззаботность их откровенна.

Увлеченно играют дети
На развалинах Карфагена,—

На фундаментах старых стоя,
По обломкам бродя карнизным
С беспощадною прямою
Восьмилетнего эгоизма.

Что же такое Африка?

Так что же такое Африка?

Быть может, это куст ризофоры, вцепившийся в берег упрямо,
А может быть, это голый парень, стучащий в кожу там-тама,
А может быть, это ночь с голосами гиен, захлебнувшихся в смехе,
Или Африка это девчонка, с грудью крепкой, как кокосовые орехи,
Или это большая сейба, под ветвями которой расположилось селенье,
Или же это печь, в которой обжигаются будущие поколенья,
Или это земля, где зной напоминает порою стужу,
Или это женщина, ежегодно приносящая двойню мужу,
Или это молочный сок, что течет по стволу из надреза,
Или это маленький бог из дерева тяжелого, как железо,
Или это поющий бамбук, снабженный только одной струною,
Или это черноголовый малыш у матери за спиною?..
И все-таки что же такое Африка?
Может, это яростный ритм, что в сердцах их живет постоянно,
Или это статуи прежних властителей, грудой сброшенные у океана,
Или это таинственный Южный Крест, чуть светивший мне до рассвета,
Или это первая в Конакри говорящая правду газета,
Или это музыка напряженных рук, или спин пропотевших глянец,
Или это танец, упорный, как труд, или это труд, красивый, как танец,
Или это Атлантика, обдававшая нас бесноватой своею пеной,
Или это тропическая гроза, так похожая на конец вселенной,
Или это океанский прибой, не знающий ни минуты покоя?
Так что же такое Африка, что же это такое?

Волнуйтесь!

После взятых Бастилий
Неужели сдаваться?
Вот и мне запретили
Доктора волноваться.

Помаленечку горбясь,
Жить с согбенной спиною,
Лицемерье и подлость
Обходя стороною.

Если силы иссякли,
Ограничиться малым,
Посещая спектакли
Со счастливым финалом.

Быть не слишком горячим
И не очень веселым,
Научась неудачи
Запивать валидолом...

Хуже медленной смерти
Прозябанье на свете.

Вы не верьте, не верьте
В предписания эти.

Жизнь, как новую повесть,
Начинайте с абзаца,
Прямо с ходу готовясь
В эту драку ввязаться.

Пробивайтесь сквозь ветер,
Как тропинка крутая,
Горе ваших соседей
Вашим горем считая.

Коль обиженный плачет,
Проявляйте нервозность,
Дайте недругу сдачи,
Не взирая на возраст.

Не робея, любуйтесь
Распахнувшейся бездной
И волнуйтесь, волнуйтесь —
Это очень полезно!



СЧАСТЛИВАЯ

ПОВЕСТЬ

День выдался серый, сырой и неуютный. С неба сыпалась какая-то пакость — не то снег, не то дождь. И холодная скользкая жижа упорно стекала по трем скошенным ступеням в землянку. Поначалу танкисты пытались вычерпывать уличную слякоть, пробовали присыпать землей, потом махнули рукой: не сладить, пусть течет. Перекопали канавку у порога, чтоб дальше не текло, и перебрались в дальний угол своей земляной норы-дома. Тут и сухо, и не дует, и «буржуйка» дровишками потрескивает. В общем, как сказал башнер танка номер двести пятьдесят четыре, «почти тепло, почти светло, и мухи ни за что не покусают». Не очень новсе и не очень оригинальное выражение, но все устали, продрогли, а башнер за неделю своего пребывания в батальоне уже заработал рекомендацию парня задиристого и неумного, а потому возражать ему не хотелось.

Странный был парень башнер. Длинный, тощий, гимнастерку ему никак не подогнать. Если по шее мерить, так рукава до локтей. Если по длинющим рукам, то шея в ворота болтается — тоже не по форме. Глазки маленькие, черненькие, нос мясистый, картошкой. Что и говорить, ни красавцем, ни богатырем не назовешь. Зато гонору сколько! Только и слышно: «Вот я, вот мы...» Прихвастнуть кто не любит! Но если ты пришел в прославленный, да еще гвардейский батальон, а сам не гвардеец даже, — помолчи. Покажи себя сначала, каков ты есть в бою, потом уж распространяйся о своих прежних подвигах.

Давно бы перессорился со всеми новичок, да была у него одна особенность — улыбка. Заврется парень, зарапортуется, только его кто-нибудь оборвать вздумает, а он улыбнется добродушно, обезоруживающе и сразу же: «Да что вы, ребята, я ведь новенький у вас. Если что не так — не взъщитесь, по незнанию». А у самого от той улыбки физиономия симпатичнейшая становится.

Так и сходили ему с рук и бахвальство, и даже грубость: новеньких положено встречать добром, такая в батальоне традиция.

Но фамилию свою и имя он потерял, если не навеки, то надолго: прозвали его Новеньким. И так к нему это прозвище прилипло, что даже командир взвода однажды приказал: «Позовите ко мне младшего сержанта Новенького».

Танковая бригада после тяжелых боев была выведена на короткий

отдых. Землянки людям и маскировочные ямы танкам достались в наследство от немцев: здесь в рощах, полукольцом охватывающих село, всего несколько дней назад и, видно, длительное время стояла немецкая танковая часть. Землянки большие, с нарами, печкой и самой настоящей вытяжной трубой. Дров не занимать — деревья кругом. Печка жаркая, кипятки в котелке приятно побулькивает. Впереди неделя, а то и две отдыха. Все бы хорошо, не будь на дворе слякоти и не лезь эта слякоть в дом.

— Брр, холодно-то как. Сейчас бы сверх положенных ста граммов — еще сто пятьдесят, да не водки, а чистейшего, благородного спиритуса виниуса, — мечтательно проговорил Новенький. Он сидел на поленнице, весь как бы сложившись втрое — острые коленки под подбородок.

— Эка захотел, — лениво откликнулся рыжий рябоватый танкист в кожаной куртке и, что самое замечательное, в таких же хромовых штанах — предмете гордости рыжего старшины механика-водителя и зависти чуть ли не всего батальона. Костюм этот из черной, потускневшей от времени кожи и настоящий медный котелок привез старшина, вернувшись из госпиталя. Дед приезжал к раненому внуку — его подарок, старого большевика, бойца Первой Конной.

История этого костюма давно известна всему батальону. Но старшина не уставал ее повторять, а танкисты — всякий раз удивляться.

Что и говорить, удивительная история. Сначала даже не очень верилось в ее простую, трогательную правду. Тогда старшина написал деду, и старый буденовец прислал копию хранившегося у него документа: официальная бумага и необыкновенная. И написано в той бумаге черным по белому, что боец такой-то «проявил мужество и отвагу в борьбе с белогвардейскими бандами и за свои геройские подвиги награжден вторым орденом Боевого Красного Знамени». Дата — тысяча девятьсот двадцатый год. И подпись: М. Фрунзе.

А ниже приписка: «По желанию награжденного орден заменен кожаным обмундированием».

Прочитали и тогда только поверили. И никто не смеялся, если рыжий старшина даже в летнюю жару не снимал своих кожаных доспехов. Понимали: дедовский орден нельзя так вот взять и попросту запихать в мешок, как портянку.

— Погреться... неплохо бы, — мечтательно проговорил старшина. — Где его возьмешь-то, твой спиритус?

— Где? Вот чудило. Конечно, у санинструктора. Видел я тут одну. В деревню пошла. Белобрысеньякая, лупастенькая, ни дать ни взять — кукла. Как звать ее, не знаю. Сами понимаете, у вас я без году неделя, товарищей не всех по именам запомнил, до бабы, понятно, дело не дошло. Фляжку у нее приглядел. Градусы в ней есть, это точно.

Новенький не заметил, что в землянке внезапно стало очень тихо.

— Где ты градусы обнаружил? До какой это бабы у тебя дело не дошло? Что у тебя за дело до этой бабы? — медленно, разделяя слова, с ударением на «бабе», спросил рыжий старшина.

— Что ты, какое дело? Я как раз и говорю, нет у меня никакого дела. Градусы — это я про водку, что в санинструкторовой фляжке. Видел, говорю, как пошла она в деревню. Догнать, что ли? Выпрошу спиритику на всех хоть по глоточку.

— А-а, вот оно что... — неуверенно протянул старшина. Ссориться ему не хотелось, и все-таки он счел необходимым сказать строго и назидательно: — Зовут нашего санинструктора Лидой, Лидией. Фамилия — Галанина. Звание — старшина. Запомнил? — И, подумав, примирительно добавил: — Не трать, куме, силы, не ходи в деревню. Не даст Лида спириту из своей фляжки. Нипочем не даст. Как ни проси.

— Тю на вас, — беззаботно присвистнул Новенький. — Что вы такие

за хлопцы, когда у вас никакого подхода к женскому полу нет? Я с этой самой Лидией уже почти договорился...

— Договорился? Ты? С Лидой? Врешь!

— Надо мне врать. Говорю — договорился. Не верите? В тот самый день, как в батальон прибыл. Она заставила меня проглотить какие-то профилактические таблетки. Я, конечно, до фляжки. «Что, говорю, у тебя там?» А она мне свободно так, без стеснения: «Спирт, — говорит, — для тебя припасла». — «Давай, — говорю, — коли для меня. Ишь ты, какая добренькая пухлявка». Она глазами своими как зыркнет, аж я оробел — всякие бывают бабы, которые и обидчивые. Ну, думаю, схлопотал я вроде бы оплеуху. А она ничего, усмехнулась только, да и говорит спокойненько: «Придет твое время, танкист, получишь из этой фляжки столько, сколько потребно будет. Только я тебе не желаю, чтоб время такое твое пришло».

— Дурило ты, дурило! Обыкновенный, мелкий, пошлый дурило, — покачал головой рыжий старшина. — Ничего ты не понял. Ни про Лиду, ни про ту фляжку. Да ты знаешь, что это за фляжка такая?

— Знаю, немецкая, трофейная. Ты не перебивай, ты послушай. Встретил ее сегодня, так она ничего — поздоровалась. Может, пришло мое время к той фляжке приласкаться, а? Пойду проведу санитарную куклу. Подходец у меня к ним свой: пять минут на комплименты — «ах, какие у вас глазки, ах, какая вы вся расчудесная» и в этом роде. То да се, глядишь, и дело сделано.

В землянке снова повисла недобрая тишина. Новенький почувствовал неладное.

— Что надулись-то? Из-за этой? Да что вы, ребята. Бабы они и есть всегда бабы. Хоть в ситце, хоть в крепдешинах, хоть и в хаки да сапогах, — все одно на жалкие слова падки. И эта...

— Погоди. Погоди, слышишь. — Рыжий старшина исподлобья глядел на Новенького желтыми, как у кота, глазами.

— Да ты что? Тю на тебя, — искренне удивился Новенький. — А-а, вот оно что! Значит, ты того... По-ни-маю. Так я ж не знал. Я новенький у вас, просветить надо бы, что и как.

На этот раз добродушная улыбка его не возымела действия. Танкисты угрюмо молчали. Рыжий старшина отвернулся — как будто его интересовало — потухнет слабый огонек в прогоревшей печке или войдет еще в силу.

— Вот не знаю, что делать, — раздумчиво проговорил наконец старшина. — Набить тебе морду или попробовать поучить словами — рассказать о нашей Лиде.

— Попробуй расскажи, — посоветовали из дальнего угла землянки. — Морду мы ему пощупать всегда успеём. Может, поймет человек, вроде бы не совсем дурной... Растет маль-



Ирина Николаевна Левченко — участница Великой Отечественной войны — в послевоенные годы окончила Бронетанковую академию и военно-исторический факультет Академии им. Фрунзе.

В 1952 году в Воениздате вышла ее первая книга «Повесть о военных годах», многократно переиздававшаяся впоследствии.

В 1957 году то же издательство выпустило сборник рассказов И. Левченко «Надежда». В 1958 году в издательстве «Советская Россия» вышла повесть «В скором поезде».

В журнале «Москва» были опубликованы очерки «Люди новой Германии», вышедшие затем книгой в Госполитиздате.

чик, не видишь — из гимнастерки весь вылез. Может, глупость — это у него возрастное.

— Что ж, попробуем, — сказал старшина тоном врача, приступающего к тяжелой рискованной операции. — Садись, Новенький, и слушай: что такое бабы вообще и что такое боевой твой товарищ.

Старшина по-хозяйски поковырял плоским немецким штыком угли в печке, подобросил березовые чурки. Синеватый огонек пробежал по сухой коре, вспыхнул.

— Я в нашей бригаде, можно сказать, чуть не самый старый ветеран. С первого дня, с самой формировки, и до сих пор. Два раза в госпитале лежал, оба раза в свою часть вернулся. У нас многие возвращаются. Помню все бои и людей многих и разных. Помню, как пришла к нам Лида.

Я в те дни состоял при штабе батальона. Танк мой сгорел, вот и использовали нас, «безлошадных», для караульной службы, а то и посыльными. Одно слово — «безлошадник». Сажу, покуриваю, жду, когда это меня куда пошлют, вдруг вижу — девчонка идет. Сама беленькая, волосенки в две косицы заплетены и на затылке бантиком связаны, глазки голубенькие. Таковую бы в кофту одеть расшитую, бусами разноцветными завесить да сарафан малиновый с цветами — красавицей была бы, хоть куда. Так нет, одета та девчонка в простое темно-синее платье с беленьким воротничком, а на ногах мальчишковые ботинки. В руке узелок, похожий на те, что бабки в церковь на пасху святить несут. Да и размером не больше.

Не знаю, с чего я на нее напал. Как вспомню, так сейчас еще стыд берет. Девчонка вежливо так меня спрашивает: как к командиру пройти, к самому старшему. А я, ну вожжа под хвост попала, чудится мне она в малиновом сарафане, так и вижу — поет девчонка и танцует... Ах ты, думаю, такая-сякая, нарочно старенькое платье надела, скромницей выставляешься. Бывает же так: сам выдумал ее, сам и обиделся за нее же. И говорю я ей эдак с издевочкой:

— Ах, какая птичка к нам залетела. Повернись-ка, дай я тебя огляжу. Не хочешь? Сам кругом обойду. Я же такую птичку давно не встречал.

Девчонка и глазом не моргнула. Только побледнела немножко.

— Довольно, — говорит. — Прошу прощения, что побеспокоила. Я думала, к серьезному человеку обращаюсь, — простите, ошиблась. Вы обыкновенный, злой, несознательный первоклашка!

Тут я совсем зашелся. Пожалуй, дошло бы дело и до громких слов, да комбат идет, а с ним комиссар.

Девчонка видит — командиры, — и к ним:

— Прошу меня выслушать. У меня важное дело.

Дело-то действительно оказалось важным: пришла она из того городка, в котором немцы были и который не сегодня-завтра нам отвоевывать у них. Принесла важные сведения о противнике, о численности его, об огневых точках. Где штаб, где посты — все рассказала точненько.

В бой за этот городок девушка пошла с нами, вроде бы за проводника. Знала она там не только всякую улицу, чуть не каждый дом. Учительствовала. Первый год, первый класс приняла. Самой-то всего девятнадцать лет от роду. Ориентеры у нее были свои, особенные. Она так и объясняла: «Пойдемте прямо, до дома с синими ставнями, Коля Прошин живет там, озорной мальчик, повернете налево в проулочек, там в погребе у Лены Соколовой — умная девочка, способная — немцы почти что дзот сделали...»

Вот так пришла к нам Лида Галанина.

Два с половиной года прошло. Всякое было. Сначала мы все, как

посказались, всем батальоном влюбились. Кто цветочки ей поднесет, кто сахарку расстарается. Некурящим вместо табаку конфеты давали. Так нашлись такие, что курить бросили, лишь бы Лиде конфеты поднести. Находились, конечно, и пошляки, вроде тебя: пришел, увидел, победил — комплиментчики.

Лида цветы принимала. Конфетку возьмет одну, спасибо скажет, а больше ни-ни. Пошляков ловко острым словом отбривала, вскоре перестали к ней приставать.

Прошло время, а с ним и глупость наша. И пришло большое, настоящее уважение к нашей боевой сестренке. Как не уважать: смелая, в бою всегда прямо за танками пешком бегаёт. Не знаю я, чтобы кто из наших раненых остался без помощи.

Помню один случай, который до самых небес поднял наше уважение к Лиде.

Бой был, в атаку пошли, да на минное поле попали. Один танк враз напоролся. Второй решил помочь: трос ребята выкинули, хотели зацепить и утащить подбитый танк. Да немцы как шарахнут по тому, по второму... Короче говоря, огонь, дым, из танка трое выскочили, все раненые, едва ползут. Четвертый только из люка голову высунул и обратно скатился. Лида, как всегда, поблизости была. Кинулась она к танку. Один из раненых ей вдогонку кричит: «Назад, сейчас взрыв будет!» Куда там, разве ее остановишь, если человека спасти надо. Лезет в люк, прямо в дым, — юркнула, и не видать.

Не знаю, как это ей удалось, — махонькая совсем, вроде бы и слабая, а ведь хватило сил: вытащила полузадохшегося, тяжелораненого командира танка. А на земле очутились — схватила она его за ворот куртки и потащила. Тут пехотинец какой-то подоспел, помог ей. Едва стащили раненого в овраг, танк и взорвался. Башню метров на двадцать в сторону отбросило. Задержись Лида на две-три минуты в том танке... Э, да что говорить. Башня-то — сколько в ней пудов? — пушинкой летела...

Волосы у Лиды и брови обгорели. А она смеялась: «Вот хорошо! всю жизнь хотелось брюнеткой быть — у блондинок внешность бесхарактерная. Люблю чернявых». Да-а, вот так...

Орден Лиде дали. Да не в ордене дело. Поверили танкисты в Лиду, до конца поверили. И опять стали носить ей конфетки, сахар — гостинцы разные. И Лида в нас поверила, принимала теперь гостинцы-то. От настоящих товарищей не зазорно девушке заботу принять.

Перед боем ребята так говорят: «Лида с нами — ничего не страшно». А иной добавит: «Гляди, в бою осторожней маневрируй, как бы нахлобучку от Галаниной не получить».

Было так: пошли в наступление, да неудачный бой для нас получился. После боя, как положено, — комсомольское собрание. Мямлили что-то ребята. Оправдываться не оправдывались. Да и вину признавать не хотелось. Всех винили: и немца — больно злой был; и пехоту свою — не поспела, не пошла, знать, следом за танками, залегла, окаянная; даже самого господа бога виноватили — погода, видите ли, поганая была, маневру по черноземному киселю никакого.

Берег слово Лида Галанина. Поначалу подробенько да спокойненько стала рассказывать, как она тот бой видела. Про каждый танк рассказала: как шел, как действовал. Ребята сидят, слушают, поеживаются. Мало радости, когда во всеуслышанье рассказывают, где ты вильнул, где голову в плечи втянул. Всякому охота себя героем не героем — боевым парнем видеть.

А Лида разволновалась. Глаза, что два синих огня, — как глянет на кого, так и пригвоздит к месту.

«Я, — говорит, — хоть только санинструктор, не танкист вовсе, а и то

понимаю, что так в атаку не ходят. Я около вас, неподалеку, по земле хожу — мне все видно. Вы не сердитесь, ребята, какой-то не по-нашему бой был вчера. Если мы так из оврага в овраг «маневрировать» будем, за всю жизнь не дойти нам до Берлина. Товарищи, говорит, родные мои, дорогие, не могла я вам всего этого не сказать. Комсомольцы мы, нам по комсомольскому уставу положено правду в глаза говорить».

— Поверишь ли,— продолжал старшина,— в первый и последний раз видели мы Лиду такой взволнованной,— спокойный она человек, уравновешенный, умеет себя в руках держать. А тут говорила, у самой слезы в горле закипали.

«Мне,— сказала,— даже перед немцем стыдно было. Что он о нас подумает, проклятый? Что мы и драться не умеем и не танкисты, а вовсе так себе, пшенная каша».

Во как сказанула. Но даже и тогда не обиделись мы на Лиду. В сердцах бухнула да и от сердца тоже. Так я говорю?

— Так, все так,— откликнулись с нар.— Ты там и про печку не забывай.

Новенький торопливо схватил немецкий штык, пошуровал в печке, подкинул полешек.

— Ты того, давай рассказывай,— просительно сказал он старшине.

— Да чего рассказывать,— будто нехотя откликнулся старшина.— Разве за все два с половиной года расскажешь?

— А ты покороче. Главное.

— Что ж. Еще, так еще...— снова будто нехотя согласился старшина, хотя всем в батальоне известно, что в двух случаях может он говорить без устали хоть в ночь, хоть в полночь: о дедовом ордене — кожаном обмундировании, и о Лиде.— Нет, не обиделись ребята на Лидины слова. Так и в резолюцию записали: «В бой иди честно, прямо и смело, как велит долг советского танкиста и комсомольская совесть, и не «маневрировать»».

Да, о фляжке... Фляжка у нее всегда полнехонька. Спирт там или водка — для раненых. Здоровому нипочем Лида не даст. Раненому,— пожалуйста, сколько надо — для разогрева крови. Называют у нас Лидину посудину — раневая фляга. Не зря она тебе на глупость твою сказала, что не желает тебе из той фляжки выпить.

Еще случай был. Не боевой, а как знать, может, для человека и потруднее еще. Отец у нее есть. Помпохозом в полевом госпитале работает, майор интендантской службы: Потерялись они. Отец на фронте, Лида в оккупации была до того дня, как мы к ее родному городу дошли. Искать она его стала. Нашла. Прислал отец письмо, зовет ее к себе. В штаб официальная бумага пришла — чтоб, значит, откомандировать Лиду в госпиталь.

Всполошились мы тогда, скажу я тебе. Все нам понятно. И спокойнее в госпитале, и легче ей будет, и безопаснее. Все ж таки, что ни говори, одна она у нас, кругом парни. Когда и посоветоваться девушке надо, поделиться чем заветным. Неудобно. А подруг нет. И с отцом рядом,— это же счастье для человека. Мать у нее еще до войны умерла. Отец так и писал Лиде: «Остались мы с тобой вдвоем на всем белом свете. Негоже нам в разлуке быть». Все понятно, одного усвоить никак не могли мы: как без Лиды в бой пойдём. Хочешь верь, хочешь не верь, а живет у нас в батальоне вера, будто Лида нам счастье приносит. Сама-то счастливая,— в скольких боях была, ни разу не зацепило. Хоть делегацию к ней снаряжай: «Так, мол, и так, не уходи от нас, а мы, как те братья-богатыри из сказки, не дадим в обиду. Будешь всегда нашей сестрой любимой».

Не знаю, прослышала Лида о наших переживаниях или сама до всего

дошла. Не знаю, как и что. Лида не говорила, мы не спрашивали. Только пошла она к комбату и сказала, что остается в батальоне.

Говорят, плакала, когда отцу письмо о своем отказе писала. Не знаю, сам я того не видел, не слышал. И никто не видел. Может, и плакала. Очень даже может быть, и ничего в том зазорного нет. Только виду никому не показала. Я ж говорю: железный характер у человека...

* * *

А человек с железным характером сидел в душевой, жарко натопленной избе и размышлял о неприятных неожиданностях, которые вот так, ни за что ни про что, сваливаются бог весть откуда.

Рядом с Лидой, на лавке, со связанными желтыми заскорузлыми лапами полулежал большой грязный гусь. Лида протянула руку. Гусь быстро вытянул длинную шею и, изловчившись, больно стукнул твердым клювом по пальцу.

Лида обиженно пососала палец и горестно вздохнула.

Эх, гусь, гусь! Сколько ты радости должен был доставить и сколько принес огорчений...

Гусь предназначался для торжества по случаю дня рождения командира мотострелкового батальона капитана Найденова. Прибежал к Лиде Толик, ординарец Найденова.

— Слушай, дело есть. Важнее. Комбаты решили справить день рождения нашего капитана. Двадцать три человеку исполнится. Сама понимаешь — возраст! Помоги, а?

— Я? Почему я? Я ни при чем, — запротестовала Лида.

— При том! Комбаты хотят, чтоб все было в лучшем виде: стол, хозяйка, гусь жареный.

— Почему гусь? — чтобы что-нибудь сказать, спросила Лида. «Почему — меня хозяйкой? Нет, не может быть... Я никогда ни словом, ни взглядом... А если он? Нет, нет, не надо, не надо...»

— Гусь очень даже обязательно, — убежденно сказал Толик. — Все дело в гусе. Понимаешь, мой Витя, капитан, значит, рассказывал как-то о своем детстве. Мать его всегда отцу и старшему брату на день рождения гуся жарила. Традиция у них в семье такая. Только сам Витя до той традиции недорос, умерла мать.

— Умерла?!

— Ага ж, ему и семи лет не было. И отец тоже. Детдомовский наш Найденов. Потому и гусь очень даже обязателен.

— Хорошо, — сказала Лида. — Тащи гуся. Только я все же спрошу у своего командира. Чтоб не получилось неловко: офицеры, старшие, и вдруг я за хозяйку...

— Все спрошено. Все договорено. И про гуся и про тебя твой комбат придумал. Жди вон в той избе. Я мигом.

Лида пошла к избе. Поднялась по трем скрипучим ступенькам, взялась за ручку двери.

— «Рама»! Воздух! — разноголосо пронеслось по селу.

Лида вскинула голову. Дождь недавно прекратился, его унесла тяжелая темная туча. Она и сейчас закрывала собой полнеба, и от нее тянулись к земле частые нити. Где-то за лесом они рассыпались дождем. Прямо над головой небо — серое, скучное, и в его унылом однообразии медленно плыл самолет.

Четыре черных черточки, две запятые на хвостах, посредине горб, а в нем глаз — такой представлялась Лиде «рама». Ей даже снился этот глаз врага — злобный, настороженный, налитый кровью, жадно высматривающий, куда бы побольнее ударить. Прилетит, покружится, подгля-

дит, понюхает. Не собьют зенитчики — жди неприятности: бомбежки или артналета. Так было и тогда...

...Танки медленно, словно на ощупь, пробирались по колышущемуся понтонному мосту.

Командир 2-го танкового батальона, как увидел переправу, — примчался прямо к комбригу.

— Переправа не потянет. Топить людей и танки — преступление.

— Топить — да. Не переправиться на плацдарм — тоже. Поняли?

На том далеком берегу за рекой — и широк же Днепр! — шел бой. Привычное к шумам боя ухо комбата-два различило грозную канонаду немецких орудий и редкие ответные выстрелы своей артиллерии, той, что вместе с пехотой закрепилась на плацдарме.

— Ну? — спросил комбриг.

Комбат-два передернул плечами: «Что я, не понимаю — нужны на плацдарме танки». Но упрямо повторил: — Переправа слабенькая, товарищ полковник.

— Но годная. Они говорят — годная, — комбриг указал на майора с эмблемами сапера на погонах. — Идите оба. Продумайте вместе, договоритесь. Сообразите, если чего не хватает. Знаете пословицу: семь раз отмерь, один раз отрежь, — сказал комбриг. — Старо? Ничего, зато жизненно. Еще подумайте вместе. Идите.

Майоры — танкист и сапер — вышли из комбриговой землянки.

— Все равно, слабенькие твои пузыри, — сказал танкист.

— Выдержат, — убежденно ответил сапер. — У меня в практике был подобный случай — выдерживали.

— Не потопим? — спросил танкист.

— Не беспокойся. Мы кое-что сделали, усилили мост. Пойдем, посмотришь, убедишься. Скорость, конечно, не разовьешь. Тихонько придется вести машины и интервалы побольше между танками.

— Затянется переправа.

— Затянется, — согласился сапер.

— Ладно, чего там гадать. Идем на переправу, посмотрим. И в восьмой раз отмерить тоже не мешает.

На берегу сапер подробно рассказал танкисту о всех мерах, принятых понтонерами для усиления переправы.

— Вроде бы должна выдержать, — все еще с сомнением сказал танкист.

— Все равно ничего другого не дадут. Днепр он — во! — сапер жестом показал, какой широкий Днепр. — Фронт форсирования во-он какой! — майор раскинул руки до отказа. — Где средств наберешь? Надо рисковать. Да и риска-то никакого нет. Головой ручаюсь.

— Товарищ майор, вы — командир второго танкового батальона? — бесцеремонный вопрос прервал затянувшуюся беседу двух майоров.

Комбат-два обернулся. Перед ним стоял незнакомый капитан.

— А вы кто такой? — вместо ответа спросил комбат.

— Я капитан Найденов. Командир мотострелкового батальона.

— А-а, новенький значит. — Комбат с нескрываемым любопытством в упор рассматривал капитана. Высокий, жгучий брюнет, ершистые черные брови, упрямый рот.

— Чур на стареньком, — сказал капитан.

— Лев Кассиль. «Кондуит», — удовлетворенно отметил майор.

— Он, — кивнул капитан.

— Все правильно, — сказал майор. Новый капитан ему нравился. — Ну-ка из Остапа Бендера теперь.

— Пожалуйста: «Лед тронулся... Командовать парадом буду я».

— Э нет. Самозванцев нам не надо. Командовать парадом буду все-

таки я,— рассмеялся майор.— Ну что ж, давай знакомиться поближе. Воевать вместе.

— Я по этому поводу и пришел...— начал было Найденев.

— Пехоту твою на танки не возьму,— отрезал комбат-два,— не надо мне лишнего веса.

— Не прошусь,— спокойно сказал капитан.— Мы подобрали свои переправочные средства. Лодки есть, плоты. Они,— капитан кивнул на майора-сапера,— помогут.

— Долго ты будешь на своих лодчонках телепаться. Днепр тебе не речушка — река!

— Недолго. Может, раньше танков высадимся,— вмешался саперный майор.— У нас катер есть один — к нему целую флотилию подцепим. И еще моторную лодку дам. Быстренько перетаскаем.

— А если оттуда,— танкист указал вверх,— вж-жих, плюх... Что тогда?

— Ничего,— сказал капитан.— И Днепр ничего. Мы когда Керчь десантом брали, не то было. Опыт есть... купаться. И выплывать.

— А-а,— протянул танкист. Подумал и сказал: — Знаешь, капитан, ты все-таки по два-три человека посади своих на танки. Можешь по пять,— великодушно махнул рукой.— Все тебе легче будет. Выдержим, майор?

— Выдержим,— ответил сапер.— Все будет как надо.

...И вот танки неторопливо вползают на колышущий мост. Низко опустились, едва не под воду ушли понтоны. Гусеницы шлепают по воде. Одно неосторожное движение механика-водителя, и...

Прижались к броне автоматчики капитана Найденева. словно бы танк может послужить защитой от вражеских снарядов, вздымающих фонтаны вокруг переправы, словно бы не он первым, не танк всем своим тридцатидвухтонным весом пойдет на дно, попади снаряд в переправу.

На одном из танков, на борту, цепляясь за поручни на башне, сидела санитарка Галанина. Ее танк только что взшел на мост. Сверху казалось— идет танк по самой воде. Лида свесилась, заглянула вниз: между краем гусеницы и краем плавучего моста сантиметров десять, не более. Неприятный холодок пробежал по спине — жутко.

Внезапно артиллерийский обстрел переправы прекратился. И в наступившей тишине возник, приближаясь, неторопливый рокот.

— «Рама»! Воздух! — встревоженно понеслось над рекой.

Инстинктивно еще теснее прижались к танковой броне автоматчики. Все смотрят в небо. Вспыхнули белые облачка зенитных снарядов. Хоть бы один угодил в проклятую «раму»! Нет, не сбили. Улетела. Теперь жди... Невольно прибавили скорость танки. Уменьшились интервалы между машинами. Закачался плавучий мост.

С берега последовал приказ: «Соблюдать спокойствие и организованность. Машинам на мосту продолжать движение на установленной скорости с сохранением необходимой дистанции. Остальным — приостановить переправу. Ждать дальнейших указаний. Командование танковой группой на плацдарме принять командиру первой роты».

Лида не знала о приказе. Не знала и того, что в нескольких километрах правее освободился мост, тяжелый, устойчивый, абсолютно надежный. И что там уже переправилась одна бригада их корпуса и сразу пошла в наступление. Не знала, что именно на том участке намечился явный успех и для развития этого успеха туда же перебрасывается и Лидина танковая бригада, а с ней, конечно, и второй батальон, кроме тех его танков, которые успели начать переправу и находились на пути к плацдарму. А плацдарм этот уже не именуется «направлением главного удара», он уже второстепенное, на левом фланге.

Неведомы Лиде соображения командования, изменения в первоначальном решении, вызванные создавшейся обстановкой на столько-то часов, столько-то минут. Неведомы, и потому стало страшно, когда увидела, что за ее танком нет больше никого. Только бежит, догоняя машины, какой-то лейтенант. Поскользнулся, упал, едва не скатился в воду. Встал. Снова побежал, догнал. Лида протянула руку. Лейтенант не заметил или не захотел ее помощи. Уперся ладонями о броню, вскарабкался на танк.

— Почему никого нет? Где остальные танки? — встревоженно спросила Лида.

— Так надо, — недружелюбно буркнул лейтенант.

— А вы кто? — спросила Лида.

— Я командир взвода, ихний вот, — кивнул лейтенант на автоматчиков. — И внезапно взъярился. — Не мог же я так: они тут, я там.

— Почему все-таки все там? — опять спросила Лида.

— Так надо. — Лейтенант строго хранил военную тайну.

На реке пыхтел маленький катер. Он тащил за собой длинную цепочку лодок, маленьких и больших, добротных рыбацких и четырехвесельных прогулочных. Моторная лодка волочит огромный плот. На нем — минометы. Солдаты на лодках и на плоту все, как по команде, смотрят вверх. Что они там видят? Лида прислушалась. Заглушая рокот танковых моторов, в далекой вышине нарастал ровный, удручающе тяжелый гул. Летят?!

...«Юнкерс» плавно отвалился из замкнутого круга самолетов — устремился вниз.

Пронзительный свист... протяжный вой — бомба... Огромный фонтан на реке, к счастью, по другую сторону моста, не там, где шли катер, лодки и плот. «Юнкерс», равнодушно урча, набирал высоту.

— Руби концы! Рассредоточиться! — загремел чей-то сильный голос. — Весла на воду!

— ...Цы-ы-ы ...точиться-я... оду-у-у, — эхом пронеслось по реке.

Лодки прыгнули в разные стороны. Теперь, казалось, их очень много — лодок. По всей реке, куда ни попади...

Пронзительный свист, протяжный вой — бомба.

Маленькую лодку подбросил водяной смерч. Несколько солдат барахтались в воде. Лида с тоской поглядела на приближающийся берег. Два танка оставались на мосту. Первый рванулся вперед, еще немного — и он на твердой земле. Второй, Лидин, только едва заметно прибавил скорость — ему еще рано делать рывок, опасно.

Пронзительный свист... протяжный вой, грохот! Прямое попадание в понтонный мост — редчайший случай. Но потому и говорится: «случай», потому что бывает и так.

Танк вздыбился, заскользил назад. Лида судорожно вцепилась в поручни. Кто-то, едва не ломая ей пальцы, оторвал ее руки от поручней, грубо столкнул девушку в воду. Танк погружался, но поврежденный понтон все же удержал его на несколько мгновений.

Эти мгновения и спасли Лиду: лейтенант отшвырнул ее как можно дальше от тонущего танка, от водоворота над ним, в котором погибли он сам и его автоматчики...

Холодная вода обожгла, она лезла в рот, нос, уши, раздирала легкие, будто кто-то накачивал ее туда под невыносимым давлением. Лида забилась, отчаянно замахала руками, словно карабкалась по отвесной стене и... глотнула воздух — выплыла. Она ничего не видела, перед глазами плыли расплывчатые круги. Шинель — какая она, оказывается, тяжелая! — тянула вниз. Холод сковал тело...

— Давай руку! — услышала она зычный голос. «Где она его слы-

шала? Очень знакомый». Может, голос твоего спасителя всегда кажется знакомым?

Но вместо того, чтобы протянуть на зов помощи свои руки, она еще сильнее забила ими по воде.

— Бери его. Подхватывай,— приказал голос.

«Почему «его»? Почему не меня? Я не могу больше...» — подумала Лида и потеряла сознание.

— Товарищ капитан, а это вовсе «она»,— удивился сержант, втащивший Лиду в моторную лодку.

— Кладите сюда,— сказал капитан Найденов, указывая на место в лодке рядом с собой.

— Пожалуйста, принимайте русалочку,— солдат опустил Лиду прямо на колени капитану.

— Отставить разговоры! — загремел капитан.— Мотор!

— Есть мотор.

Лодка понеслась к плоту с минометами.

Капитану казалось — он читает в глазах солдат насмешку: что твой Степан Разин и княжна!.. Надо бы переложить спасенную на дно лодки. Но голова Лиды беспомощно лежала на его руке, а мокрые светлые косы, завязанные на концах бантиками из бинта, свисали за борт. Лицо белое, глаза плотно сомкнуты, у посиневших губ чуть опущены книзу уголки: словно хотела заплакать, да не успела. «Эка бедолага,— почувствовал капитан.— Совсем девчонка». Свободной рукой он поднял Лидины косы, осторожно положил их ей на грудь. Девушка глубоко вздохнула.

— Вот и хорошо,— облегченно сказал капитан.— Помогите сестре сесть поудобнее,— приказал он ближайшему к нему солдату.

Спасена, жива. Все. Другие дела есть, поважнее.

Бомбежка окончилась, немцы улетели. Могут и вернуться. Надо скорее к берегу. Катер уже цепляет лодки. На войне не до девичьих мокрых кос. Капитана Найденова сейчас гораздо больше интересовал мокрый конец обрубленного при налете каната. Никак его не свяжут солдаты с тем, что остался на плоту.

— Эй, давай, заводи. Поближе. Держу. Оп! — капитан поймал конец каната, брошенного с плота. Соединил со своим, завязал классическим двойным морским узлом, бросил в воду.

— Мотор!

Лодка пошла, натягивая за собой канат. Вынырнул из воды узел, подпрыгнул мячиком, скрылся. Плот неуклюже тянулся за лодкой.

Причалили к берегу. Солдаты торопливо и деловито прыгали в воду, неглубокую, по колено.

Лида с содроганием смотрела, как они шли, и не могла заставить себя перешагнуть через борт. «Опять в воду?.. Ни за что».

— Чего вы ждете? Шагом марш,— жестко приказал капитан.

— Не могу.

— Тоже мне, вояка,— рассердился капитан. Он схватил девушку в охапку и шагнул в воду.

Близко-близко увидела Лида черные строгие глаза, сдвинутые к переносице ершистые брови. Найденов не смотрел на Лиду, он думал о том, что мост уничтожен, танков переправилось мало и придется трудно. Капитан тоже не знал о новом решении командования: он был в это время на реке.

Сильные руки держали Лиду легко. Найденов нес ее, как понес бы любой узел, ящик с патронами, как любую вещь, которую надо было бы снять с лодки и доставить на берег.

На берегу капитан поставил Лиду на ноги.

— Все в порядке. Бегите к своим.

Идти Лиде некуда. Танки ушли. И Лида побежала за капитаном.

Капитан Найденев утряс все вопросы взаимодействия с пехотой на плацдарме, поставил задачу командирам рот и только когда остался один, увидел Лиду. Неподалеку от себя в траншее.

Девушка уперлась подбородком в земляной бруствер, обхватила себя руками за плечи, всеми силами стараясь удержать противный цокот зубов и дрожь, крупную, бьющую откуда-то изнутри.

«Скотина я, скотина, — сокрушенно подумал капитан, — тоже — спасатель утопающих. Девка-то насквозь мокрая».

— Толик, шумни старшину. Чтоб мигом сюда со своим «сидором», — крикнул он ординарцу.

Старшина, присев на корточки, с явным сожалением смотрел, как Найденев хозяйничал в его туго набитом вещевом мешке.

— Это и это отдай сестре, — приговаривал Найденев, вытаскивая из «сидора» гимнастерку, брюки, белье. Гимнастерка и брюки из добротной английской шерсти — «подарок короля Георга». Такое обмундирование полагалось офицерам, старшина с трудом расстарался, достал, берег. Надевал один раз всего: орден ездил получать в штаб фронта.

— Товарищ капитан... — взмолился старшина.

— Тебе все равно не положено.

— А ей? Она тоже старшина.

— Ей положено. Она замерзает.

— Белье, товарищ капитан, — оно, того, мужское.

— Хм, мужское? Зато сухое. Портянок у тебя нет?

— Толик взял, для вас.

— Толик!

Лиду отгородили в дальнем углу траншеи ее же шинелью.

— Сапоги мокрые. Ничего — портянки сухие. Шинели сухой нету, — подвел итог капитан.

— Телогрейка есть, — сказал старшина.

— Где?

— На мне, под шинелью.

— Ишь ты, тепло оделся. То-то я гляжу, ты больно толстый. Давай телогрейку.

Лида вышла из своего укрытия преображенной. Очень уж ладно сидели на ней добротные брюки и гимнастерка. Влажные косы короной лежали на голове.

— Ого! — восхищенно воскликнул Толик. — Повезло тебе, что старшина наш ростом не вышел. Все впору.

— А шапка утонула, — сказала Лида.

— Возьми мою, — великодушно предложил Толик.

— Не надо, спасибо. Спасибо, товарищ капитан. — И сказала просто: — Меня зовут Лида. А вас как?

— Капитан Найденев. — Он даже не взглянул на Лиду. Дела, дела военные — некогда.

Потом был бой. Раненые. Лида перевязывала их, оттаскивала в укрытие. В общем все, как всегда бывает в бою. Пожалуй, даже легче, чем всегда: пехотинцев не надо вытаскивать из танков. Себе-то можно признаться: очень трудно тащить тяжеленного дядю через узкий люк. Сколько уже служит Лида в танковом батальоне, а не перестает удивляться, как танкисты легко забираются в танк, — будто ныряют. Схватится механик-водитель рукой за ствол пушки, коленом на броню, перевернется — обе ноги в люк, и он уже в танке. Вскрабается командир или башнер на башню, и не уловишь, как соскользнет вниз, только и мелькнет изнутри рука, закрывающая за танкистом крышку люка.

А попробуй вытащи его из танка раненного! В танке тесно, а сама Лида и танкист всем и за все цепляются. А тут дым, чад, дышать нечем.

И каждую секунду может произойти взрыв. От одной мысли об этом руки становятся вялыми, непослушными. Вот уж и вправду говорят — страх сковывает. Еще как!..

Лида и горящий танк. Они остаются один на один на поле боя, участке земли, где смерть и жизнь вперемежку, где нет свидетеля, чтоб упрекнуть потом, и нет никого, кто б проверил: можно ли было еще попытаться или поздно, слишком поздно...

Только тревога за жизнь человека, — он верил тебе, когда шел в бой, знал: ты придешь на помощь, — заставляет Лиду бежать к горящей машине, карабкаться на броню, лезть в чадящий люк. Только этот другой страх, за жизнь человека, побарывает слабость. И руки работают, и силы находятся, и люк танка словно бы расширяется — люк спасения.

Пока что все обходилось благополучно: танк взрывался не раньше, чем Лида и раненый покидали его, а то и не взрывался вовсе. Счастливая...

Впрочем, не очень-то часто приходится лазить в горящие машины. Кому сказать, еще подумает: Лида только и делает, что прыгает в огонь. Всего три случая и есть на ее счету. Три случая... Три проверки жизни смертью. Положительно, в пехоте санинструктору куда легче.

Окончился день, наступила ночь. Затихло. И тогда мучительно заняли руки, плечи, все тело налилось невыносимой усталостью. Нет, не легче санинструктору в пехоте. Пехотинцев больше и раненых тоже...

На следующий день Лида вернулась домой — в свой батальон, утвердившись окончательно в сознании рыжего старшины как Счастливая. Новое свое обмундирование возвращать его прежнему владельцу не хотелось. И не оттого, что в нем было тепло и уютно, и даже не оттого, что оно красивое и так ладно сидело на Лиде. Не хотелось расставаться, потому что... Очень много ясных и неясных этих «потому» — и не выскажешь словами... Но отдать чужое надо. И Лида пошла в мотострелковый батальон, отчистив пятна на коленях брюк, — много ползать пришлось за ранеными.

— Носи на здоровье, — сказал старшина. — Пришлось впору да к месту — носи. Тебе и переодеться не во что — я твое добро списал, — добавил он, чтоб пресечь возражения. — Разве что с тебя сто граммов причитается. Небось чистенький, — постучал желтым ногтем по Лидиной фляге.

— Спирт для раненых.

— Справедливо, — вздохнув, согласился старшина.

— Не знаю, — сказала Лида. — Просто так надо.

Капитана Найденова невзначай она не встретила, а заходить к нему не нашла удобного предлога. Шла домой чуть-чуть грустная: обмундирование ей оставили, а главное-то не в нем...

Так и не встретила больше с Найденовым Лида.

Прошло почти три месяца. Видела часто, но только видела, разговаривать не приходилось. Найденов бывал у танкистов, с комбатом-два подружились они с той первой памятной встречи на берегу Днепра. Видела Лида капитана и в боях — тут уже и не сосчитаешь, сколько раз, — что ни день, то бой.

Она узнавала его голос, — это он, перекрывая вой и грохот бомб, гремел тогда над Днепром: «Руби концы. Лодкам рассредоточиться»; это он приказал Лиде, барахтавшейся в воде: «Давай руку».

Когда Найденов командовал: «Вперед!» — это звучало как выстрел. Как выстрел же, что посылает шелестящий над головой снаряд точно в цель, так и голос капитана, глубокий, рокошущий, рассыпался в многоголосую переключку команд командиров рот, взводов, отделений и вдруг взрывался солдатским «ура-а»...

Рыжий старшина говорил, что успехи сопутствуют бригаде потому, что война повернулась по-другому. Не то чтобы легче стало воевать и немец пошел не тот,— куда там! Немец еще злее,— а потому, что наступать приятнее.

— Вишь как,— поучал Лиду рыжий старшина,— наступаем, будь здоров. Одним фронтом, другим, третьим, потом снова первым, да третьим, да вторым. Красотища. Оттого и успех, что так дружно взялись за немца.

Лида имела свое мнение: успех на всех фронтах зависит, конечно, от многих важных причин, а успех на участке, где ведет бой мотострелковый батальон Найденова, оттого, что руководит боем не кто-нибудь, а именно Найденов.

Однажды случилась заминка, отходить стали и танки и пехота. Лида видела, как поднялся во весь свой огромный рост капитан Найденов.

— За мной! — и выбежал впереди танков.

Лиде стало страшно: один, впереди, такой большой и столько пуль навстречу...

В этот день она призналась себе — люблю.

И с этого дня прошло добрых два месяца. И никто, никто ничего не знал, ни о чем не мог догадываться. А капитан и вовсе не обращал на нее никакого внимания.

И вдруг: день рождения, гусь, хозяйка стола...

«.Как мама жарила гуся? Как будто не очень сложная процедура. Выпотрошить, опалить, обмыть чистенько и — в жаровню. Смотри, как жарится, да поливай жирком, тем, что вытопился из гуся, чтобы корочка зарумянилась. Потом картошку в жаровню половинками. И все.

«Справлюсь,— решила Лида.— Справиться бы с собой...»

Деловитый Толик приволок огромного гуся. Живого. Посадил его на лавку и тут же исчез: дел много. Хозяйничай, Лидуша.

Хорошо сказать — хозяйничай! А если она понятия не имеет, как она может живого злющего гуся превратить в знакомую белую тушку? Она помнит, как в день их приезда (она с мамой и папой ездила к бабушке в деревню) по двору металась, брызжа кровью, курица без головы. Значит, нужно ударить топором, и отлетит гусиная голова, и он, как та курица...

Ой, только не это! Да и гусь к себе не подпускает, шипит и шипелется.

Оставалась надежда на хозяйку избы. Но та, придерживая руками большой живот, поглядела на гуся и раздумчиво сказала:

— Я б его порешила. Да на сносях я. Как кровь вдарит — рожу, а? Может, и обойдется, хай ему бис...

Лида замахала руками: что вы, ни в коем случае не обойдется!

Этого еще не хватало. Вдруг и вправду начнет рожать? Что тогда делать? Лида никогда в жизни не видела, как рожают. Наверное, очень страшно. А доктора поблизости нет, и фельдшер в медсанбат уехал.

Так и сидели они трое. У печи, на полу, хозяйка, то и дело трудно вздыхая, бережно придерживая свой большой, просто необыкновенно большой живот. Гусь на лавке, тихий, но постоянно начеку — протяни только руку, убедисься. И Лида с горькими своими думами: так неожиданно все чудесно складывалось! Теперь ничего, ничего не будет...

После рассказа старшины Новенький заявил, что ему непременно надо сходить в деревню — посмотреть на санинструктора Галанину новыми глазами. Рыжий старшина пошел следом. Черт его знает, какие такие «новые глаза» у этого взбалмошного Новенького. Еще скажет что-нибудь нескладное.

«Счастливая» Лида выглядела глубоко несчастной.

— Что с тобой? — испугался старшина, войдя в избу. — Случилось что?

— Так, ничего, — нехотя откликнулась Лида. — Гусь...

— Чего гусь?

— Жарить его надо. А он живой, — призналась Лида и, жалобно улыбнувшись, добавила: — Не умею я. И боюсь. И шиплетса он.

Желтые кошачьи глаза старшины от изумления выкатились на лоб.

— Шиплетса?! — взвизгнул он. — Ши-иплетса! Ах ты, дитятко. — От неизъяснимого, прямо-таки невозможного восторга старшина хлопнул себя по ляжкам, чуть не впрысая пошел по избе в каком-то диком невообразимом танце. Изба наполнилась топотом, хохотом, гиканьем.

Покружившись минуты три, старшина остановился перед Лидой:

— Давай, дитятко, гуся. Я его разом. Шипнуть не успеет.

Злополучного гуся на лавке не было. Старшина недоуменно похлопал прямыми рыжими ресницами, заглянул под лавку, в кадку и даже в печь. Нет гуся.

— Где гусь?

Лида молчала. Она понятия не имела, куда девался этот проклятый гусь. Пожалуй, даже обрадовалась, что он пропал.

В избу вошел Новенький. В руке у него болтался обезглавленный гусь.

— Хозяйка, ощипать сумеешь? Можешь? Тогда держи. — Новенький бросил гуся к ногам хозяйки избы и обернулся к старшине: — Пойдем, весельчак. Воды принесем, дров наколем. Помочь надо человеку. Эх ты, брат-богатырь...

— Постой... Зачем все-таки гусь?

— День рождения, — сказала Лида. — У капитана Найденова. Наш комбат его в гости позвал. Понимаешь, гусь... — Лида рассказала все, что узнала от Толика. Только не могла, как Толик, сказать с фамильярной нежностью «мой Витя».

— Ой, берегись, Лида, капитан-то чернявый, — пошутил старшина.

— Разве плохо? Очень хорошо, — рассмеялась Лида. Ей было легко и весело. Кажется, все будет хорошо. Будет, будет, будет! Она забыла, как однажды, смеясь скорее нервно, чем весело, сказала о своих обгорелых косах и бровях: «Стала брюнеткой. Люблю чернявых». Забыла, а рыжий старшина помнил. Испытующе посмотрел он на хлопотавшую по хозяйству Лиду, в желтых глазах зажегся недобрый огонек: «Что это она такая веселая? Неужели?.. Нет, как будто никто не замечал между ними чего-то такого... Хотя... офицерское обмундирование, говорят, он ей подарил. Неужели неспроста? Неужели Лида?.. Лида?!»

— Что ж, офицеры будут праздновать, а ты у них за прислугу? — Это было жестоко и несправедливо, старшину самого покорило от этих слов.

— Он мне жизнь спас, — тихо сказала Лида.

Новенький рванул старшину за плечи, грубо повернул лицом к двери.

— Идем! — и подтолкнул в спину.

Тот послушно вышел. На крыльце опомнился:

— Ты что это, а?

— Сволочь ты, — сказал Новенький. — Сволочь и взбесившийся кобель. За что ты ей такое... как в лицо плюнул?

— Сволочь я, — покорно согласился старшина и выкрикнул с неожиданной силой: — Да ты понимаешь? Тебе скажу одному — люблю я ее.

— Знаю, — кивнул Новенький. — Вижу.

— Мне лучше уйти, — сказал старшина.

— Иди. Я помогу ей, в чем надо.

— Она хорошая, — сказал старшина.

— Еще не знаю. Посмотрим, — уклончиво ответил Новенький.

— Хорошая,— убежденно сказал старшина.— И ты, оказывается, ничего парень...

— Иди, иди. Поживем, разберемся, кто какой.

Рыжий старшина ушел. Новенький остался. Он растопил печь, почистил картошку, даже подмел в избе. Он охотно брался за любую работу, лишь бы не оказаться ненужным. Тогда придется уйти. Ухаживать не хотелось. Ему хотелось получить узнать Лиду, поглядеть на нее «другими глазами», какими — он точно не знал. Наверное, очень честными и хорошими. Мучил Новенького один вопрос, он не знал, как к нему подойти, и в конце концов спросил напрямик:

— Скажи, ты и вправду страху не знаешь? Или бравируешь перед парнями — знай, мол, наших?

— Ой, что ты! Зачем мне? Меня и так уважают. И берегут. Я же знаю. Какая там бесстрашная! Очень страшно бывает. Особенно перед боем.— Лида зябко повела плечами.— Как подумаю: сейчас начнется... Снаряды, мины, осколки... Ты танкист, не знаешь, а я поднимала осколки, которые только что... горячие. В бою,— Лида задумалась,— в бою, правда, не страшно. Некогда. После боя тоже бывает. Оттираешь с шинели кровь, ну от раненых кровь, как подумаешь: моя она могла быть... Страшно, как и всем. Кому умирать хочется? Совсем я не бесстрашная. Обыкновенная.

— Счастливая ты.

— Счастливая? — Лида мельком взглянула на гуся.— Не знаю. Пожалуй, не очень...

Новенький поймал этот взгляд. «Кажется, старшина горит синим огнем. Гусек-то со значением».

Прибежал Толик и сразу развил такую кипучую деятельность, что ни о каком дальнейшем разговоре по душам и думать не приходилось. Да и Лида, чем ближе подходило время, тем молчаливее становилась, задумчивее. «Может, мне лучше уйти. Приготовить все и уйти... Нехорошо сказал старшина — прислуга. Лучше уйти. В конце концов он не заметит, он же меня совсем, совсем не знает. И пусть. Уйду».

Офицеры пришли ровно в шесть, — пришли гурьбой, шумно, весело, как приходит на вечеринку молодежь, для которой небо всегда синее (пусть сегодня и дождь) и все жизненные проблемы ясны, а дороги прямы. Долго ожесточенно топали на крыльце, будто вместе с налипшей на сапоги грязью стряхивали груз дневных забот.

Первым вошел комбат-два. За невысоким майором возвышался Найденев. Как будто один человек вошел о двух головах — одна над другой.

Лида шагнула навстречу и, стараясь не глядеть вверх, отрапортовала четко, верная своему решению:

— Все приготовлено, товарищ майор. Разрешите идти?

— Ни в коем случае! — воскликнул майор.— Ты наша хозяйка, мы — твои гости. Приглашай именинника к столу. Познакомься. Это Лида, санструктор Галанина.— Майор посторонился, пропуская вперед Найденева.— Лида! Принимай гостя.

— Пожалуйста,— сказала Лида.— Здравствуйте. Поздравляю вас. Найденев глянул на Лиду и остолбенел.

— Ты?!

— Я,— сказала Лида.

— Невероятно.

— Но факт,— сказал комбат-два.

— Правда, я,— принужденно улыбнулась Лида.

Найденев протянул руку и осторожно потрогал рукав ее гимнастерки.

— Та самая? — спросил не то о Лиде, не то о гимнастерке.

— Та самая,— кивнула Лида.

— Ну и дела-а.

— Бывает. Не то бывает,— заключил комбат-два, хоть и не понял ничего.

Новенький с любопытством наблюдал за этой сценой. «Она — да. Он — полный осел. Бедняга старшина да и девчонка тоже»,— вынес он свой приговор. Еще утром в подобной ситуации с присущим ему напускным цинизмом он сказал бы что-нибудь иное. Теперь не мог. Лида ему нравилась. Сестра Клавдюшка, когда полюбила, так же молча хранила свою любовь. Он-то знает: Клавдюшка забыла как-то дневник свой на столе, брат и прочитал про девичью первую любовь. Клавдюшка... И ссорились, даже дрались — что не бывает в детстве, и дружили крепко. Брат и сестра.

Клавдюшка первой уехала в действующую. Он в училище, а она на фронт. Не похожа, нет, не похожа на Лиду Клавдюшка. Лида маленькая, кругленькая, Клавдюшка высокая, стройная, быстроглазая, с резкими мальчишечьими движениями. Через Красный Крест ушла, добровольно. Из-за него, того, просилась именно в Первую Коммунистическую дивизию. Погибла Клавдюшка под Москвой. А тот осел так и не узнал, как его любили. Клавдюшка, Лида... Сколько вас на свете, девушек с добрыми русскими именами?.. Все хорошие девчонки — одинаковые.

И это было уже новыми глазами.

* * *

Из окна полуподвала, через узкую полоску загрязненного стекла, в той части его, что возвышалась над тротуаром, как ни старайся — неба не увидишь. Где-то Лида читала,— вот как на грех забыла и автора и название,— помнится: кто-то когда-то жил в полуподвале долгое-долгое время. Помнится, тот человек мечтал увидеть небо, но внешний мир был для него ограничен участком тротуара, а жизненные наблюдения — ногами прохожих. По ногам, как они обуты, по шагам, степенным или легким, с дробным постукиванием каблучков, горопливым, настроженным, тяжелым, натруженным, усталым — по этим, казалось бы, скудным приметам тот человек умел определять профессию прохожего, его настроение и даже выражение лица... Третий день давно прочитанный рассказ не выходил из головы. Третий день безотлучно находится Лида в полуподвале: тут и медпункт, и перевязочная, и госпиталь, в общем, «точка стояния медицины»,— как сказал комбат-два.

Третьего дня танковая бригада получила задачу: захватить мост через Южный Буг. Удерживать до подхода основных частей. Мост захватили танки второго батальона и автоматчики капитана Найденова. Заняли и городок на берегу. Даже не городок — станцию. Шли выполнять задачу с хода, тылы отстали, без тылов пошли. К вечеру, думали, подойдут. Но шел третий день. Ни тылов, ни основных частей нет. И раненых через Буг не переправить. Лодку, плот, что ни появится на реке, — неминуемо ждет гибель: немцы открывают страшнейший огонь. По мосту нельзя. Погубят немцы мост. Пока он не используется, не стреляют. Надеются, наверное, что самим пригодится. Но если пойдет по нему машина... Нельзя по мосту. Его приказано захватить и удерживать.

— Найти подвал. Обеспечить безопасность раненых,— приказал комбат-два. А Лиде сказал строго: — Иди, организуй все в лучшем виде. Раненых будем приносить к тебе. Ты и носу не кажи. Сколько еще придется держаться — неизвестно. А ты у нас главная на сегодня медицина. Вся санчасть: и аптека, и врач, и санитарка.

По ночам раненые, те, кто мог, поочередно дежурили с автоматами у входа в полуподвал и у окна. Немцы ночью просачивались в городок. Забирались в дома, утром вели огонь из окон. А ночью поджигали дере-

вянные домики по берегу реки, чтобы осветить вокруг, чтобы и ночью невозможной была переправа.

Ночью раненые в Лидину санчасть почти не поступали. Танкисты и автоматчики поделили городок на квадраты, на ночь занимали круговую оборону. Всякое хождение запрещалось. Так легче обнаруживать вражеских лазутчиков: если идет кто по улице, знай — враг.

Днем работы много. Надо накормить тех, кто уже попал в Лидин госпиталь, принять новых раненых, обработать раны, перевязать. Порой охватывало тупое отчаяние. Что она может? Только первую обработку раны, самую первую. А есть такие, которые требуют хирурга, немедленно хирурга. Умер солдат. Оторвана нога у него по колено. Если б в медсанбат сразу... Потеря крови большая. Жил, сколько мог, с перетянутой жгутом культей. Когда его выносили, откинулась безжизненная рука, десять раз подпрыгнула на ступеньках. Десять ступенек вели из полуподвала. Лида считала. «Там лучше. Там — в бою, в наступлении. Около танков. Там не так страшно». Но наступления никакого не было. Была оборона, напряженная, изматывающая силы и нервы, уносящая жизни, оборона на крохотном «пяточке». Незаметный в большой войне бой с врагом двух батальонов — танкового и мотострелкового.

За окном шаги. Две пары сапог, одна за другой. Ступают тяжело. Раненого несут! Тогда и вспомнился рассказ о человеке, долгое время изувачшем мир через форточку полуподвала...

Топ, топ, топ,— промелькнули ботинки с обмотками. Автоматчики. Торопятся. Где-то прорвался, просочился, пролез враг. Топ-ширк, топ-ширк,— добирается к санчасти солдат, раненый в ногу. Трах, тах, тах, тах — прыгает на колесиках пулемет. Опять тревожно. И снова шаги людей, ступающих твердо и осторожно,— несут раненого. А вот пять ног, четыре ступают тяжело, на плечах у людей груз, пятая — едва касается земли.

Лида распахнула дверь. Двое солдат ввели Новенького.

— Спасибо, ребята. Я — дома,— сказал он и улыбнулся Лиде. Улыбка получилась жалкой, вымученной. Лида привычно подставила плечо: держись. Он обхватил ее за шею и повис, теряя силы. Лида пошатнулась. Солдаты подхватили Новенького.

— Сюда,— сказала Лида,— на стол.

Стол — носилки, положенные рукоятками на два снарядных ящика. Лида разрешила сапог, штанину. Крови мало. Под самой коленкой торчит острый край осколка. Лида осторожно пинцетом дотронулась до него. Новенький весь передернулся, словно его ударило током, скрипнул зубами. «Нерв. Задет? Нет, скорее осколок давит на нерв. Попробовать надрезать чуть-чуть и вытащить? А если повредит?»

— Лида, вытащи его,— сказал Новенький, угадывая ее мысли.

— Будет очень больно,— предупредила Лида.

— Хуже не будет. Потерплю. Дай из фляжки.

— Вся фляжка,— покачала головой Лида.— Кончилась. Ни капли.

— Такое мое счастье — всегда опаздываю. И время мое пришло, а фляжка пустая. Что же ты, а? — невесело пошутил Новенький. Он хотел повернуться и снова передернулся весь.— Тащи. Без ничего тащи.

Лида осторожно подрезала кожу. Взглянула на раненого. Новенький, закусив губу, смотрел немигающим взглядом в потолок.

— Держите его,— сказала солдатам.

— Не надо,— глухо, не разжимая губ, сказал Новенький.

— Держите.

Лида прихватила осколок пинцетом. Тихонько потащила. Медленно, нехотя полез металл из тела человека, а как мгновенно вонзился... Новенький напрягся весь, не человек — единый нерв, единый мускул. Один

из державших его солдат зажмурился. Лида потянула смелее. Осколок пошел легче — сдвинулся с места. И вот он уже в высоко поднятой Лидиной руке.

— Ух ты,— ахнул кто-то в своем углу.

Новенький задышал глубоко и быстро, как после бега, и закрыл глаза.

— Что, что с тобой? — встревожилась Лида.

— Подожди минуточку.

Солдаты ушли. Новенький полежал несколько минут очень тихо. Приподнялся. Шевельнул ногой.

— Вроде бы порядок,— удовлетворенно сказал он.— Бинтуй. Рана пустяковая, как я понимаю.

— Проверить бы, может, что там осталось,— нерешительно сказала Лида.

— Э нет, хватит! Главный вытащила, а малый, если и есть, пусть остается. А ну, дай сюда железку.

Лида протянула осколок.

— Ишь ты, обыкновенный,— искренне удивился Новенький.— Я уж думал, он электрический. Чуть повернешься, так и дернет — извелся с ним.

— Давно тебя?

— Вечером еще. Размерчики подходящие,— продолжал он рассматривать осколок.— Сантиметра два на три будет. Плоский, смотри, острый, как нож. Вот ведь дрянь какая.— Новенький отшвырнул осколок, тот тихо бряцнул о каменный пол.

— Надо было спрятать. Как талисман,— посоветовал кто-то.

— В талисманы не верю,— отрезал Новенький.— Сестренка, помоги-ка подняться. Где у вас тут уголок потеплее?

...Капитан Найденов отмахнулся, сказал, как отрезал:

— Нет у меня людей. Хоть режь — нету.

— Тихо, тихонько,— сказал комбат-два.— Резать я тебя не буду. А моих раненых немцы могут ночью порезать за милую душу. Пойми, я могу выделить для охраны раненых один танк. Я его даю. Один, скажешь, мало? Ну, дам два,— что это изменит? Что могут сделать танки ночью да еще в населенном пункте? Нужно двадцать автоматчиков. Вместе с танками — сила! И раненых обезопасим и создадим еще один очажок обороны.

— Хватил! Двадцать?! У меня людей... если присчитать меня самого да Тольку, и пятнадцати свободных не наберешь. А двоих не хочешь? Ручной пулемет дам, а?

— Пулемет хорошо, двоих — мало. Мне нужно не «стой, стрелять буду!», а — «огонь!» Не часовые, а действенная охрана. У меня в том подвале чуть не полбатальона раненых-то. Ладно, не надо двадцать. Десять дашь?

Найденов размашистыми шагами ходил взад-вперед вдоль танка комбата. Зачем-то заглянул в люк механика-водителя. Потрогал смотровой прибор, покачал головой. Ершистые брови топорщатся смешно и сердито, ходят под кожей желваки.

«Сдаешься, то-то же,— подумал комбат-два.— Туговато нам с тобой приходится, а держаться-то надо».

— Послушай, Виктор. Дело-то серьезное. Лида передала, что видела ночью, как в школу, ту, что напротив ее госпиталя, какие-то люди вошли. Моих там не было, я проверил. Может, твои?

— В школе? Нет, там моих не может быть. Лида передала? Надо проверить,— насторожился Найденов.— В школе, совсем рядом... Может, пронохали о раненых?.. Когда получено сообщение от Лиды?

— На рассвете.

— И ты до сих пор раздумываешь? Надо срочно охрану ставить. Если немец пронюхал о раненых, конец им.

— Так я же с того и начал: дай автоматчиков. Ты не даешь.

— Я?! Ну, знаешь...— Найденов взглянул на танкиста и поперхнулся.— Странный ты человек, хватаешь за горло — давай, и все. Нет чтоб объяснить человеку.

— Значит, даешь?

— Я сам пойду. Надо проверить школу. Здание солидное, кирпичное. Если вправду немцы забралась, выкуривать надо срочно. О главном мы все решили?

— Да,— вздохнул комбат-два,— на сегодня все. На завтра посмотрим. Стянем силенки к центру города. Сузим оборону, зато крепче будет. На таком широком фронте не удержим...

— Жмет немец,— сказал Найденов.

— Жмет,— подтвердил танкист.

— Выдержим?

— Надо,— сказал танкист.— Там, в верхах, вроде бы большие дела на нашем направлении задуманы. Как я понимаю, наш рывок за Буг пока еще только обеспечение благоприятной позиции для удара. Хорошая жизнь настала, а?

— Хорошая,— сказал Найденов и подумал, что кухонь нет, пришлось сегодня разрешить тронуть «НЗ», и боеприпасов маловато, и раненых нечем защитить, и оборону стягивать приходится к центру города.

— Я пошел,— заторопился Найденов.— Немец в школе опаснейшая штука. Мы к центру городка, зайдем круговую оборону, а он как из того круга да в спину.

— Может, кого другого пошлешь?

— Некого. Разведчика своего вчера похоронил, начальника штаба тоже, замполит ранен. Некого. Я да Толик, есть еще командир комендантского взвода, я его со взводом и возьму.

— Ого, целый взвод даешь.

— Девять человек с командиром. Тигры! Знаешь, а ты, кажется, прав. Дела начинаются интереснейшие. Так я пошел.

— Там канава вдоль улицы между мостовой и тротуаром. Местные говорят: перед войной водопровод проводить собирались. Глубокая канава. Ты по ней, что по траншее, до самой школы дойдешь. Мои ребята по той канаве к Лиде раненых таскают. Удобно и безопаснее.

— Спасибо,— сказал Найденов.

— Я танк все же пошлю,— сказал комбат-два.

— Давай. Давай танк. Повоюем еще, друг ты мой, товарищ!

— Холод собачий. Зуб на зуб не попадает. На улице и то теплее,— бурчал Новенький.

— Тут две женщины приходили, местные. Обещали кипяток принести.

— А харч?

— Картошку вареную.

— На местный харч переходим. Вот это дело! — оживился Новенький.— Задерживаются старые, несли бы уже...

— Они молодые,— сказала Лида.

— Ого! Совсем хорошо. Хорошенькие?

— Хорошие,— сказала Лида.

— Эх, у кого я про женщин спрашиваю! Не с тем человеком говорю.

— Брось паясничать,— крикнул сержант.— Нашел время о девках думать!

У сержанта сильно обожжены лицо и руки. Сам-то он выскочил, да

товарищ в танке остался — раненый, без сознания. Пришлось вернуться. А тут как полыхнет! Пока вытолкнули наружу раненого, пока сам выбрался, огонь на нем и на себе потушил... Руками тушил. Обгорели руки. Раненому лицо собой прикрыл, свое — нечем: обгорело лицо, спасибо, глаза целы. Вторые сутки лежит обожженный сержант в углу подвала лицом к стене. И молчит вторые сутки. Рядом с ним — лейтенант, начальник связи батальона. Новенький выдал ему характеристику: «Лицо у него розовое да белое. Булки такие есть, весной их пекут, жаворонки называются. Румяные, сдобные и две изюмины». Лейтенант не обиделся. Умел понимать шутку. Не прилипло к лейтенанту прозвище: очень простой и славный человек лейтенант и товарищ хороший. Сейчас он никак не походил на сдобную булочку, осунулся, почернел — то ли от холода, то ли от боли. В плечо навывлет прошла пуля. Кажется, и лопатка задета.

Сидит лейтенант около обожженного танкиста, нет-нет потрогает осторожно за плечо: «Жив?» — «Да». — Вот и весь разговор...

— Интересно, что там наверху? — спросил кто-то.

— Наверху дела так себе, — охотно откликнулся Новенький. — Говорят, есть такое решение — стянуть танки и пехоту к центру города. Немец жмет, спасу нет.

— Надо бы нам самооборону организовать, — сказал солдат-пехотинец.

— Кой черт, самооборона, — огрызнулся Новенький. — Танкист без танка не вояка, оружия нет.

— Пулеметы надо с танков снимать. Такое добро даром пропадает.

— Пулеметы? Может, тебе еще пушку надо? Эх ты, пехтура пешеходная. Хотел бы я посмотреть на такого героического дурня, чтоб танк горел, а он себе болты да гайки отвинчивает, пулемет из гнезда вынимает.

— Помнится, был приказ — подбитые танки не бросать...

— Про тот приказ не вспоминай. По тому приказу много хороших ребят из огня выскочили, да без огня погорели. Знаешь, песню в те времена, в сорок втором, сложили: «Сгорела машина, вызвали в отдел, отчего с машиной вместе не сгорел? Отвечаю: братцы, жизнь спасли мою. В следующей машине обязательно сгорю. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить, в танковой бригаде недолго нам служить». Во! А ты помянул нехстати.

— Врешь ты все, — тихо сказал обожженный сержант. — Снимаем с подбитых...

— Я, с вашего разрешения, про горящие говорил, про «бэ-вэ» — безвозвратные потери, — язвительно сказал Новенький.

— Все равно — напраслина. Сам на себя наговариваешь, — упрямо произнес сержант. — От таких рассказней плохое может получиться.

— Что же, позвольте узнать? — Новенький явно задирался.

— Узнать хочешь? Послушай. Расскажу.

— Вам не надо говорить. Больно же. Лучше помолчите, — мягко остановила сержанта Лида.

Тот с досадой отмахнулся:

— Боль болью болит. Никуда от нее не денешься. Думы — наболели. Это — потруднее. Лучше говорить. Так легче. Скажи, Новенький, ты до войны кино про войну смотрел?

— Смотрел.

— Скажи, как ты думаешь, когда война окончится, о нас тоже напишут?

— Напишут. Обязательно напишут. И кино будет, и книги, — торопливо сказала Лида — обрадовалась: ссоры, кажется, не будет.

— Как-то еще напишут? — зло сказал сержант. — Если послушают

писатели разговоры нашего Новенького, так черт знает, что напишут. Как в той картине, что у меня из головы двое суток не выходит... Понимаете, товарищ лейтенант, в той картине бойцы все были замученные какие-то. «Ура» обязательно кричали хриплыми голосами. Я тогда не знал, что она такое — война, все на веру принял. Теперь думаю — неправильно показывали. Неправду! Нет у меня веры в геройство тех вояк, раз вид у них такой зачуханный.

— Писатель образ такой создавал. Так ему виделось,— вставил Новенький.

— Виделось, говоришь? Ты — бывалый человек? Я — бывалый? Что нас на войне — медом кормят или кто мух отгоняет, да росу с лица вытирает, чтоб спать было в окопе спокойнее? Чего не перевидали, а людьми были и остались. Напишут, говоришь, о нас? А вдруг писатель тот вздумает не с нас, не с натуры писать, а образ какой-то свой создавать. И покажет нас несчастенькими, чуть не жертвами. А я зачуханным не хочу людям представляться! Помню, в сорок первом в сентябре, как выходили из окружения, навоевались вволю и изголодались. Конечно, с виду нас от голодухи подвело. Но не изможденные мы были, нет! Душой нет. Главное это. Что важнее — портки мои рваные или душа моя целая?

Сержант откинулся навзничь, отвернулся к стене. Все-таки, что ни говори, а боль, она действительно болью болит. Все молчали, даже Новенький...

Сержант приподнялся, попросил Лиду:

— Помоги сесть.

— Не надо вам, полежите.

— Оставь, сестренка. Я сказал уже: говорить легче. Вот сидим мы здесь в подвале, и сколько еще нам сидеть, и чем это кончится... И бой-то у нас маленький, пятачковый бой, да мост нами захвачен важный... Разве мы не понимаем, что значит наш маленький бой? А нас, если не выйдем мы отсюда, могут показать жертвами несчастными! — Он говорил тихо, задумчиво и вдруг выкрикнул: — А я жертвой, понимаешь, жертвой не хочу быть. Права не имею перед детьми своими. Они гордятся: отец — фронтовик. Погибну, а гордость все ж останется: «Смертью храбрых, в боях за Советскую Родину...» За Родину, понимаешь? Может, смерть моя в бою детям моим в жизни правильный путь выбрать поможет для Родины и за Родину. А ну-ка, напишет кто обо мне: «Погиб, значит, солдат в ненужном бою на «пятачке», зря погиб человек». Давно мечтаю встретить какого писателя, наказать ему: пиши о нас, какие мы есть, никто тебе права не давал жизнь мою к нулю сводить. Прочтут такое мои дети, заноза в сердце войдет. С такой занозой и жить и работать будут с прохладцей: что как и его работа ненужная? Надо, чтоб сумели правду о нас увидеть писатели, а от них люди послевоенные.

— Сумеют,— сказала Лида.— Они тоже на войне, писатели. Рядом с нами и видят, какие мы есть,— простые и обыкновенные.

— Рядом? Их бы сюда, поближе к нам, на кого они смотрят... Новенький, а ну скажи, правильно я говорю?

— Что-то во всем этом есть глубокое и правильное, а что-то нет,— медленно, без обычного балагурства начал Новенький.— На писателей ты, брат, напрасно ополчился. Многие на фронте. Знаю, погиб недавно Гайдар. Разве б он написал о тебе неправду?

— Так то Гайдар!

— Не перебивай, я тебя не перебивал. Я недавно в штабе корпуса был, там писатель приезжал. Я ж его песни еще мальчишкой пел. Всякие у дела себе придумывал, чтоб задержаться да на него посмотреть. Вышел худощавый майор. Майор как майор, а мне говорят: смотри —

поэт. Посмотрел я, он вроде меня всего лет на семь старше. Вот ты говоришь, мы да мы, а он, тот майор, тоже как мы,— простой, обыкновенный.

— А другие?

— Что другие? Другие тоже на войне. Стихи пишут, рассказы — о нас. Песни пишут наши, солдатские. Значит, умеют видеть, понимать и душу солдата и подвиг солдата в боях — и в больших и самых маленьких.

Стих разговор. И сержант молчит, в стенку уставился. И стало как-то пусто и угрюмо в подвале. Лида смотрела на сержанта, только на него одного,— в нем видела всех своих подопечных, их состояние. Стало даже страшно: вот только что говорил человек, горячо, страстно, и вдруг умолк и лежит, как в те прошедшие двое суток... Как неживой лежит. И Лида поняла, что действительно прав был сержант: если так трудно и так больно, легче, когда говоришь. И она сказала:

— Не было случая ни в кино, ни в книгах, чтоб жизнь бойца к нулю сводилась. Смерти были — война. Про жертвы напрасные не читала. Да если б так писали, нам сегодня после таких отчаявшихся книг о маленькой войне трудно пришлось бы на большой. С сомнением в атаку идти нехорошо. А в обороне — и того хуже.

— Вот-вот,— подхватил Новенький.— С чем мое поколение на войну поднялось? С героикой, брат, в душе, с героической романтикой, в кровь вошедшей — от времен гражданской войны. На книгах хороших выросли. Не бойся, сержант, не всады твоим детям занозу сомнения в сердце. Кому охота выдумывать. Фактов столько, что будь у нас тысяча писателей и задайся они целью всю жизнь свою только и писать о войне — все равно всего не перепишут.

— Факты штука относительная. Факт и так и эдак повернуть можно,— не оборачиваясь, сказал сержант.

— И правда, можно,— задумчиво проговорил лейтенант-связист.— Был у меня в жизни случай. Я слушал ваш спор и думал, как его можно повернуть. Оказывается, можно. Хотите расскажу?

— Валяй,— ответил за всех Новенький.

— Сестричка, дай воды напиться. Горит,— тихо позвал сержант.

— Вам тихонько надо, а вы в спор...— и Лида осторожно поднесла кружку к его губам.

— Ой черт! Ах дьявол! Вот же сволочь!.. Отойди, сестра, а то еще что скажу,— зарычал сержант: холодная вода потекла на обожженный подбородок.

— Я сейчас что-нибудь придумаю...— растерялась Лида.

— Возьми,— сказал Новенький.— Лей ему прямо в горло.— Он протянул Лиде воронку — кулечек из газеты. Сержант, захлебываясь, жадно глотал.

— Давайте ваш случай,— сказал Новенький лейтенанту.

— Так вот. Был это мой первый бой. Приехал я в батальон начальником связи. В те времена ходила в бой за танками странная группа — санинструктор с санитаром, техник, связист. Вышли мы как положено. Тут пехоту «ванюша» положил. Санинструктор помощь оказала, санитар с ними оставила, чтоб отташил в укрытие. Техник поглядел на тех раненых да и говорит: «Мне, братцы, торопиться нечего. Подобьют танк — успею». Ну и пошли мы вдвоем с санинструктором. Танки продвигаются, пехота за ними, тут тебе и пули, и мины, и снаряды. Все как на войне. Вдруг слышим мы, кричит кто-то. Не кричит, воеет: а-а-а! Мы, значит, туда-сюда. Подходим к окопу, видим там...

От внезапного взрыва качнулся дом, посыпались стекла.

— Из «фау» по танку,— крикнул Новенький.

— Немцы, немцы прорвались!

— Оружие к бою! — приказал лейтенант: он старший здесь.

— Тихо, пожалуйста, тихо, — сказала Лида, губы у нее дрожали. — Я сейчас посмотрю. Сейчас. — Она кинулась к двери.

Новенький не ошибся. Танк «Т-34» стоял возле школы, весь в черном дыму.

«Откуда он здесь? Почему? Кто его? Может, те, кто ночью в школу... Люди, где люди? Почему не выходят?» Лида лежала на ступеньках, и все виделось ей снизу, — может, оттого таким огромным казался подбитый танк, или это от дыма?.. За дымом не сразу заметила, как открылись башенные люки и из них вывалились два человека. Тот, что упал на мостовую со стороны школы, шарил руками по мостовой. Ослеп? Контужен? Из окна школы полоснула автоматная очередь. Танкист уткнулся лицом в булыжник, затих. Второй скрыт от наблюдения из окон школы танком. Попытался ползти — не смог. Тяжело ранен? Поднял голову, махнул призывно рукой: помогите.

«Метров пятьдесят, от силы семьдесят, — прикинула Лида. — Добегу».

Кто-то потянул ее за ногу. Оглянулась — Новенький.

— Ну что?

— Я пошла, — сказала Лида. — Возьми полушубок. Мешает. — Она скинула ему на руки свой полушубок и, пригнувшись, побежала к танку.

— Лида, Лида, по канаве, по канаве надо! — неся ей вслед отчаянный крик Новенького.

«Поздно, — подумала Лида. — До канавы дальше, чем до танка. Потом — в канаву, с раненым».

Танкист лежал неподвижно. Лида машинально нащупала его запястье и не поняла, то ли это ее сердце быстро-быстро стучит в пальцах, то ли пульс раненого. Кажется, жив. Танк скрывал ее и раненого, танк и дым. «Подниматься нельзя, убьют нас. Попробую перекатом». Лида легла на мостовую рядом с танкистом, подсунула свою ногу ему под ноги, руку под спину, обхватила руками и ногами, перекинула на себя и сразу же за себя. Переползла, опять легла рядом, снова перекинула. «Еще раз пять так, и будет канава. Там безопасно. Там можно волюком...»

Найденов вел свой маленький отряд по канаве. Канава глубокая, можно идти в рост. Разве только сам капитан вынужден чуть сгорбиться. Ординарец Толик ревностно следил за тем, чтоб капитан не забывал пригибаться. Надо же иметь такую неудобную фигуру для войны, — вымахал, что твоя коломенская верста! Сам капитан не думает беречься, — он, Толик, для того к нему и приставлен, чтобы следить и заботиться.

— Товарищ капитан! Не высовывайтесь. Стрельнут же.

— Отстань, не канючь.

— Товарищ капитан...

Мимо по улице прогремел танк, скрылся за поворотом.

— Вот видишь. Танк прошел, все в порядке. Эх ты, — «стрельнут», — насмешливо сказал Найденов Толику. — А ну, шире шаг! — Капитан выпрямился и размашисто зашагал по канаве.

За поворотом — школа, напротив — дом, в подвале которого Лида и ее «госпиталь». «Интересно, повел бы я группу сам, если б Лиде не угрожала опасность», — думал Найденов. Эта мысль не давала покоя. Лида... Отчего так получается — жил рядом хороший человек, а ты и не замечал его? Спас даже — и забыл. Впрочем, вытаскивал из воды не ее, какого-то солдата, как положено — выручка в бою. Оказалось — Лида. Как тогда противно гоготнул солдат: держите, капитан, русалочку. Почему не думал о ней, отчего забыл? Хорош и я, ничего не скажешь. А почему, собственно, я должен был думать о ней? Кто она такая? Обыкновенный санинструктор, сама по себе — ничего особенного.

Все мальчишки детского дома поголовно были влюблены в киноактрису Франческу Гааль. Найденону больше нравилась Дина Дурбин. Она мягче и трогательнее. Женщину украшает ее слабость, — установил идеал своей будущей любимой Виктор Найденон. Ему не нравились боевые озорные девчонки с мальчишескими повадками, с которыми можно дружить на равных, даже подражать. Были случаи — и дрались. Однажды Нинка, заводила из параллельного девятого класса, очень его обидела. Виктор обхватил девчонку, хотел надавать ей по шее, как вдруг почувствовал под своей рукой что-то упругое, теплое и растерянно разжал руки. Нинка, воспользовавшись свободой, трахнула его «Алгеброй» по голове. А он и не ответил... так ошеломило его внезапное открытие.

С тех пор Виктор стал сторониться девчонок. И они, не понимая, отчего он вдруг такой тихий, вскоре тоже перестали его задевать. Одна Нинка не отставала, то книжкой стукнет, то словечко ядовитое бросит и сразу в сторону, кулачки сожмет: а ну, полезь, получишь сдачу. Не выдержал Найденон Нинкиных подначек, сказал как-то ей тихо:

— Чего задираешься? Ты девушка, тебе скромность надо иметь.

Потом Нинка прислала ему записку, сумбурную: «Я вовсе не такая плохая, как кажусь с первого взгляда. Ты погляди получше. А что дралась — не смотри, цель оправдывает средства...»

И чего ее разглядывать: самая обыкновенная и чересчур самостоятельная.

Истосковалось сердце рано осиротевшего, детдомовского мальчишки по теплу и ласке. Почти не помнил мать. Остались в памяти только добрые ее руки и усталый голос, напевающий над его кроватью. Вот и создал себе образ женщины — той, которую непременно встретит, трогательную и беззащитную, уютную, домашнюю. И самую прекрасную. Встреча с ней мечталась, как в рыцарских романах: спасти, защитить, прижать к груди. Так, кажется, написано и в стихах у Симонова. Дальнейшая жизнь представлялась радужной, но не очень ясной. Как живут в семье, почти не знал.

Война отбросила, перечеркнула юношеские мечты. Командир взвода, роты, затем батальона, Виктор Найденон воевал. Военные женщины ему не нравились, как те девчонки в детдоме с мальчишескими повадками — очень уж самостоятельные. У него не было к женщинам в погонах ни циничного, ни снисходительного отношения. Признавал их за равных, признавал за бойцов, за товарищей, был с ними строг, как вообще с солдатами, заботился, как и положено заботиться командиру о солдатах. Были в его батальоне две девушки-санструкторы. Одна погибла, вторая вскоре перевелась в медсанбат. Когда хоронили погибшую, насупившись, смотрел, как ее, завернутую в шинель, опускали в братскую могилу. Вспомнилось: никогда не просила себе поправки, всегда знала свое солдатское место. Всегда в бою. Сколько людей спасла! И проникся суровый капитан Найденон глубоким уважением к женщине на войне.

Лида!.. Почему он думает о ней? Она ведь из тех, кто на равных, и самостоятельная очень. И внешность самая обыкновенная. Может, не будь того дня рождения, так и не узнал бы ее. Тогда, в тот вечер, первый в жизни Виктора почти домашний вечер, всплыли неясные далекие воспоминания: дом, праздник, мать... Черт ее знает, эту девчонку, откуда она про гуся прознала. Случайно?.. Толик, наверное, разболтал. Никому, кроме него, ни одной душе не рассказывал капитан о доброй семейной традиции.

Славный тогда получился вечер. А Лида? Хм, вот странное дело. Оказывается, храбрые и самостоятельные девушки могут быть и уютными и трогательными. И слабыми тоже. Как она боялась из лодки

в воду шагнуть!.. Пришлось на руках нести. Что это, неужели свершилось: спас, защитил..

Повел бы он группу к школе или не повел, если б не Лида? Повел бы. Лида тут ни при чем. Школа, захваченная врагом, в создавшихся условиях штука серьезная. Танк прошел спокойно — могли и пропустить его. Тем более, если в школе автоматчики засели,— что они танку сделают! А может, и нет там никого, напрасная тревога. Завернем за угол, тут и школа. Скоро все станет ясно.

Но ясно стало раньше, чем предполагал капитан Найденов. Отряд свернул за угол. Танк в эту минуту достиг школы. Шипящий свист выпущенного «фау» — взрыв..

— Скорее, скорее! — торопил Найденов, словно что-нибудь еще могло спасти танк.

Найденов впереди, за ним Толик, лейтенант — командир комендантского взвода — и восемь солдат побежали по канаве.

— Смотрите, товарищ капитан,— крикнул Толик.

Они уже находились на противоположной стороне улицы, как раз напротив танка. Найденов выглянул. На мостовой копошились два человека. Вели они себя как-то странно, словно боролись, перекатываясь при этом друг через друга. Один — маленький, другой — большой. Маленький в гимнастерке, без полушубка. Нет, это не борьба. Большой-то вроде и вовсе не шевелится — это маленький его через себя перебрасывает. «Молодец санитар, ловко придумал», — мысленно похвалил Найденов. Санитар оглянулся, как бы прикидывая расстояние до канавы.

Лида! Найденова так и вынесло из канавы. Зацепился, упал. Сзади Толик повис на ногах.

— Товарищ капитан, вам нельзя! Товарищ капитан, не пущу! Надо — давайте я,— говорил Толик и тащил вниз своего Витю.

Найденов сполз в канаву.

— Ты что? Ты мной командовать будешь? Распустился! — заорал он в бешенстве.

— Товарищ капитан, вам нельзя,— умоляюще проговорил Толик.— Еще один оборот, и они сами к нам прикатятся.

— Принять раненого,— крикнул Найденов лейтенанту.

Безжизненное тело раненого танкиста подхватили на руки трое солдат. Лиду, живую и невредимую,— сам Найденов. Девушка испуганно глянула ему в лицо, растерянно улыбнулась и на мгновение прикинула лицом к мягкому воротнику его полушубка.

«Господи, какие у нее синие глаза,— ахнул Найденов.— Что это я? Последний этап — прижал к груди? Чушь какая-то».

— Бегите скорее в свой подвал. Раненого мы вам доставим. И чтоб носу оттуда не казать. Сейчас тут война будет,— сказал подчеркнуто сухо.

Он смотрел, как она, спотыкаясь, бежала по траншее-канаве, и думал: «Пошел бы сюда с отрядом все равно. Но оттого, что здесь она в опасности,— шел с особым волнением. Вот так. Надо быть честным и себе не врать».

— Лида, а тетki картошку принесли,— встретил девушку на пороге подвала Новенький.

— Съели?

— Что ты! Тебя ждем... Я подсчитал, вроде по две штуки на брата приходится. Дели. Надень полушубок-то. Потрогай, теплый.

— Где согрели?

— А мы им чугуны накрыли, чтоб картошка не остыла.

Раненые ели горячую картошку. Лида подседа к обожженному сержанту и клала ему в рот маленькие кусочки. В другом углу раненный в

живот механик-водитель прикрыл глаза: ему нельзя картошки, ему даже пить нельзя. А так хочется пить...

— Хорошо, да мало,— воскликнул Новенький с сожалением, обсосав последний кусочек тонкой кожуры.— Теперь и поговорить можно. На чем мы остановились? Шел, значит, лейтенант с санинструктором по войне, и вдруг кто-то кричит...

В разбитое окно ворвался треск автоматов.

— Ничего,— сказала Лида.— Это наши немцев из школы выбивают. «Ничего... Танк и тот погиб, а человек... Разве только в человека не будут бить из «фау».

— Самое время,— подчеркнуто бойко воскликнул Новенький.— Рассказывайте, товарищ лейтенант.

— Рассказывайте,— сказала и Лида.— Так спокойнее.

— Можно и рассказать,— согласился лейтенант.— Так вот, слышим мы, значит, кто-то орет. Поискали — нашли. Сидит в окопе фельдшер, из пехоты, наверное, незнакомый. Молодой парнишка. Держит перед собой правую свою руку, а на той руке палец указательный на коже болтается. Спрыгнули мы к нему в окоп. «Чего орешь? — спрашиваю.— Больно?» — «Нет, жалко». Девушка-санинструктор и так ему палец прикладывала к месту и эдак — ничего не получается. Начисто отбило палец, на кусочке кожи болтается. Она и говорит: «Давай я тебе его лучше отрежу. Рана чище будет, а то еще гангрена начнется». Взяла ножницы, опустила их в йод и чик. Перевязала, потом говорит: «Иди в тыл, нам некогда».— «А палец?» — «Брось».— «Мой палец?» — обиделся парень. «Давай его похороним», — посоветовал я. «Что ты! — замахал фельдшер и раненой рукой и здоровой.— Нельзя хоронить. Мне бабушка говорила, если хоть волос свой похоронишь или знать будешь, где и когда он похоронен,— смерть твоя скоро. Чего это я раньше времени помирать буду?!» — «Тогда придется бросить», — говорю.— «Мой палец-то. Мой!» Сидели мы, три чудака, в том окопе и соображали, что нам с пальцем делать. Нашел выход сам фельдшер. «Пойдемте,— говорит,— поищем солдата убитого, положим палец ему в карман. Будут его хоронить, и палец мой схоронят. А когда и где, я и знать не буду». Как решили, так и сделали. Походили, походили,— а война-то вокруг самая настоящая — стреляет и взрывается,— нашли убитого солдата, положили ему в карман гимнастерки фельдшеров палец и пошли себе в разные стороны. Он в тыл побрел, мы — танки догонять. Вот, собственно, и вся история. Такая, как есть, по факту и по существу. Если так, как я рассказал, описать,— по большому счету правда. Все просто, со стороны, может, немножко и смешно. Теперь вспоминаю: мальчишество, конечно... На войне, как в жизни, смешное, простое и трагическое рядом ходят. А написать? Всяко можно обернуть.

— Понимаю! — прервал лейтенанта Новенький.— Факт хоть и упрямая вещь, да существо его важнее. Надо, чтоб не просто факт,— правду, что в нем заложена, раскрыть... Вот как можно описать ваш случай, к примеру: «Бой, смерч, ураган. Трассы пуль прокладывают дорогу от вражеского пулемета до смерти. Светящиеся смерти. Трассируют мины и снаряды. Это большие смерти — накроет, не одного погубит. Идут по полю боя, расчерченному трассами пуль, двое девятнадцатилетних. Дети еще. Им бы на первом курсе в институте учиться, шпаргалки составлять, в оперу на галерку бегать, а они... И находят третьего. В глазах у того боль, отчаяние. Оторван палец. Он фельдшер, он мечтал стать хирургом, а вот нет пальца. Грохот боя глушит, дым расстилается по траве. Идут трое, надо пристроить палец. Не поднялась рука выбросить кусочек своего тела... Поняла горечь разлуки с пальцем девушка, понял и молодой лейтенант: «А ну как был бы он мой». Трассы, трассы, светящиеся смерти. Они миновали троих, трогательных в своем просто-

душии. Положили палец в карман убитого солдата. И пошли. Он, тот, что без пальца,— в тыл, понуро, словно тяжесть навалилась на плечи: прощай, мечта. Придется выбирать другую профессию. Они — навстречу трассирующим пулям вражьих пулеметов. Что их ждет?..» И так далее и тому подобное. Факт вроде бы налицо, а правды нет. Так, Лида?

— Что? — не поняла Лида.

Она слушала совсем другое: что там, на улице. Там было тихо. Почему тихо? Все кончилось?.. Для кого кончилось? Вот опять стреляют. Снова. Глупость какую-то плетет Новенький — трассы да трассы. Кто их когда видел? Фейерверк какой-то, а не война...

— Факты, факты,— истошно закричал вдруг обожженный сержант — Слышь, под окном стреляют!.. Подохнем мы здесь в подвале, как мыши в банке. Немцы не прикончат, сами подохнем. Одного вчера унесли...

— Тихо, тихо — выпей водички,— склонилась над ним Лида.

— Только одного,— сказал лейтенант связи.

— Только? Целую человеческую жизнь. Только!..

— С кем вы спорите? — прошептала Лида.— Вы же сами... Вы хотели, чтоб вас сильным запомнили, а вы... Вдруг кто слабость вашу заметит, о ней и напишет?

— Пусть пишет! Только прежде чем писать, пусть палец, самый маленький, мизинец, над горящей спичкой одну минуту подержит. Потом пусть пишет. О слабости и о силе...

Распахнулась дверь. Вошел Толик. За ним стояли солдаты-автоматчики.

— Комбат Найденов приказал всех раненых в школу перевести. Там подвал сухой и печка есть. Общий госпиталь будет для всех — для танкистов и мотопехоты. Наш врач уже вызван и фельдшер тоже. А ну, кто первый? Поддержим, поднесем. Полегонечку.

* * *

*...И бойцы собираются вместе —
Жизнь товарища перечесть.*

«Уважаемый Сергей Васильевич, не знаю, как Вам представиться. Наверное, лучше просто, как есть,— солдат. Из той же части, что и Ваш внук, из того самого танка, который водит старшина — Ваш внук.

Вчера у нас был большой праздник. Ваш праздник, Сергей Васильевич, по праву. Я всю ночь думал и решил написать Вам. Мои отец и мама очень обрадовались бы, если б кто мог обо мне такое рассказать. Но я солдат как солдат. как все, обо мне ничего не расскажешь. А Ваш внук — герой!

Прежде чем о празднике — сначала о буднях. Месяца два с небольшим прошло с того дня. Бой был как бой — обыкновенный. Только случилось в нем необыкновенное. Я тогда и разобраться не успел, как это случилось. Место у меня в танке неинтересное, невидное — заряжающий. А должность хлопотная: по сторонам смотреть некогда, знай успевай поворачиваться. В тот день особенно досталось: первый раз после ранения в бой шел. Отвык на медсанбатских хлебах».

Новенький перечитал написанное, подумал и старательно зачеркнул последние строчки: ни к чему, не обо мне речь.

«В общем подвиг, как я понимаю, свершается человеком в особую минуту, когда малым большое решается. Малое в такую минуту — своя жизнь, о ней просто не думаешь, потому что тут другая мера, выше — жизнь товарищей. Большое... Как Вам сказать, в каждом деле, самом малом, заложено главное, большое. Так и у нас на фронте. Удачная атака роты — большое дело для обеспечения успеха батальона. Хорошо,

стремительно продвинулся батальон — успех всей бригады. Вклинилась танковая бригада в оборону противника, пройдены первые траншеи — корпусу открыт выход на оперативный простор. Вошел корпус удачно в прорыв вражеской обороны — армия может развивать наступление, осуществить окружение группировки противника. Окружена, уничтожена крупная группировка немецких дивизий — победа на нашем фронте. Так я понимаю малое в большом. В тот день, как повел старшина, Ваш внук, свой танк в бой, что-то в этом роде получилось. Дорога одна, другой нет. Дорога через село, кругом лес, ни обхода, ни объезда. Ворвался танк наш (головным шел) в село, а в заулочке «тигр» притаился. Удобная позиция у «тигра», мог нас пошелкать всех, и не опомнились бы. Улица узкая, загромождали б ее подбитыми танками, захлебнулась бы атака. Тем более что село это командиры наши в расчет не брали, собирались его с ходу проскочить. Не знали и о «тиграх». Я так подробно пишу, чтоб Вам понятнее было, а тогда все произошло в одно мгновение.

Мы поравнялись с тем заулком, когда командир заметил «тигра». Очутились так близко друг от друга, что стрелять ни он, ни мы не могли — мертвая зона. Можно было б проскочить мимо, вряд ли он стал бы стрелять нам вслед. Но за нами другие танки шли, — их он, конечно, встретил бы огнем. Вот тут-то и проявилась в сознании Вашего внука самая высшая мера солдатского долга: жизнь товарищей. Секунды все решали. Крикнул старшина: «Уберите пушку назад! Держись крепче!» — и за левый рычаг. Танк развернулся — лицом к лицу, нос к носу с «тигром», да как рванется вперед. Не знаю, то ли оттого, что броня о броню с огромной силой сшиблись, то ли оттого, что головой я крепко стукнулся, — грохот, скрежет показались ужасными. И стихло сразу. Слышу, старшина ругается и плюется. Сплюнет, скажет крепкое слово, опять сплюнет. Зубы выплевывал, от удара зубы у него выбиты — все передние, и нижние и верхние. За зубы внука не беспокойтесь. Есть у него уже зубы, полон рот. Командующий приказал все золотые вставить. Так и сказал, говорят: «Пусть как улыбнется танкист, все люди видят — драгоценный человек». Потому что своим тараном многое сделал Ваш внук. Выходит, и один солдат может решить успех большой операции. Об этом я уже писал — малое в большом: солдат, рота, батальон и, бери выше, фронт».

Подошла Лида. Новенький поспешно сунул написанные листки в карман.

— Письмо пишешь?

— Так, девчонке одной...

— Послушай, а как тебя зовут? А то все Новенький да Новенький.

— Миша.

— Скажи пожалуйста, какое имя.

— Какое?

— Такое, ласковое и смешное: Миша, Мишка. Наверное, от имени и ты такой... ласковый.

— Ну уж...

— Не ну, а да. Думаешь, я забыла, как ты мне полшубок согрел? Сказал тогда: картошка чтоб не остыла. А я поняла — чтоб мне скорее согреться. Так ведь?

— Предположим.

— Почему ты тогда с виду грубый, неумный какой-то?

— Это я сверху, — признался Новенький. — Внутри у меня... — он запнулся: надо ли говорить?

— Что? Кошки скребут, когда кого-нибудь обидишь?

— Я не про то. Понимаешь, внутри у меня музыка и стихи. Стихи и музыка. Знаешь, кем я мечтал стать? И не догадаешься. Сразу и

поэтом и композитором. Очень музыку люблю, но такую, как бы тебе сказать, такую, которая со словами: оперы люблю, романсы, песни. Понимаешь, поэт пишет слова, композитор — музыку, вместе — песня.

— Вот ты какой,— задумчиво сказала Лида.

— Совсем не такой,— усмехнулся Новенький.— Писал стихи — плохие, пытался музыку сочинять — не выходит. Все на что-то похоже... Наверное оттого, что много чужих песен знаю наизусть. Да нет, просто нету у меня никакого таланта ни к стихам, ни к музыке. Одна любовь. Знаешь, я целые оперы наизусть знаю. Хочешь спою, называй любую.

— Не надо,— сказала Лида.— В другой раз.

— И правильно,— согласился Новенький,— голоса-то у меня тоже нету.

— Кем же ты теперь будешь?

— Наверное, строителем. Хочется, понимаешь, создавать что-то такое, чтоб людям осталось, чтоб люди радовались.

— У тебя папа и мама есть?

— Есть. Старики у меня хорошие. Настоящие люди. Отец — ученейшая личность, профессор-математик, а мама — просто мама. В госпиталь ходит помогать. Отец пишет, как привезут раненого танкиста, мама весь день сама не своя, меня в том танкисте видит. Поправится человек, она его домой тащит. Организовала общежитие бронетанковых войск. Ну, народ мы, сама знаешь, какой — нахальный. Так друг через друга и передают ребята мамин адрес. Как кто из госпиталей — остановиться негде,— к маме. Офицеры за назначением в Москву приезжают — неделями у нас живут. Встретил я однажды одного лейтенанта. Он мне и говорит: будешь в Москве, хочешь, адресок дам, там танковая мама есть, она приютит. А это моя мама.

— Приятно.

— Еще бы! Как привет получил.

— А сестра, брат есть?

— Нету,— жестко сказал Новенький. Гибель Клавдюшки — его боль. О ней он не хотел говорить даже в эту неожиданную минуту откровения. Есть вещи, о которых нельзя просто словами, а грудь не разорвешь, не покажешь сердце и незаживающую в нем рану.

Помолчали.

— Хорошо, что старшине орден Красного Знамени дали,— сказала Лида.

— Еще бы. Знаешь, ребята два дня бегали, пока подсолнечного масла достали.

— Зачем?

— Как зачем? Мама кожаные кресла в отцовском кабинете всегда смесью сливочного и подсолнечного масла натирала. Постоят, масло впитается, блестят, как новенькие. Мы старшине куртку дедову и надраили.

— Мы, это ты?

— Про мамин рецепт я, конечно, вспомнил. А масло все вместе добывали.

— То-то командир корпуса руки платком вытирал после того, как орден к куртке старшины приколот,— засмеялась Лида.

— Просохнуть не успела, масло не впиталось. Зато блестела как!

— Блестела здорово. И орден на ней очень хорошо выглядит. Что значит на месте. Хороший он.

— Кто?

— Старшина, хоть и рыжий.

— Хороший,— согласился Новенький и добавил осторожно: — Другие тоже есть хорошие...

— Другие? — Лида покраснела.— Кто другие?

— Сама знаешь.

— Миша, прочти. У тебя мама хорошая, у меня нет мамы. Прочти ты. — Лида протянула Новенькому клочок бумаги.

Записка написана крупным почерком, половина слов перечеркнута. «Лида, я жду вас....» — зачеркнуто. «Если возможно, приходи» — зачеркнуто. И дальше размашисто: «Жду около озера. Очень жду. После одиннадцати, когда стемнеет. И позже буду ждать. Найденов».

— Пойдешь?

— А что сказала бы твоя мама?

— Иди, — решительно сказал Новенький. — Ты его любишь, иди. Он парень честный. Или боишься?

— Не-ет...

— Хочешь, я пойду за тобой следом? Он меня не увидит.

— Так поступать — значит, не любить, — покачала головой Лида. — Ты не понимаешь, я совсем другого боюсь.

— Чего?

— Счастья.

— Ты, счастья? Ты — Счастливая?

— Теперь, кажется, да.

— Тогда иди, — сказал Новенький. — Иди.

Когда Лида ушла, Новенький достал недописанное письмо старому буденовцу, деду рыжего старшины, и коротко дописал: «О буднях все сказано. Теперь о празднике. Ваш внук, перед строем других награжденных, человек в триста, получил вчера орден Боевого Красного Знамени. Орден приколот к его кожаной куртке. Слились вместе ваши боевые награды. Потому я и говорю: праздник наш — это Ваш по праву, потому и написал письмо, чтоб поздравить Вас. Поздравляю.

Михаил.

Р. С. Скажите, неужели Вашего рыжего внука никто не ждет? Не может быть, чтоб у такого парня не было хорошей девушки. Если нет, ищите ему невесту. Плохо солдату на войне без писем. Я вот переписываюсь с одной, нашел письмо в подарках, в варежке. Поищите такую варежку для старшины, чтоб сердце не сохлось. Очень это нужно ему сейчас».

Про варежку и свою переписку соврал. Что поделаешь, — не напишешь же деду: «Сердце Вашего внука разбито...»

Тихая ночь, черная, черная. Тоненький серп месяца висит просто для украшения, свету от него никакого. Вот досада: забыла фонарик. И днем-то трудно, а в темноте и подавно не разберешься, где дорога, где грязь. Жидкий чернозем размыт весной, перепахан танками — ни пройти, ни проехать. Не пойдешь к танкистам, не попросишь: отвезите, ребята, к озеру, на свидание иду, самое первое. К озеру и впрямь впору на танке пробираться. Ноги увязают глубоко, одну вытащишь, другая увязнет. Скользко. Только бы не упасть. Очень глупо упасть. Вот и озеро!

Интересно, что у луны сегодня — рождение или смерть? Если слева к лунному серпу приставить воображаемую палочку, можно определить: получится «р» — рождение, не получится, значит — буква «с» — смерть...

Что если загадать: «р» — все исполнится, «с» — ничего не будет. Лида закинула голову и вдруг взволновалась, словно и вправду оттого, рождается луна или в ущерб, зависит все счастье ее жизни. Даже слеза набежала, отчего лунный серп размылся, затуманился, никак не приладишь к нему воображаемую палочку. Приладила все-таки: «р»! Лида тихонько засмеялась: исполнится, исполнится...

— Ой!.. — нога скользнула. Лида не удержалась, упала на вытянутые вперед руки.

— Лида, ты? — спросили из темноты. «Он уже здесь. Ох, что же это. Надо так глупо плюхнуться чуть ли ему не под ноги... Вывозилась-то как».

— Лида, где ты? — уже над самой головой. Голос родной, такой знакомый, тревога в нем. Девушка так поспешно поднялась перед Найденовым, что он даже отступил на шаг. Темнота — не было ничего, и вдруг — Лида. А она стояла, растопырив испачканные пальцы, растерянная, не зная, что делать. Когда шла, решила: увижу, подойду, обниму сама, первая. Обнимешь такими руками...

Найденов осторожно взял девушку за плечи: маленькая какая, едва ему до груди достает.

Склонись, боевой комбат, склонись ниже. Не научился за три с лишним года войны пулям «кланяться», склонись к любви своей!

Близко-близко увидела Лида черные глаза, сдвинутые к переносице брови.

Мелькнуло воспоминание: Днепр... Тогда тоже близко... только не так, совсем не так, и глаза у него сейчас не строгие — ласковые.

Лида вздохнула, зажмурилась, и руки ее сомкнулись вокруг мощной шеи Найденова. Маленькие руки с растопыренными испачканными пальцами.

— Лида!

— Да.

— Любишь?

— Да...

— Очень?

— Да, — сказала Лида. — С той минуты... когда ты нашел меня... там, в реке.

— Значит... ты уже с тех пор?..

— С тех пор.

— А я-то дурак!

— Ты умный, ты самый умный.

— Сколько месяцев, сколько месяцев, чуть не год. Сколько счастья упущено, потеряно, и все я.

Найденов наклонился, заглянул Лиде в глаза. «Какая ты красивая, любовь моя, какая добрая и сильная». Он забыл о своем идеале любимой — представлял ее слабой и прекрасной, как Дина Дурбин. Он любил Лиду за силу, за самостоятельность, за железный характер, ему одному поддавшийся. А красота? Кто знает, что такое истинная красота? Разве есть на всем свете кто-нибудь прекрасней того, кого мы любим?..

— Лида, хочешь не хочешь, завтра — свадьба, — с внезапной суровостью сказал Найденов.

— Так сразу — завтра?

— Да. Чтоб не было кривотолков, пересудов всяких. — Подумал и произнес торжественно, как заклинание: — К счастью надо идти, как в бой: в рост, открыто и уверенно, на жизнь и на смерть. И «не маневрировать», так, кажется, сказал однажды маленький санинструктор?

— А война еще долго... — вздохнула Лида и быстро поправилась, сказала, пожалуй, чуть-чуть громче, чем надо: — Я, знаешь, ужасная собственница. Я тебя никому не отдам, у самой смерти вырву! Виктор, ох, Виктор...

— Завтра свадьба, — сказал Найденов. — Беги домой.

— А ты куда?

— Я? В штаб бригады. Раз загсов нет, пусть приказом отдадут: капитана Найденова и санинструктора Галанину считать отныне мужем и женой.

Приказ написали, свадьбу отпраздновать не удалось — на рассвете бригада вступила в бой.

Любовь на войне — трудное счастье. Жутко стало видеть, как вздрагивает подбитый танк, как падает в бою солдат. Не за себя жутко — за него, за Виктора. Перевязывает Лида раненого, а перед глазами Виктор... Что как он тоже лежит, раскинув руки? И кровь, кровь, пенясь, выбрасывается из раны, стекает на землю. Похороны, братская могила, салют,— все это потом, и не имеет никакого значения. Жизнь ушла в землю раньше с кровью из раны. А земля здесь уже иная — Польша. После войны родным не так-то просто будет приехать могиле поклониться — за граница.

Бои, бои. Днем и ночью — вперед, вперед. Капитан Найденев говорил: «Люблю атаку. В атаке солдат бегом бежит. Бегом-то скорее до Берлина доберешься, чем пешком в походе. Еще больше люблю, когда корпус в прорыв вводится. Автоматчики мои на танках. И быстрее, и сапоги не снашиваются».

Бегом не пробежишь тысячу килостргов, дыхания не хватит. Шагом, шагом, твердым, уверенным, только вперед. Уже и Польшу чуть не всю прошли. Как будто до Гитлера рукой подать. А падают, падают солдаты, горят танки, как и в сорок первом, как на Курской дуге, как на Днепре... И несет матерям военная почта казенные конверты с горестной вестью. «Ваш сын... смертью храбрых...»

Медленно ходит военная почта, долго. Запаздывают письма, а которые и вовсе не доходят. Казенные же конверты, как сговорились,— не идут, летят, приходят.

— Виктор, Виктор! — зовет сердце.

— Сестра, сестричка! — кричит раненый. Надо скорее к нему, спасти, остановить зловецкий конверт, тот, что слишком торопится принести горькую весть. Спасти, чтоб сам написал в письме солдатском, неторопливо бредущем по полевым почтам: я жив.

Бои, бои, что ни бой — разлука Лиды и Виктора, у каждого — свое место в бою. Зовут Лиду на помощь раненые, как и прежде, идет она за танками, как и раньше, верят танкисты: «Лида спасет, а если что — и из раневой фляги подкрепиться даст».

Все осталось по-старому. Служит Лида в своем втором танковом батальоне. Разве только братьев прибавилось — автоматчики Найденева. Двоюродные братья, родными были и остались для Лиды танкисты. Хотя поначалу по-разному и не всегда по-доброму восприняли танкисты весть о ее замужестве.

Живет одна женщина среди многих мужчин, товарищей. Привыкли они видеть в ней сестру, и для нее все равны — все братья. Но вот выбрала она себе одного из всех. И не всяк умеет снова сестру в ней увидеть. Посмотрит иной: батюшки, да она, оказывается, женщина!.. Плохо ли, хорошо ли такое внезапное «прозрение» — трудно судить. Люди есть люди, жизнь есть жизнь.

Было это в первые дни. «Брожение умов, черной зависти и кобелизма», — как определил Новенький. И случилось, указал один из танкистов на проходящих мимо Лиду и Найденева, пропел вслед: «Кто их венчал, скажи?»

Рыжий старшина застонал, будто ударили его в самое сердце. Вскочил рыжий старшина, схватил танкиста за ворот гимнастерки, рванул к себе, сшиблись грудью, сказал, жарко дыша танкисту в лицо:

— Бой их венчал. Понял, подонок? Бой венчал на верность. Пули венцом над головами кружились. Снаряд заместо кадила был. А мы все за свидетелей — чтоб любовь да совет — навечно!

Спасибо, Новенький подбежал, разнял. Старшина насупился, в танк полез. Танкист пальцы за ворот засунул, дыхание восстанавливает:

— Чуть не задушил, бешеный.

— Эх ты, певец,— насмешливо бросил ему Новенький.— Сфальши-

вил, брат. Не в той тональности арию пропел. Нежно надо было, нежно. И вообще, чтоб ты знал на будущее,— это дуэтом поют.

Новенький искренне радовался за Лиду. Должна же существовать некая мера справедливости на свете. Хоть через раз. Обошла радость сестренку Клавдюшку, так и умерла нелюбимой. Пусть хоть Лиде — счастье.

И все осталось по-старому. Только рыжий старшина стал молчалив. Потому что, как всем в батальоне давно известно, мог говорить он без усталости — хоть в ночь, хоть в полночь — о дедовом кожаном обмундировании и о Лиде. О кожанке говорить стало неудобно — на ней блестит его собственный новенький орден. Еще скажут — хвастаешь. Одно дело — дедовым орденом, другое — своим.

О Лиде? О Лиде старшина тоже не мог говорить. Не расскажешь, как мечтал увидеть Лиду в малиновом цветастом сарафане, веселую, поющую и непременно в красных туфельках на каблукках. К сарафану идут сапожки. Но сапожки старшина отменил. Находилась в сапожищах на войне — пусть будут туфельки. И дед сплясал бы гопака на свадьбе внука, да еще с такой девушкой. С войны привез невесту — товарищ, боевая подруга. Не будет свадьбы, не будет и малинового сарафана и красных туфелек. О чем же говорить? О том, что остался он ей добрым товарищем, заботливым старшим братом, так же, как все, не больше. А что она осталась для него его грустью, его мечтой, его болью,— об этом и себе не всегда признаешься.

Бои, бои, что ни день — бой. Нельзя солдату думать о разбитом сердце.

Холодно, пасмурно, и непохоже, что весна. Вдалеке — город, очертания домов в мелкую сетку — дождь.

— Берлин,— сказал Найденов.

— Виктор, ты веришь, что это Берлин? — тихонько спрашивает Лида.

— Ты что, шутишь?

— Не шучу. Мне вот не верится. Берлин! В прошлом году смотрела кинохронику. Помнишь, кинопередвижка приезжала? Там был такой кадр: советские летчики загружают в самолеты авиабомбы. На бомбах надпись: «На Берлин!» Как это далеко казалось — Берлин. Где мы были в апреле прошлого года? Не отвечай, это не важно. Важно, знаешь, что? То, что на танках,— понимаешь? — на новых танках, прямо на заводе руками рабочих написано через всю башню: «На штурм Берлина». Ты только подумай — на танке! Это не самолет, это — близко, рядом. Самолет во-он куда может залететь, танк вот он — здесь. Ты видел надписи? Нет? Посмотри, к нам в батальон пополнение пришло с новой матчастью. Берлин... Город как город. И все-таки — Берлин. Ты знаешь, что такое Берлин?

— Ты же сказала — город как город. Город, за который и в котором предстоит моему батальону вести бой и, кажется, серьезный.

— Ничего подобного! Берлин — это конец войне. Скажи, ты верил, что война когда-нибудь окончится?

— Лида!

— И я верила. Но сейчас?.. Ты подумай: остался один город, один только город, и конец войне! Представь себе: ты просыпаешься утром на следующий день после конца войны,— и тебе нечего делать, не надо получать боевую задачу, ничего не надо — мир. Невероятно, а? Вроде бы бездельниками станем, самые веселые в мире безработные.

— Пока что работы хватает,— нахмурился Найденов. Ему и понятно Лидино веселое возбуждение и чуточку раздражает: бой впереди тяжелей.

— Мы сегодня и до конца будем вместе,— решительно заявляет

Лида.— Я пойду с тобой, хорошо? Раз конец войне, надо быть вместе, чтоб мир начинать вместе. В самую-самую первую минуту после войны хочу быть с тобой рядом.

— И потом всю жизнь,— потеплел, улыбнулся Найденов.

— Всю жизнь,— эхом откликнулась Лида и зажмурилась, так легко представить дорогу длинную, длинную — жизнь.

— Лидуша, прости, сейчас не время. Или, может, как раз самое время?.. Скажи, у нас будут дети?

— Будут,— серьезно кивнула Лида.— Много будет. Знаешь, я всегда завидовала нашей соседке: семья у нее большая — красиво! За стол садятся — восемь голов из-за стола торчат, мал мала меньше. Весело. А я у мамы одна — скучно.

— Восемь? Хм, озорства многовато.

— И радости. А шум какой в доме — одно удовольствие! Тому на горшок надо, тот с горшка, а те двое подрались, рассудить надо, кто прав, кто виноват. Старший лентяем оказался, откуда что берется — отец и мать вроде люди работающие. Сына же из-под палки уроки учить заставляешь. Озорной и голубятник.

— Мало тебе шуму за войну! Непокойная ты моя душа...

— Плакать наши дети никогда не будут,— продолжает мечтать Лида.— С чего им плакать, раз жизнь им мирная завоевана? Думаешь, не оценят, какой кровью им радости достались?

— Думаю, что оценят. От нас будет зависеть, как воспитаем. Избалуем — не оценят, все отбросят и забудут. Людьями вырастим честными — шапку снимать будут перед памятником солдату.

— Так это Берлин, Виктор?

— Берлин, дорогая.

— Пойдем.

— Ты иди, Лидуша,— мягко говорит Найденов.— Иди, я скоро. Мне подождать надо. Сейчас знамя принесут.

— Знамя? Наше, комсомольское?

— Его. Ставить будем в Берлине. Выберем самый высокий дом в центре Берлина и поставим!

— Почему мне уйти?

— Так правильнее. Я людям задачу ставить буду особенную — на подвиг.

— На подвиг,— задумчиво повторила Лида.— Страшно-то как,— может, и на смерть...

— На подвиг,— жестко говорит Найденов.— Будет знамя комсомольцев Москвы над Берлином.

...Поезд шел бы от Москвы до Берлина двое суток, самолет летел бы шесть часов, русский солдат шел четыре года.

Дороги, дороги, пыльные и усталые, кровью обильно политые, кровью и потом солдатским, соленым, как кровь, ногами отмеренные, мужеством проверенные — дороги войны.

...— Уходите... Побьет нас немец, ох, побьет. Возвращайтесь скорее. Ждать будем.

— Раненых спрячьте, женщины. Из окружения нам пробиваться, раненых не унести.

— Спрячем. Вернетесь ли?

— Ждите — вернемся.

...— Ты кто такой есть?

— Солдат. Ранен был под Можайском. Женщины в лесу в землянке выходили.

— Солдат? Подходящая кандидатура.

— Еще повоюем — партизан.

...— Сыночки, Москву-то. Москву не сдавайте. Поберегите Москву. Без сердца не жизнь.

— Побережем.

...Танкисты 22-й танковой бригады особо отличились в боях по обороне столицы нашей Родины Москвы. Московский комсомол вручает танкистам свое знамя. Сражайтесь под ним с честью. Пронесите знамя до самого Берлина.

— Клянемся.

...— Ой, красны йдут! Ой, лышенько, то ж наши! Сынки, сынки ридны! Кончилось фашистское время, годи! Наши!

— Поворотись, сынку, поворотись, не нагляжусь. Глянь — с погонами, як генералы! От победителя идути, от генералы наши! Здравуйте, хлопчики, в щастливый час! С победою!

— Солдаты мы советские, сыны ваши, мамо. Вернулись мы.

— Здається мени, шо тот, шо у мене квартирувал у сорок первом, чернявый був.

— А я белявый. Так я ж и не говорю, что я вернулся, я и говорю:
— Мы вернулись.

...— На знамя, равняйся, смирно!

Четко идут знаменосцы, вышли в центр, остановились. Опустился на колено командир, поднял дрогнувшей рукой тяжелый шелк знамени, прижал к губам.

— Будем бить фашистов по-гвардейски.

...— Днепр река серьезная. Река и рубеж вражеской обороны. Кто первый ступит на тот берег Днепра,— Герой Советского Союза.

— А мы с Москвы-реки, с Волги да с Дона. Пишите в Москву, чтоб Золотых Звезд побольше наготовили.

— Перейдем.

...— Братцы, где ж столбы-то? На границе столбы должны стоять, полосатые. А ну, руби березку. Не сдирай кору-то, не сдирай. Поставим, как есть. Краски все одно нет, чтоб полоски нарисовать, а она рябенькая. Послужи, родная, пограничным столбом между Россией и Европой.

— Граница наша. Навечно.

...— Пан солдат, прошу звиненья... Там муї лёх, в нем германец сховался. То злой человек, недобрый. Из эсэсу. А за мясом, прошу пана, лагерь концентрационный. Народ замучился, на вас чекают... И моя цурка...

— Давай сюда гада — судить будем. Узников освободим.

...— Kind, mein Kind. O, mein Gott!

...—

— Чего испугалась? Давай посудину. Мы твоему киндеру шей плеснем.

— Моего сына убили, твой — пусть живет.

...— Ой, панове, там юш Одер, такой широкий. На танках тенжко.

— Ничего, Одер так Одер, мы этим рекам и счет забыли.

— А йти нияк до самого Берлину?

— До самого.

— Дойдем.

И дошли.

...Рыжий старшина и Новенький шли по Фридрихштрассе. Там от последнего снаряда тридцатого апреля сорок пятого года, в последний раз в этой войне, погиб танк, а в нем четыре русских парня в танковых шлемах. Там около танка — братской могилы четырех юношей, погибших на границе войны и мира,— будет митинг.

— А все-таки жаль, что не наше знамя на рейхстаге,— вздохнул Новенький.

— Зато наше раньше подняли, на целых два дня,— возразил старшина.

— Но не на рейхстаге.

— Все равно раньше. Интересно, что было у Гитлера в том доме, на котором комсомольское знамя?

— Говорят, министерство иностранных дел.

— Риббентроп и все такое?

— Вот именно.

— Тоже ничего. Подходящее место,— удовлетворенно заключает старшина.

Перепрыгнули через обломки дома на мостовой. Здесь был завал. Видно, как проходили танки.

— Скажи, что ты за посылку получил? — спрашивает Новенький.

— Черт те что. Варешки, весной-то!

— Варешки? — воскликнул Новенький. «Молодец, дед, сработал». — И больше ничего?

— Письмо еще дурацкое.

— Дай прочесть.

— Если не выбросил, пожалуйста.— Старшина пошарил в своих многочисленных карманах, нашел смятый листок.— Читай и порви.

Новенький раскрыл письмо: «Дорогой товарищ герой, пишет незнакомая Вам девушка Лида...»

«Вот так да! — тихонько присвистнул Новенький.— Холостой выстрел получается. Или хуже того — прицельно по своим».

— Ну что? — спросил старшина.

— Действительно глупо: варешки весной.

— Вот и я говорю. Порви.

Перебрались еще через один завал. Свернули за угол. Впереди, взявшись за руки, идут двое.

— Отстанем,— сказал старшина и остановился.

— Почему?

— Не видишь? Лида с Найденовым, нехорошо мешать людям.

— Постоим,— согласился Новенький.— Свернут за угол, и мы пойдём. Закурить есть?

— Трофейные.

— Солома,— проворчал Новенький, но сигарету взял.

Из дома выбежал маленький мальчик. Лида и Найденов остановились около него. Лида что-то искала в кармане шинели. Нашла, протянула ребенку.

— Сахар, наверное. Она весь сахар перетаскала, ребятишкам скармливает,— сказал Новенький.

Старшина промолчал.

— Товарищ капитан, туда нельзя! Товарищ капитан! — И не успели друзья опомниться, как выскочивший откуда-то Толик пробежал мимо них.— Товарищ капитан, там фашисты. Назад!

От неожиданности танкисты замерли на месте. Они увидели, как Найденов сгреб мальчишку, отбросил в сторону и только тогда выхватил пистолет. Лида раскинула руки и кинулась к Найденову, словно хотела закрыть его собой. Толик на бегу выпустил длинную очередь из своего автомата по окнам дома, под которыми находились Лида и Найденов.

Шипение, тихий свист фаустпатрона и разрыв почти слились...

— Лида! Лида! Лида!

— Ви-итя-я-а!

Они уже не слышали. Ни горестного крика рыжего старшины, ни

отчаянного вопля верного Толика, впервые вслух назвавшего своего командира по имени.

На них обрушился грохот, и тысячи огней, и тысяча смертей, из которых две — самые беспощадные.

На тротуаре, прижавшись к дому, всхлипывал немецкий мальчик. А может, это не он, может, это жалобный плач их неродившихся детей...

— Я буду читать,— говорит Новенький.

— Может, не надо? — спросил рыжий старшина.

— Надо. Так легче с ней проститься. Через ее жизнь.

— Читай,— сказал комбат-два.

— Здесь черновик ее письма к отцу, тогда, когда он ее к себе звал. И письмо отца — вчера получила, вместе в штаб ходили за почтой. Сначала ее письмо, да? Слушайте:

«Ты очень прав, папа, нам, конечно, нужно было быть вместе. Пойми и меня. У каждого свое главное дело в жизни. Ты выдаешь белье, брюки, гимнастерки, соль и пшеничные концентраты; бинты считаешь, наверное, на километры. Не сердись, я не в упрек. Все нужно и важно. Но у меня нет хозяйственных склонностей. Я по-своему люблю людей, хочу быть им помощницей в самом трудном — в бою. Знаешь, я была уже во многих боях. Какие здесь замечательные люди, командиры, солдаты! И меня все знают и помнят. Идешь, вдруг кто-то окликает: «Лида, сестренка!» Обернешься и не сразу даже вспомнишь, где и встречались. Как я могу от них уйти? Танкисты говорят: мы твои братья. А я думаю — все вы мои дети. Понимаешь, раненые — что дети, беспомощны, и нуждаются в заботе. Какая мать бросит своих детей! Не сердись, папа, встретимся после войны. Целую тебя крепко, папуленька милый. Твоя Лида».

— Я не могу другое читать,— глухо проговорил Новенький.

— Давайте я прочту,— сказал комбат-два.— Слушайте.

«Ты жива, моя мужественная девочка, и эту радость невозможно высказать словами. Ты прошла трудный, славный путь. Твои хрупкие девичьи плечи выдержали невероятную тяжесть и не надломились. Из недавней школьницы ты выросла в крепкого, закаленного человека. И хотя прошла ты суровый мужской путь, для меня ты все девочка. Дорогую головку твою хочется прижать к груди, взять тебя на руки, побаюкать».

Война окончилась, родная. Начинается новая жизнь, которая предъявляет новые и очень серьезные требования к человеку. Вспомни, еще в сорок втором году ты писала мне, что мечтаешь стать врачом. Ты сумела выбрать единственный и правильный путь в сорок первом году, сумей это сделать и сейчас. Этот путь — медицинский институт. Вступительные экзамены начинаются в июле. Смотри не опоздай».

Счастливая... Все верили в твое счастье, а ты щедро вместе с жизнью отдала его людям.

Живите, люди, счастливо!



ЧУДЕСНАЯ ВСТРЕЧА

РАССКАЗ

Скорбные исторические судьбы первых месяцев Отечественной войны бросили многих советских людей в фашистский плен — во мрак рабства и гибели. Я был среди них.

Глубокой осенью 1941 года тысячные колонны израненных, истомленных длинной дорогой красноармейцев, шатаясь, то под дождем, то под снегом, в тяжелых промозглых шинелях брели, угоняемые в глубокий фашистский тыл. К сапогам налипали пудовые комья скользкой размокшей глины. Лица, обросшие многодневной щетиной, выглядели серыми, головы были понурены. Тех, кто терял последние силы и отставал, фашистские конвойные палачи добивали. Достаточно было пленнику, поскользнувшись, упасть и от слабости не сразу подняться или устало присесть на обочине у дороги, как он тотчас же получал фашистскую пулю в затылок. Путь, пройденный пленниками, был устлан сотнями трупов. Жители придорожных селений со слезами и горькими вздохами смотрели на угоняемых.

Раненые лошади надрывались в натуге, таща на перегруженных санитарных повозках раненых красноармейцев. Когда лошади, выбившись из сил, останавливались или падали, фашистские конвоиры — девятнадцатилетние парни с молочно-голубыми глазами — равнодушно и деловито пристреливали всех лежавших на этой повозке.

Несколько раз колонна, в которой был я, ночевала в открытом поле под дождем... В Смоленске, возле разбитого авиацией вокзала, нас, наконец, погрузили в товарные вагоны. Казалось бы, это должно было дать отдых людям, измученным пешим этапом. Но в ужасающей тесноте заморенные и раненые пленники не могли отдохнуть. Поезд шел с невозможной медлительностью, часами простаивая где-то на запасных путях. Люди страдали, стиснутые друг другом, коченея в ледящем смраде закрытых вагонов; всех бил озноб, мучили голод и жажда.

Многие в трехдневном пути скончались от ран, без питья и пищи...

Наконец разгрузили вагоны. Колонну гнали по разбитому Минску, где стояли целые улицы только стен от разбомбленных домов — как пустые скорлупки орехов.

В минском лагере нас покормили жидкой болтушкой. Возле лагерьной кухни, под открытым небом, под мокрым снегом, не вводя в теплые помещения, колонну построили снова к пешему маршу. Меня не дер-

жали ноги. Я не мог больше сделать ни шагу и лег на землю. Смерть от выстрела конвоира мне была уже безразлична. Все вокруг понимали, что меня ожидает, уговаривали подняться. Но встать я не мог и не хотел. Вдруг меня резко сильной рукой рванул из лужи какой-то незнакомец с повязкой полицейского на рукаве. Он поднял меня и поволок вдоль колонны с грубой и непристойной руганью. Он протащил меня за шиворот мимо строя пленных и группы конвоиров-немцев и приволок к какому-то казарменному зданию. Вдали от людей он стал неожиданно вежлив и ласков. Оказалось, что он узнал меня: летом, на фронте, я приезжал как военный корреспондент в ту часть, где он был секретарем дивизионной газеты. Значит, сам он был по званию политрук или младший политрук... а тут, в плену, — лагерный полицай! Я так и не вспомнил его, и он даже мне, спасенному им, не назвал своего имени.

В тесном и грязном помещении, куда он меня привел, прямо на затоптанном полу, в ожидании дальнейших распоряжений, кучками сидели и лежали сотни полторы пленных, с серыми, изможденными лицами. Это были много дней не умывавшиеся, убитые горем люди. Многие из них страдали от ран и болезней. Они кутались в прожженные у костров и простреленные окровавленные шинели. Раздавались стоны, надрывный кашель.

Мой спаситель успел мне шепнуть, что после обеда сюда придут врач и фельдшер с обходом и возьмут меня в госпиталь. Он тотчас же поторопился уйти, чтобы никто не узнал, что я «незаконно» выведен им из этапа, который теперь уже погнало дальше.

Кто-то носил по помещению воду, продавая ее по десять рублей за кружку. У меня денег не было, я не мог напиться. Другой «коммерсант» продавал на закурку махорку и к махорке впридачу давал на завертку бумаги. У меня на закурку надежды не было тоже. Я просто лежал на полу, отдыхая от тесноты вагона, от холода и дождя, от бесконечного марша по липкой, тяжелой глине.

Вдруг мой взгляд уловил в руках продавца махорки листки бумаги с короткими строчками стихов, от которых он отрывал на закурку. И я до боли захотел, захотел во что бы то ни стало прочитать эти стихи. Мое желание оказалось сильнее жажды и голода. Я не просил воды, не кланчил махорки у «богачей»-соседей, терпел. Но тут я не смог удержаться:

— Дай листок,— попросил я торговца махоркой.

Такой же, как я, голодный, обросший щетиной, измученный человек оторвал мне «бесплатно» лоскуток на закурку.

— Нет, ты дай целый листок,— настойчиво попросил я его.

— Какой-т а кой целый? Тут, может, двадцать закурок! Ты что?! — возмутился он.

— Да я верну. Мне прочесть. Почитать стихи,— пояснил я.

— Почита-ать?! — Он уставился на меня, будто я спятил.



Степан Павлович Злобин — известный советский писатель. Его романы «Остров Буян», «Салават Юлаев» и «Степан Разин» пользуются неизменным успехом и любовью читателей.

В конце прошедшего года в издательстве «Советский писатель» вышел многоголетний труд Степана Злобина — роман «Пропавшие без вести».

И соседи оглядывались на меня, как на больного, который бредит. Просьба дать табак на закурку, мольба о глотке воды, стон, молитва, проклятие, непристойная ругань — все было здесь понятнее...

— Воротишь? — переспросил удивленный торговец. — Ну на, почитай. — И он снисходительно протянул мне листок.

Опаленные взрывом, мои глаза гноились, слезились, двоились в глазах буквы. Я, однако, с жадностью начал читать страничку:

...Но что сказал я? Где Руслан?
Лежит он мертвый в чистом поле;
Уж кровь его не льется боле,
Над ним летает жадный вран,
Безгласен рог, недвижны латы,
Не шевелится шлем косматый!

Пушкин!

Нет, вам не понять, друзья, моего волнения. Вам, кто не встретился с Пушкиным на таком перепутье смерти и скорби, никак не понять великого тогда для меня смысла встречи с этим стихом, с его живой музыкой...

Вокруг Руслана ходит конь,
Поникнув гордой головою,
В его глазах исчез огонь!
Не машет гривой золотою,
Не тешится, не скачет он,
И ждет, когда Руслан воспрянет...
Но князя крепок хладный сон,
И долго щит его не грянет..

Это было так, будто кто-то поставил передо мною розу в запотевшем стакане прозрачной и чистой воды. В этой грязной казарме, среди страдающих униженных рабов, Пушкин сказал мне, что в мире есть вечное и прекрасное, чего не в силах убить ни физическая боль, ни голод, ни самый фашистский плен, чего никогда не затоптать фашистскими сапогами.

Я не мог читать про себя, читал вслух, и соседи невольно прислушались. Кое-кому здесь эти строки, конечно, были знакомы и раньше. Выкрики, говор вокруг утихали...

— Дай дальше листочек, — попросил я владельца махорки.

— Иди ты! — рыкнул он со злостью.

— А что тебе, жалко? Дай человеку! Говорит ведь — воротит! — вдруг горячо поддержали меня соседи.

— Отец, а про что этот стих, я не понял. Прочти-ка-сь сначала, отец! — просил меня молодой парнишка с грязно-кровавым бинтом вокруг головы.

— Да тут не начало. Это к концу уж идет, — пришлось пояснить.

Даже стоны раненых приутихли, когда я стал читать наизусть пролог к поэме. Кто-то вторил мне наизусть же.

Потом я повел пересказ своими словами, дальше в памяти снова всплывали строфы стихов. Кто-то подсказывал строчку-другую. И все вокруг слушали. Кто-то мне сунул в зубы цигарку. Махорочный дым закружил голову, но я, переждав мгновение, продолжал. Слушал и продавец махорки, владелец обрывков поэмы. Сказка всех захватила и заставила позабыть на время голод, жажду и раны... Я довел свой рассказ до того же листка. Те же первые прочитанные вслух строки Пушкина теперь для всех насытились смыслом и поэтической музыкой.

— Ну ты! Нечего там! Давай сюда дальше читать! — настойчиво потребовали мои слушатели.

И «собственник» сдался. Он отдал в мои руки всю жиденькую пачку оставшихся нераскуренными листков. Его самого захватила сказка.

Я читал стихи дальше. И откуда взялись во мне силы! Ведь два-три

часа до этого я лежал на земле и не мог подняться. Я лежал в ледяной луже и знал, что, когда спустя еще три-четыре минуты раздастся команда «смирно!», а я останусь лежать,— фашист выпустит пулю в мою голову. Товарищи, стоя вокруг, старались меня загородить от солдат и уговаривали собрать силы, подняться, подтолкнували, тянули. Но встать я тогда не мог совсем и совсем не хотел. Тогда я уже не мог противиться неминуемой смерти. Надо мной моросил дождь со снегом, подо мною была глубокая лужа, а я, лежа с тупым безразличием, ждал последнего выстрела в голову.

А теперь я читал стихи, и мой голос окреп, и всем было слышно. Я читал за страницей страницу... и, заметив, что я сухим языком облизнул губы, кто-то мне протянул полкружки воды...

...Вот уже добрый отшельник-финн явился с живою и мертвой водою перед трупом Руслана.

Да, «старый карла был не прав!» — чувствовал я, торжествуя вместе со всеми слушателями... Вот уж ожил Руслан...

...Уж он верхом,
Уж он летит, живой и здоровый,
Через поля, через дубравы...

А какое внимание воцарилось со всех сторон, когда Киев оказался обложен ордой печенегов! И какое торжество засветилось в глазах моих слушателей, когда Руслан, воскрешенный старцем, ворвался внезапно во вражеский стан со своим волшебным мечом

...в поле меж врагами,
Блестя в латах, как в огне,
Чудесный воин на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летя, трубит...
То был Руслан. Как божий гром,
Наш витязь пал на басурмана;
Он рыщет с карлой за седлом
Среди испуганного стана.

— С тылу ворвался? — радостно перебил мое чтение паренек с перевязанной головой.

Где ни просвишет грозный меч,
Где конь сердитый ни промчится,
Везде главы слетают с плеч
И с воплем строй на строй валится.

— Так их, захватчиков! — выкрикнул тот же голос.
— Молчи, не мешай! — нетерпеливо остановили его.

В одно мгновенье бранный луг
Покрыт холмами тел кровавых,
Живых, раздавленных, безглавых,
Громадой копий, стрел, кольчуг...

В глазах моих слушателей горело живое пламя, как будто все они стали другими людьми. Кто лежал, те сели, кто сидел, те придвинулись ближе, задние подошли и стояли вокруг толпою. Они позабыли в эту минуту свой плен, жили битвой Руслана. Как не окрепнуть было и голосу чтеца, когда киевские дружины помчались по следам героя и объятые ужасом печенеги с диким воплем побежали от славянских мечей...

Но сказка окончилась.

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...

— прочел я последние строки. Однако же поэтическое очарованье не сразу рассеялось.

— Еще почитай, отец! — крикнули мне из задних рядов.

— Кончилось. Все! — сказал я.

— Закурим, батя,— предложил мне один из соседей, одетый в матросский бушлат.

— У меня — ни крупинки,— признался я.

— А мы на двоих раздобудем! Дай-ка нам пару закурочек, Федя,— обратился он к продавцу, протянув тридцатку.

— Давай-ка бумагу, читальщик! — окликнул меня хозяин махорки.

Я даже не сразу понял, о чем идет речь, какую «бумагу», когда на него со всех сторон закричали:

— Да ты что, сбесился?!

— Как можно такой стих палить на сигарки!

— Другую найди!

— Не давай, не давай, старик! Потом еще нам почитаешь! — зашумели мои слушатели.

— Умники тоже! Да где ж я бумаги возьму? — загорячился владелец страничек.

— Да ты что — человек?! Ты разумеешь, чего говоришь?! — кричали в негодовании товарищи. — Ребята, кто даст бумажки?

Я с покорностью протянул владельцу пушкинские страницы.

— Ладно, держи уж! — сердито сказал продавец, и, откинув широкую полу шинели, из глубокого брючного кармана он извлек пачку листочков арифметического задачника.

А когда врач и фельдшер действительно появились в назначенный час и в числе других раненых повели меня в лагерьный лазарет и я попрощался с товарищами, то со всех сторон я увидел благодарные теплые взгляды.

— Не забудь, отец, почитай там другим про Руслана. Пусть слушают! — напутствовали меня остающиеся.

Потом в лазарете нашлись и другие книги. Я их читал про себя и товарищам вслух. Нашлись и целые произведения Пушкина, и никто не покушался их пустить на раскурку. Но особенно долго хранил я в памяти нежданную встречу с этими оборванными листками чудесной поэтической сказки.





ДЛЯ ПАМЯТИ

РАССКАЗ

Когда Иван Сергеевич задумал это дело, ему казалось, что он напишет огромный толстый том, большую и мудрую книгу, вроде его любимой «Войны и мира». Ему казалось, что все великое, что он увидел на войне в людях; все человеческие судьбы, с которыми война его столкнула; все оборвавшиеся жизни и незавершенные биографии, которые война оборвала и которым не дала завершиться; все печальные и глубокие мысли, которые пришли к нему на войне; люди, до сих пор живущие в его душе, их мысли и чувства, которые они ему поверяли и которые были ему близки и понятны,— что все это вместе взятое победит с кончика пера на бумагу простыми и сильными словами и что, таким образом, написав о своих однополчанах, о братьях по войне, он, Иван Сергеевич, сделает нечто очень высокое и нужное для всех людей на всем свете.

Ему казалось, что, не выполни он этого долга, ему будет трудно и странно жить среди людей, которым обязательно нужно рассказать все, чем болела его душа, рассказать для примера, для напоминания, для вечного уважения к ушедшим...

Это чувство заставило его сесть за стол, надеть на уродливую клешню своей правой руки алюминиевую, им самим изобретенную державку, вставить в нее карандаш и просидеть около двух месяцев над толстой, специально для этого приобретенной конторской книгой. Писалось Ивану Сергеевичу трудно, и это было ему удивительно и непонятно. Он был поражен тем, что слова, столь ясно и отчетливо ощущаемые им, теперь так медленно и неохотно переселялись на бумагу. На бумаге слова казались ему случайными, враждебными друг другу, словно они были сделаны одно из железа, другое из стекла. Но Иван Сергеевич был человек упорный и, хотя и не спал по ночам, и худел, и мучился,— дела начатого не бросал.

И когда пришло время, он неожиданно для себя обнаружил, что толстого тома ему написать не удалось и что все, что ему хотелось рассказать, уместилось на шестнадцати страницах конторской книги. Но, перечитывая рукопись, Иван Сергеевич безошибочно почувствовал, что в этих написанных им строчках таится нечто серьезное и даже как будто необычное и что люди, родственные ему по душевному складу, прочитают или услышав эти строки, тоже затоскуют, как и он, и вспомнят

многое такое, о чем они не смеют, не имеют права забывать во веки веков. И он отдал рукопись знакомой машинистке, и она быстро все сделала и теперь ему особенно странно и приятно было читать на чистом заглавном листе свою фамилию. И особенно волнующим и многообещающим казался Ивану Сергеевичу заголовок, придуманный им для своего произведения: «Воспоминания бойца».

И однажды утром, побрившись и почистившись, Иван Сергеевич вложил свою рукопись в серенькую папку с неподходящей надписью «Дело» и, поскрипывая протезом, зашагал в редакцию. На улице было ясно и весело, дул ветер, и мчались машины, и все было ярко, красиво и нарядно, но радостное настроение Ивана Сергеевича, как это ни странно, резко испортилось, и он почувствовал легкую боль в груди и сердцебиение. Это неожиданное волнение показалось Ивану Сергеевичу мальчишеским, несолидным, и он неодобрительно покачал сам на себя головой.

В здание, где помещалась редакция, его пропустили сравнительно быстро. Он прошел по мягким коврам и постучал в обитую клеенкой дверь. Обождав немного и не услышав ответа, он толкнул дверь и вошел в комнату.

Перед ним стоял большой письменный стол, заваленный всякими бумагами, а у стола в низком мягком кресле сидела девушка и говорила что-то в телефон, и когда Иван Сергеевич вошел, она недовольно обернулась и метнула в него сердитый взгляд прекрасных серых глаз, огромных и дерзких. Иван Сергеевич попятился было от ее взгляда, но девушка зажала микрофон рукой и быстро сказала, показывая подбородком:

— Присядьте, пожалуйста. Я сейчас...

И она снова занялась разговором, а Иван Сергеевич садиться не стал. Он отошел к окну и огляделся. Ему очень понравилась эта комната, теплая, светлая и чистая, и он с удовольствием стал рассматривать десятки цветочных горшков, умело и со вкусом расставленных на подоконнике и даже на полу. Это были все больше не известные ему комнатные растения, с какими-то словно забрызганными краской листьями. Некоторые из них были как будто на красной подкладке и нежно просвечивались на солнце плотными набухшими жилками. И от всего этого комната, которую рассматривал Иван Сергеевич, показалась ему очень уютной, совершенно не похожей на казенную, и девушка, сидевшая в низком кресле и закинувшая ногу на ногу, показалась ему тоже не казенной, не официальной, что ли, она показалась ему доброй и веселой красавицей. Ему понравилась ее крупная рука с отточенными ногтями, наверно сильная и горячая, и ноги девушки, длинные и сильные, тоже понравились ему. Чулки на девучкиных ногах были совсем тонкие и прозрачные, и сквозь них были видны родинки, и Иван Сергеевич отвел от них глаза, увидев надвязку чулка под чуть-чуть приподнявшейся юбкой. Он подумал, что девушке года двадцать два — двадцать три, не больше, и что, хотя вот он еще не старый человек, а поди ж ты, у него вполне могла бы быть такая взрослая и красивая дочь.

И когда девушка окончила свой разговор, Иван Сергеевич, полный дружелюбного чувства и совсем уже избавившийся от волнения, шагнул к ней, тихонько скрипнув протезом, и, убирая в рукав правую безобразную клешню, чтобы не пугать, левой протянул девушке свое сочинение:

— Вот,— сказал он,— прочтите, пожалуйста.

Девушка взяла рукопись и бегло взглянула на заголовок.

— Это что,— сказала она,— это про войну?

— Ну, конечно,— ласково улыбаясь и немного удивившись этому на-

ивному вопросу, сказал Иван Сергеевич,— конечно, про войну, про что же еще?..

Он был очень рад, что такая попалась славная девушка, она задавала детские вопросы, и ему стало с ней легко и просто, как старшему с маленьким, и поэтому он счел возможным довериться ей:

— Это я не для денег написал, нет. И не для славы...— Он слегка покраснел, потом нахмурился и сказал главное: — Это для памяти.

Девушка не стала перелистывать его рукопись. Лицо ее стало скучным и обыденным, когда она протянула «Воспоминания бойца» Ивану Сергеевичу.

— Про войну? — Она не могла скрыть своего разочарования.— Ну к чему это? Это теперь не интересно, что вы...— Она все-таки превозмогла себя и улыбнулась Ивану Сергеевичу, искренне желая, чтобы все у них с ним вышло по-хорошему, без острых конфликтов, которые часто возникают с молодыми авторами. И не питая ничего дурного к Ивану Сергеевичу лично, она улыбнулась ему еще раз, уже от щедрости, просто так, пленительно и широко, не понимая, какой она нанесла ему сейчас страшный удар.

Иван Сергеевич взял рукопись, и когда брал, увидел, как неприятно, крупно дрожит его левая рука. Но он скрепился, сдержался и виду не показал. Он только подумал, что ему и не такое приходилось выносить и что главное дело — не надо виду показывать, что тебе худо,— так лучше и для тебя и для других. Он повернулся и вышел из этой веселой зеленой комнаты, так и не проронив ни слова. Девушка с недоумением посмотрела ему вслед своими серыми дерзкими глазами и тихонько вздохнула. Он ушел, и она была рада, что обошлось без длинных и нудных разговоров. Она подошла к телефону, и перед тем, как взять трубку, сладко потянулась. Но потом раздумала звонить и, закинув свои сильные и горячие руки за голову, принялась думать о том, о чем она непрерывно думала все последнее время: две недели тому назад она стала женщиной, и с тех пор ни о чем другом думать не могла.

А Иван Сергеевич спустился по лестнице, тоже устланной мягкими коврами, на улицу, и так же прилежно и скоро, как шел сюда, пошел обратно. Он снова чувствовал легкое стеснение в груди, но знал, что причина тому была уже другая. Он был потрясен и растерян, хотя по лицу его этого сказать нельзя было. Просто шел по улице средних лет седоватый инвалид, шел нормально, трезвый, никого не задира, и только дойдя до бульвара, повел головой, осмотрелся, постоял обочь тротуара и не торопясь перешел доро-

гу. У одной из скамеек он остановился и вынул левой своей здоровой рукой пачку папирос «Беломор», вытряхнул к губам одну папироску и ловко уцепил ее. Потом он спрятал пачку и стал рукой нахлопывать карманы, нища спички. Они откликнулись, брякнули в нагрудном кармане, и он достал их оттуда...



Виктор Драгунский — автор сборников рассказов «Железный характер», «Он живой и светится», «Расскажите мне про Сингапур».

В журнале «Москва» в № 12 за 1961 год была опубликована повесть В. Драгунского «Он упал на траву», которая выходит отдельной книгой в издательстве «Советский писатель». В издательстве «Советская Россия» выходит сборник его рассказов «Девочка на шаре», в издательстве «Детский мир» — «Человек с голубым лицом».

По сценарию В. Драгунского поставлен фильм «Веселые истории».

В эту минуту...

На Смоленщине шел дождь. Он был не по-летнему холодный и падал из темной тяжелой тучи отвесно, толстыми, канатной толщины, струями, и под его жесткими ударами маленькая деревня Пчелики внезапно поникла, потеряла свой веселый и уютный облик, и на недавно желтоватых, приветливых дорогах загустела вязкая, липкая, трудная грязь. За околицей деревни стоял небольшой деревянный обелиск, украшенный деревянной же звездочкой, обставленный с четырех сторон небольшими красными флажками. Флажки эти выцвели от солнца, и они теперь были неопределенного пыльно-розового цвета, и сейчас под дождем они стали такими же темными, как деревня, как обелиск и звездочка. Они обмякли под дождем и бессильно повисли, и только иногда шлепали по ветру длинными нитями, вытянувшимися из старых обветшалых кромок кумача. Здесь была братская могила, последнее место успокоения солдатского взвода, сожженного здесь заживо фашистскими карателями. Это был крепкий взвод, весь состоявший из мальчишек двадцать четвертого года рождения, мальчишек, еще не умевших как следует воевать, но совершенно не желавших помирать только из-за того, что врагов было больше. Они вполне понимали всю безнадежность своего положения, но тем не менее, заняв круговую оборону в маленькой пуньке, взвод этот дрался ожесточенно и яростно. Отрезанные от своих, эти мальчишки дорого продали свои коротенькие жизницы и погибли все до одного, не оставив истории своих имен. И теперь над ними шел дождь, тяжелый и угрюмый. Он стегал эту бедную смоленскую землю, сек ее сабельными ударами, крошил, рылся в ней нетерпеливыми пальцами, точил ее насквозь. Он продолжал упорную работу, начатую другими дождями много лет тому назад, и работал тупо, долго и неослабно. И часа через три такого его прилежания дождь добился своего: у нижнего края могилы, у нижней боковины ее, неожиданно проглянула небольшая, серая и гладко отточенная кость...

...В эту минуту жительница города Малоярославец Мария Васильевна Фоминцева подняла свое оплывшее, грузное тело с постели и, мешкотно передвигая по комнате опухшие ноги, подошла поближе к Лешиному портрету, висящему на стене. Веточки с засохшей, чуть пропылившейся туей обрамляли Лешин портрет, и среди этих засохших веточек ярко сверкали свежие ромашки, вплетенные сюда Марией Васильевной еще утром. В день своего рождения Леша глядел на мать веселыми и милыми глазами, рот его был полуоткрыт. Несмотря на то, что Леша снимался сразу после окончания школы, когда ему было уже около семнадцати лет, этот его полуоткрытый рот напоминал Марии Васильевне Лешу маленького, трехлетнего, удивительно и трогательно похожего тогда на птенчика и совершенно не утратившего этого сходства до дней своей мужественной юности. Мария Васильевна стояла сейчас перед портретом сына, сложив руки, и неотрывно глядела на Лешу с какой-то странной, ей самой непонятной укоризной. Но Леша ни в чем не был виноват перед матерью и перед людьми,— разве можно винить человека, ушедшего в передовое охранение и получившего там пулю под самое сердце? Нет, его в этом винить нельзя, и Мария Васильевна пошарила за портретом и достала оттуда сложенную треугольником похоронку, ту самую, которую восемнадцать лет тому назад она так недоверчиво отодвинула от себя, еще не понимая, не имея сил понять,— не позволяя себе понять простой и страшный смысл простых и страшных слов, написанных в ней. Она держала сейчас в руках эту вечно зияющую рану и вдруг увидела, как давно-давно, много сотен лет тому назад, она стояла в этой же комнате и видела в зеркале свою узенькую и ловкую фигурку. Да, она быстрая тогда была и легкая,— трудно в это поверить, а так оно и было,— и Леша тогда стоял перед ней на столе в одних чул-

ках, и Мария Васильевна примеряла ему купленную ради праздника обновку — красные сандалики.

У правого сандалика задник немножко замялся, и Мария Васильевна взяла чайную ложечку и уперла ее в задник, а другой рукой взяла Лешину маленькую и круглую, как яблочко, пятку и втиснула ее наконеч. И Леша затопал на столе красными сандаликами, как будто заплясал от радости, и она поцеловала его тогда. При этом воспоминании старая, бледная, горькая кровь Марии Васильевны стукнула ей в сердце, и из этого сердца закапали мелкие и частые слезы прямо на похоронку, сжатую в ее уставших и сморщенных руках...

...В эту минуту Михаил Михалыч Кудряшов, майор, 1918 года рождения, член КПСС, женатый, имеющий четырех детей; провоевавший всю войну и дошедший до Берлина, кавалер орденов Славы, Красной Звезды и Отечественной войны; после победы оставшийся в рядах армии и исколесивший по долгу своей нелегкой службы всю Россию; хлебнувший на своем веку горя полной и щедрой мерой; больной стенокардией и печенью; ныне демобилизованный, — стоял в зале ожиданий луховицкого вокзала над спящими на широкой вокзальной лавке четырьмя детьми и разговаривал со своей женой Людмилой Николаевной, 1924 года рождения, бывшей медсестрой. Кудряшов старался говорить тихо, он не хотел, чтобы окружающие незнакомые люди узнали про его невеселые дела:

— Репиков отказал. Он говорит, что Луховицы режимный город. Я не понял, что он имел в виду, когда говорил «режимный». Я понял только, что Репиков уже напрописал «у себя», как он выражается, целую кучу демобилизованных.

— Кто это Репиков? — спросила Людмила Николаевна и протянула мужу кусок черного хлеба с маслом и положила поверх масла несколько кусочков колбасы. Кудряшов ел стоя, торопясь, видно проголодался, бега целый день по городу, и Людмила Николаевна с болью видела, что жует он одними передними зубами, что он похудел и измучился, но виду не показывает, не желая ее огорчать. Людмила Николаевна слушала его речь и больше всего боялась, что услышит в ней нотки ожесточения и отчаяния. Но Кудряшов, наскоро проглотив первый кусок, теперь, поворачивая бутерброд к себе другой, некусанной еще стороной, спокойно ответил жене:

— Репиков — шишка из горисполкома! От него, видимо, зависит все! Большой, видно, начальник.

И Людмила Николаевна с радостью увидела, как насмешливые морщинки сбежались у глаз Кудряшова, когда он сказал: «Ба-альшой начальник»...

— Он молодой? — спросила Людмила Николаевна.

— Лет тридцати, — сказал Кудряшов.

— Боже мой, — сказала Людмила Николаевна и опустила руки и перестала улыбаться, — боже мой, — повторила она, — значит, он не воевал, он был мальчишкой, когда ты защищал его жизнь, как же он смеет отказывать тебе?

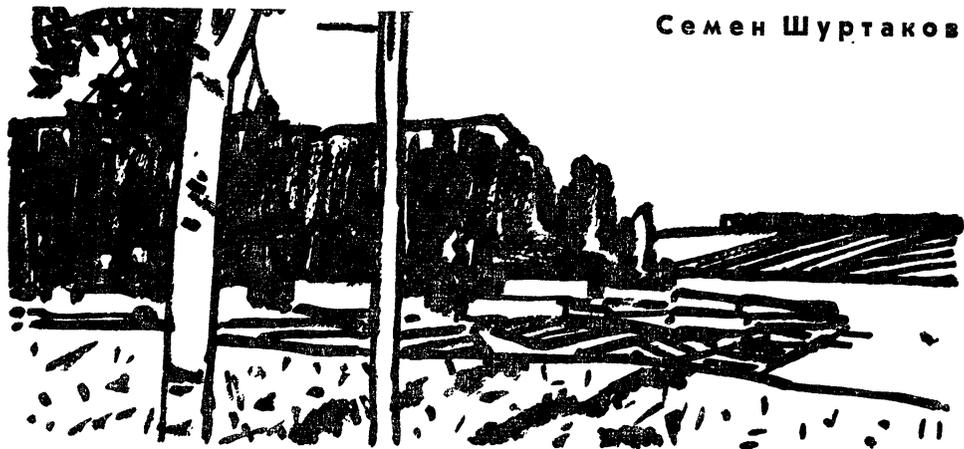
— Смеет, — сказал Кудряшов, — и даже очень смеет. Он и кричать на меня смеет. Он кричал, что я хочу в Луховицы потому, что меня привлекает здешняя особенная — прекрасная и легкая — жизнь...

— И ты смолчал? Неужели ты смолчал, Миша?

— Я сказал ему, что он сволочь, — ответил майор Кудряшов.

...В эту минуту Иван Сергеевич присел на скамью и, отрешенно отодвинув от себя свое сочинение — «Воспоминания бойца», — своею левой здоровой рукой ловко зажег спичку. Когда он поднес ее к папиросе, он увидел, что рука его все еще дрожит.





КУЗЬМИНСКИЕ САДЫ

РАССКАЗ

Я привык вставать рано и люблю перед уроками пройтись по школьному саду, подышать утренней росной свежестью.

Но нынче я сворачиваю со знакомой тропы в сторону и иду туда, где по отлогому взгорью, сбочь села, стоят недвижно, чуть не до земли уронив свои ветви, плакучие березы. Каждый раз в этот день я прихожу под те березы.

Могила успела затравенеть. И крест на ней уже ничем не отличается от соседних — потемнел, чуть-чуть покосился...

1

Немцев в нашем селе Кузьминском не было. Даже их самолеты сюда ни разу не долетали. И все-таки, когда я поднялся на последнюю горку и увидел перед собой родное село, — я его не узнал. Помнил его потонувшим в густых садах, таких густых, что за садами почти не видно было самого села, и дома издали походили на потемневшие от времени самодельные игрушки, разбросанные — где рядами, где как попало — в темной зелени.

Сейчас передо мной в знакомой с детства долине лежало незнакомое, чужое село. Сады исчезли. Улицы, дома с дворами, погребями, банями — все было видно как на ладони. Село казалось раздетым донага; от некогда богатой нарядной одежды остались только жалкие лоскутья одиноких ветел да белоствольных берез. И они лишь подчеркивали летнюю нищету села.

Я отыскал глазами домик, в котором родился и провел все детство. Обнаженный сзади, он показался мне жалким, словно общипанным и каким-то сиротски-грустным. Грустно стало и у меня на душе.

Дома я не был пять лет. Еще до войны ушел служить, потом воевал. Всю войну вспоминал я свое село, и во всех воспоминаниях представлялось оно мне богатым, славящимся на весь район своими садами. И вот никакого богатства нет. И ведь наверное не только за эти сады любил я его, а сейчас думалось почему-то, что именно за них. Я чувствовал себя так, точно кто-то неожиданно, исподтишка обокрал меня.

Придя домой, я узнал от матери, что сады высохли летом сорок второго года. Высохли сразу, чуть не по всей округе. Она даже писала мне об этом, да письмо, видно, не дошло.

Я оглядел избу, постоял в сенях и вышел в сад, вернее, на двор, на то место, где когда-то он был. Сейчас здесь, от погреба до бани, тянулась пустынная лужайка с рядами неровно спиленных пней. В дальних углах лужайки, у самой бани, курчавились серо-зеленые кусты смородины с одинокой тоненькой березкой посредине,— все, что осталось от сада.

Я смотрел на пеньки и вспоминал: вот здесь, на месте этого пня, была скороспелка — желтые некрупные яблоки ее созревали всех раньше; рядом — налив, анис, а дальше влево — две огромные яблони апорта, который висел чуть ли не до самого ноября; а еще дальше — бородинка, с нее я, еще совсем маленьким, как-то упал и вывихнул ногу. Здесь росли вишни, там — сливы.

Я так ясно представлял себе весь сад, что, вспоминая, даже ощущал на какое-то время вкус и запах яблок каждой яблони, видел матово-красные, будто подернутые инеем сливы и янтарные подтеки клея на вишнях.

Трава была скошена и сложена в небольшую копну; зачем даром пропадать, нет сада, пусть будет хоть сенокос...

Я вернулся в избу. Сели обедать. Мать то и дело смахивала концом головного платка набегавшие слезы и все повторяла:

— Ах ты радость-то какая! Живой, здоровый!.. А!.. Да ты ешь, ешь, заморился, чай, в дороге-то.

А когда я сказал, что приехал всего лишь на несколько дней, мать так и ахнула, чуть не выронив на пол чугунок с кашей.

— Ну вот, дождалась... Как же это ты, сынок? Разве так можно? Что же это ты?..

Она стояла у печки, не двигаясь с места, и уже не вытирала снова покотившихся слез. Одна — крупная, тяжелая — упала на край чугунок и оставила черный, блестящий след.

Мне тяжело стало смотреть на мать, на ее старческие, со вздувшимися венами дрожащие руки, и я, сказав, что скоро вернусь, вышел. Мне захотелось пройтись по улице, посмотреть, какой она стала теперь.

Сходя с крыльца, я встретил племянника Мишку, не сразу признав в рослом, давно не стриженном — от чего он казался старше своих четырнадцати лет — пареньке того самого Мишку, которого когда-то держал на руках и забавлял разными нехитрыми фокусами из спичек, мыльных пузырей и цветной бумаги.

Мишка, тоже, видимо, не узнавший меня, сначала было посторонился, уступая дорогу, потом посмотрел исподлобья, рванулся навстречу,

но на полпути остановился и, как взрослый, запросто протянул темную от загара и пыли руку. Пожалтье у него было крепкое, мужское.

Пошли вдоль порядка вместе.

Улица — раньше вытопанная, пыльная — густо поросла травой, но это по-прежнему почему-то совсем не радовало.

Была она как-то оголенная,

Несколько лет назад в нашем журнале была опубликована повесть Семена Ивановича Шуртакова «Подгон», а в № 3 за 1962 год — рассказ «День грядущий».

Рассказы и очерки Семена Шуртакова печатались в «Огоньке», «Молодой гвардии», «Смене» и других журналах. Отдельными изданиями вышли повести «Трудное лето», «Где ночует солнышко», книги очерков «Наш близкий, наш Дальний Восток», «Франция вблизи» и др.



сквозная. Раньше посреди улицы стояли амбары, кладовые, обсаженные ветлами, высились штабеля бревен, а сейчас и амбаров стало меньше, и ветел осталось только две. На месте некоторых домов я видел пустыри, буйно заросшие высокой — в человеческий рост — крапивой и огромными зонтиками лопухов.

— Дерновы. Сгорели позапрошлым летом, — пояснял мне Мишка, — живут у Юдиных — все равно изба пустует, с войны никто не пришел, одна тетка Пелагея с Ванькой остались.

— Петровых двор. Дядю Петю убили, тетка Маша дом продала, уехала с дочерьми к брату, в Горький.

— А это Вашаня Рогачев окна заколотил. Жена у него умерла, сам пришел с фронта на одной ноге. Живет на том конце, у свояка.

Улица была пустынной; не только взрослых — ребятишек мало видно было. Встретили мы бабушку Анисью, которая меня не узнала, да двух белобрысых девчонок, выгонявших из огорода теленка, — этих я не узнал.

— Сереги Буракова, — кивнул Мишка на девчонок, — сам пропал без вести...

От нежилого вида улицы, от Мишкиных пояснений мне опять стало грустно, как и на горке перед селом. А я-то, чудак, все думал: село от фронта далеко, война его не задела, приеду — все будет по-прежнему...

Мне захотелось спросить у Мишки, остался ли тут такой дом, где ничего не изменилось за войну, но вспомнив, что и Мишкин отец — мой старший брат — тоже погиб еще в самом начале войны, я раздумал.

На конце улица загибалась в сторону, ее потеснила река, подступавшая здесь прямо к огородам. Когда-то в этой реке я ловил огольцов, купался. Однажды даже чуть не утонул. А сейчас она пересохла, и только по самому дну ее еле сочилась узенькая полоска воды. Тальник по берегам был зелено-серый, как следует непромытый после полой воды, а илистые плесы и яры потрескались от жары так, что корка квадратных и кружочков загнула по краям, как береста.

В воздухе стоял тяжелый, удушливый зной. Мутно-голубая кромка леса на горизонте переливалась непрерывно бегущими куда-то, дрожжащими волнами и будто таяла в жарком мареве.

Вышли за околицу. Здесь когда-то был луг. Назывался он Петровым долом, хотя никакого дола тут не было: место высокое, и трава, еле успев подняться, выгорала на солнце. В весенние праздники, когда в селе было еще сыро и грязно, здесь собиралась молодежь и играла в лапту, водила хороводы. Потом гулять стали в другом месте — посреди села, около церкви, и Петров дол распахали. Я сам его и распахивал. Теперь здесь росло просо, наполовину забитое лебедой и молочаем.

«Может, зря я подымал этот луг, — думалось мне сейчас. — Все равно польза невелика от такого урожая. Хоть гулять было где... — но тут же усмехнулся: — гулять! Работать, поди, некому, не только гулять...»

И действительно: когда-то бурлившее по ночам — даже в самое страдное время — балалайками, гармошками и девичьими припевками село спало в этот вечер мертвым сном. Только собаки гавкали то в одном, то в другом конце его, да в положенное время устраивали переключку петухи.

В избе было душно, и я лег в сенях. В знакомый еще с детства сучок в доске был виден кружок ночного неба, с одиноким тощим серпом месяца, зацепившемся одним рогом за продолговатое облачко. Мать долго сидела около меня и, расспрашивая про мою жизнь на войне, ласково гладила нежной шершавой от вечной работы рукой мои волосы. Я уже давно зачесывал их назад, а мать, как в детстве, водила по ним рукой сверху вниз.

Потом она ушла, а я все еще не мог заснуть. Мешала соседняя со-

бачонка: она размеренно, как заводная игрушка, лаяла тонким голосом, делала небольшую передышку и начинала снова. Гулкая тишина пустынной улицы возвращала эхо ее лая в виде одного и того же вопроса: кто такой? кто такой? Постепенно мой слух свыкся, и я стал засыпать, а собака все еще продолжала меня допрашивать: кто такой? кто такой?..

Дни я просиживал над учебниками — надо было готовиться к вступительным экзаменам. А по вечерам мать приходила ко мне в сени, и мы с ней подолгу разговаривали, вспоминали прежнюю жизнь, — теперь, после страшной войны, та жизнь виделась нам безоблачно счастливой, как сладкий сон.

Уже накануне моего отъезда мать, не удержавшись, опять тихо пожаловалась:

— Тот не пришел, и ты уходишь... Тяжело мне одной-то...

Мать вздохнула и умолкла.

Уж лучше бы она в чем укоряла меня, уговаривала остаться! Тоскливая безысходность ее слов сжала грудь, в горле сделалось горячо, словно там что-то закипало. «А не махнуть ли на все рукой и не остаться ли, в самом деле, дома?! Ну, не ты со временем приедешь учительствовать в Кузьминское, пришлют другого — велика ли беда?!» Но стоило мне сказать об этом матери, она же и стала меня отговаривать.

— Что ты! Что ты, сынок! Сам же говоришь, тебе как фронтовику льгота — и такой момент упустить. Ты разве забыл, что отец перед смертью говорил?!

Отцу с матерью в свое время пришлось учиться очень мало: отец ходил в школу «две зимы», а мать и того меньше. И была у них давняя мечта: дать образование своим детям. Отцу хотелось, чтобы кто-то из нас обязательно учительствовал потом в Кузьминской школе. «И чтобы образование у тебя ли, Иван, у тебя ли, Симка, — добавлял при этом отец, — было полное. Не какой-то там педтехникум или училище, а полный университет! Пусть в нашем селе будет хоть один учитель с полным образованием, и пусть у этого учителя будет наша фамилия!..»

С появлением на селе тракторов и комбайнов Ивана потянуло к машинам, и он выучился на механика. А в сорок первом ушел на фронт и не вернулся. Так и по сей день нет в Кузьминской школе ни одного учителя с полным образованием и с нашей фамилией...

Разбудила меня мать рано: надо было успеть к поезду, который ушел утром.

Я не знаю, ложилась ли мать, — картошка уже дымилась на столе, когда я, умывшись, вошел в избу.

Стали прощаться. Я не люблю всяких прощаний, не знаю, что надо говорить при этом, и чувствую себя беспомощно и глупо.

У матери дрогнули и жалко запрыгали губы, застелились слезами глаза. Она обхватила меня за шею, припала к плечу и словно обмерла. Надо бы уже идти — ну, что растревлять себя понапрасну, — но мать не отпускала рук. Она, наверное, чувствовала, понимала — матери ведь всегда и все понимают, — что мне пора идти, что надо разжать руки, и не могла, не в силах была этого сделать... Прямо перед моими глазами были ее седые растрепавшиеся волосы, маленький, в старческих морщинах лоб. И вся она была маленькая, сухонькая, беззащитная... Я понял, что еще минута, может быть, полминуты, и я не выдержу — сброшу заплечный мешок и останусь дома. Останусь насовсем. Я легонько взял ее горячие руки и так же легонько, почти незаметно разжал. Мать не противилась, она лишь еще раз судорожно, изо всей силы прижалась ко мне, точно хотела вложить в это последнее объятие и всю свою материнскую нежность, и всю свою боль, а потом уже руки ее сами собой сползли с моих плеч. Так она мне и запомнилась: стоит, потерянно

уронив вдоль тела темные жилистые руки, и скорбно, немо глядит, как я все дальше и дальше ухожу от родного порога...

Когда я вышел задами за село, светлая полоса на востоке — узкая, белесая полчасы назад — расступилась почти на полнеба, и ее залили снизу желто-багровые разводы. С каждой минутой они становились гуще и гуще, будто небо, соприкасаясь с горизонтом, постепенно пропитывалось, намокало темной кровью. Скоро должно было показаться солнце.

На взгорье я остановился передохнуть и оглянулся на село. Незнакомое, чужое село.

— Никак ты, Симка? — слышалось откуда-то слева.

Из вершины овражка на дорогу выходил старик в рваном полушубке, подпоясанном льняной веревкой, и в такой же ободранной высокой шапке. Не сразу признал я в нем деда Ганьку — знаменитого когда-то колхозного пасечника.

— Н-да-а... Неприглядное село наше стало, неуютное, — словно читая мои мысли, проговорил дед. Он подошел ближе и остановился, опершись обеими руками на палку. — Как на порубке живем: был лес — остались одни пеньки... А какие сады красовались, какие сады!..

Должно быть, только сейчас Ганька заметил за моей спиной мешок, потому что, прищурив на меня свои не по годам молодые глаза, спросил:

— А ты что же, милок, не успел прийти и уж скорей бежать из села? Ай не понравилось? А?

Меня больно задела слова старика. Я почувствовал себя вроде дезертира или солдата, который уходит из своей части, попавшей в тяжелое положение, во второй эшелон.

Я сказал, почему и куда ухожу, но хитрый дед Ганька сделал вид, что не расслышал, а может, и в самом деле не расслышал меня, потому что, глядя куда-то в поля, проговорил безучастно:

— Что ж, счастливой дороги. А на лето опять приезжай. Как ни что, а места-то родные...

2

Меня приняли в институт, дали общежитие. И я, обрадованный и довольный, по вечерам, перед сном, сочинял матери пространные хорошие письма.

Я писал ей о том, что все у меня идет как надо, так что ей не о чем беспокоиться. И пусть она не думает, что я забыл про нее: нет у меня на свете человека ближе и роднее. Если я никогда не говорил ей нежных слов — значит ли, что я не люблю ее?! Люблю, очень люблю. И не надо горевать — мы скоро снова увидимся. Кончится полугодие, у нас будут каникулы, и я приеду, а летом, как сдам экзамены, приеду опять. На целых два месяца! Мы обо всем успеем тогда наговориться. И у нее будет отпуск на эти два месяца — первый в жизни. Я ничего не дам ей делать — все, решительно все буду делать сам. А она будет отдыхать, отдыхать, и все...

Такие или примерно такие письма мысленно сочинял я в постели, перед сном, и каждый раз давал зарок на другой же день написать. Но и месяц прошел, и второй пролетел незаметно, а письмо все еще оставалось ненаписанным. Все как-то было недосуг.

Нормально учиться мне пришлось только семь лет. Старших классов в нашем Кузьминском нет, а село, где они есть, — за девять километров, каждый день не находишься. Можно бы, конечно, к кому-нибудь на квартиру стать, но это значит, уйти из дому насовсем. А надо было помогать матери по хозяйству. Брат работал в МТС, отца к тому времени мы уже похоронили. Учился я долгими зимними вечерами дома и

сдавал экстерном. За три класса сдал в два года. Меня хвалили: молодец, здорово, и я тоже тогда казался себе молодцом, а только от того скоростного ученья в голове осталось немного. За войну же и то немногое изрядно позабылось, кроме разве тригонометрии, с помощью которой я вычислял углы прицела и траектории падения снарядов. Так что теперь надо было наверстывать.

Конечно, если говорить откровенно, полчаса или час выкроить на-верное бы можно. Ведь нашел же я время, чтобы написать двум друзьям-однополчанам, написал и знакомой, тоже еще по фронту, девушке. А письмо матери все как-то откладывал и откладывал. То ли потому, что никакой срочности в нем не было, то ли потому, что вообще-то коротенькое, в пять строчек, письмо я послал в Кузьминское еще в тот же день, как увидел себя в списке принятых в институт.

Потом пришло письмо от матери, в котором она писала, что картошка в этом году уродилась добрая и что они с Мишкой, слава богу, посуху, до дождей выкопали ее и убрали в погреб, что топлива на зиму хоть и маловато, да бог даст как-нибудь протянут. «И это хорошо, что ты поступил на ученье, я понимаю — тебе это надо. Только больно уж я соскучиваюсь. И знаю, что все как надо и как тебе хотелось, и рада я за тебя, а сердце все равно болит, ничего с ним поделывать не могу...»

В тот же день, прямо на лекциях, я написал ответ. Написал те же пять дежурных строчек, но быстрота ответа как бы оправдывала его краткость. Словом, перед собой я оправдался вполне, а большое письмо опять так и осталось ненаписанным.

И хорошо, что осталось ненаписанным!

Студентам, отлично сдавшим зимнюю сессию, — а я оказался в их числе, — институт предоставил бесплатную поездку в Ленинград. Конечно, можно было и не ездить туда, а поехать в Кузьминское. Но уж очень хотелось поглядеть на Смольный, побывать в Эрмитаже, в Русском музее. Когда еще представится такая счастливая возможность!

Я написал об этой поездке матери. Она ответила, что в последнее время что-то начала прихварывать, но это, наверное, пройдет. А ехать мне или не ехать — «что я тебе на это скажу? Делай, как тебе надо...»

Мне стало стыдно за свой глупый вопрос. Ведь, если честно признаться, задавая его, я заранее был уверен в ответе: насколько я себя помнил, мать всегда делала так, как мне, а не ей было надо... Скверно было еще и потому, что я всю осень собирался написать письмо, для которого приготовил так много хороших, душевных слов. А вот дошло до дела, и ничего не стоящими оказались те хорошие слова.

Я озлился на себя и пошел к директору. Пусть меня вычеркнут из списка и поставят кого-нибудь другого: я не поеду в Ленинград. Директора я не застал, была суббота, и он ушел из института рано. Декан сказал, что вычеркнуть меня может, но билет, чтобы не пропал, придется сдать в кассу, потому что нового студента в этот список он дописать не властен, а уезжать надо завтра вечером.

— А вообще-то не советую, — сказал декан в заключение разговора. — В родном селе еще набываешься, а в Ленинград наш институт едет в первый раз, и неизвестно, когда второй выпадет. Мать? Ну что ж, у меня у самого мать живет в деревне. Навещаю каждое лето. И ты сдашь весеннюю сессию и кати на все лето в родные палестины.

Я опять заколебался. После разумных и убедительных (мне так хотелось думать) доводов стороннего человека я уже не казался себе таким черствым и эгоистичным. Сжимая в кармане картонный прямоугольник билета, я боялся признаться себе, что сдавать его очень не хочется.

Я не стал сдавать билет.

В Кузьминское, однако, мне пришлось ехать раньше, чем я собирался.

Я готовился к сдаче последнего экзамена, когда принесли телеграмму, смысл которой дошел до меня, кажется, раньше, чем я ее прочитал. Буквы телеграфного бланка поплыли перед глазами, и вдруг отчетливо, будто при ударе молнии, я увидел мать: стоит, потерянно уронив темные сухонькие руки вдоль тела, и, словно бы чуя сердцем, что видит меня в последний раз, с тоской глядит мне вслед. А еще вспомнилось в ту секунду, как снимал я со своих плеч ее руки — горячие и покорные... И мне стало страшно. Страшно от мысли, что уже ничего нельзя ни переделать, ни поправить.

Непостижимо, непонятно устроен человек! То он хорошо видит и точно соотносит в своем уме большое и малое, важное и несущественное, то вдруг эти понятия смещаются, а он даже и не замечает этого...

То ли потому, что несчастье оглушило меня и я еще не мог, не в силах был постичь всей его глубины, то ли потому, что это давно сидело занозой в сердце, но когда хоронили мать — больше всего мучился я тем, что так и не написал ей того большого письма, что так и не успел сказать ей ни одного слова переполнявшей теперь меня горячей любви и нежности. Будто это имело какое-то значение и могло что-то изменить!

Ударилась первая комья о крышку гроба, и я вздрогнул; будто ударились они о мое сердце, будто вся эта черными ручьями потекшая со всех сторон в могилу земля начала придавливать, засыпать и меня самого. Я почувствовал, что мне не хватает воздуха, что вот-вот задохнусь, и сошел с края могилы.

Чистое, без единого облачка небо сияло над миром. Солнечный свет, процеживаясь сквозь листву плакучих берез, густыми желтыми пятнами лежал на темной кладбищенской зелени — на траве, на кустах крыжовника. Так же щедро испятнаны были солнцем почерневшие от времени могильные кресты. И тишина кругом стояла, такая тишина, что от нее звенело в ушах. Живой свет солнца и могильная тишина...

Кроме непосредственной, что ли, прямой связи человека с жизнью, связан, соединен он с ней, наверное, еще и через близких ему людей, и когда умирает один из них, — вместе с ним умирает и какая-то часть самого человека, та сторона, та грань жизни, с какой он через умершего соприкасался.

Я родился после революции, но во мне, словно бы изначально, жила романтика гражданской войны, романтика беззаветного мужества и бескорыстного служения революции — живым воплощением ее был мой отец. С его смертью все это постепенно уходило из моей жизни, оставаясь лишь в учебниках, в книгах.

Я не знаю, что уходило теперь с матерью, знаю только — что-то большое и очень для меня нужное. Мать всегда, с тех самых пор, как я себя помню, была как бы частью меня самого. Все детство — это не только я, это и мать. Вспомню ли зимние метельные вечера и себя на теплой печи — тут же увижу и мать: она нам в эти долгие вечера рассказывала чудесные сказки. Вспомню ли жаркое лето, себя увижу в саду — обязательно и мать вижу рядом: вот она срывает мне самые спелые, аж черные, вишни, самые сладкие яблоки. Первый свой шаг по земле сделал — мать за руку вела; в школу пошел — мать провожала; в ночное поехал — мать одевала, никогда не забывая сунуть за пазуху вкуснейшую вещь — круто посоленную краюху хлеба. Радость какая — к матери бежишь, с ней первой делишься, палец порезал, ногу на ржавый гвоздь напорол — к кому же, как ни к матери идешь, хоть тебе уже и давно не пять, а десять или даже пусть пятнадцать лет...

Вместе с матерью уходила из жизни и часть меня самого — часть моего детства и моей юности.

Мне бы лучше было, наверное, уехать в Москву, а не оставаться дома, где все на каждом шагу напоминало о матери, где каждый новый день заново бередила еще не утихшую боль.

И все-таки я остался в Кузьминском.

Как-то утром, умываясь у крыльца, я увидел в конце улицы людей с косами. Подымавшееся солнце тускло поблескивало на осветленных лезвиях и издали делало похожими косцов на отделение солдат, несущих на плечах винтовки с примкнутыми к ним плоскими штыками. Но когда косари подошли поближе, я понял, что сравнение не годится: это шли бабы, и ни в их походке, ни в одежде ничего воинственного, ничего солдатского не было.

И хотя я слышал раньше, знал по письмам, что во время войны нужда научила женщин делать нашу мужскую работу,— мне было непривычно видеть такую картину. Я вырос в деревне, но ни разу не видел с косой в руке женщину. И тяжела эта работа, и просто у нас так не было принято.

Перед полднями, выйдя во двор, я снова увидел косцов. Они косили на ближнем поле зеленую вику с овсом, и я залюбовался их работой. Бабы широко, по-мужски, взмахивали косами и привычно легко, с густым шумом подрезали сочную зелень.

Вот одна из них остановилась точить косу. Я сам когда-то косил и знаю в этом толк: на точке можно проверить любого косца. Баба с размаху воткнула косье в землю, взяла его под мышку и, вытащив из-за пояса брусок, начала лихо, с перезвоном — под стать самому заправскому косцу — шаркать им с той и другой стороны лезвия, даже и не глядя на него.

Я вернулся во двор, снял с переводины косу, примерил насадку и прямо огородами подошел к колхозницам. Они как раз начинали новый заход и молча пропустили меня передним.

Поначалу дело шло плохо: коса моя тогда забирала слишком широко, то пролетала почти вхолостую, и тогда я едва сохранял равновесие. А может еще и потому так получалось, что косил я со злостью, с каким-то мрачным ожесточением, словно шел на врага с винтовкой наперевес.

Прошел одно окосево, другое и постепенно приноровился, шаг мой стал ровным и твердым. Я почувствовал, как ожесточение уходит, уходит куда-то, будто растворяется вот в этих мерных взмахах рук, в сочном шелесте подрезанных стеблей, в синем, объемлющем меня со всех сторон полевом просторе. Мысли перестали ходить по замкнутому кругу. Здесь, в поле, все было просто и ясно. Вот коса, вот трава, а вот твои руки. Наточи косу, замахнись пошире и, наваливаясь всей тяжестью плеча, резко и ровно проведи по зеленой стене. Переступи, сделай шаг вперед, снова замахнись и снова ударь со всего замаха. Раз-два! Шу-у-вжу!

А потом и об этом перестаешь думать: руки сами делают то, что нужно, ноги сами несут тебя все вперед и вперед, ты только видишь расступающуюся перед тобой зеленую стену и слышишь, как ритмично поет коса: шу-у-вжу! Шу-у-вжу! Работа завладела твоими мускулами, твоим телом, и оно живет как бы само по себе, по своим издревле мудрым законам.

Ноет спина, тяжелеет плечо, по всем жилам разливается усталость, но это та здоровая усталость, которая приносит с собой счастливое удовлетворение не зря прожитым днем,— а что есть на свете выше и дороже этого?!

Ты придешь потом домой, уснешь крепким сном, и никакие кошмары,

никакие видения не будут мучить тебя. Если что и увидишь или услышишь во сне — это будет все та же, медленно расступающаяся перед тобой зеленая стена и короткая, энергичная песня косы: шу-у-вжу! Шу-у-вжу!

Я и на другой день вышел в поле с косой, и на третий.

Тяжелая, красивая работа!

И будто не было никакой войны, не сидел я год за партой — не было ничего: я все тот же молодой зеленый парень, иду себе лугами и, играючи, помахиваю да помахиваю тяжелой косой. Влажно блещет коса, горит роса на цветах, жаворонки хрустальными колокольчиками звенят в высоком небе, и словно бы капельками радости падает тот хрустальный звон с небесной вышины в мое сердце, и оно раскрывается навстречу красоте этого солнечного зеленого мира.

Вот только вечером, когда я возвращаюсь домой, мне не с кем поделиться своей радостью.

Подошло время жатвы.

Год выдался урожайный: зерно было крупным, наливным, тяжелым.

— Золото! — говорили колхозницы, вышелушивая из колосьев и любовно пересыпая в ладонях хлебные зерна.

И это старое, уже потускневшее от частого употребления слово приобретало как бы новый смысл.

Чтобы не дать хлебам осыпаться, их убирали и комбайном, и жатками, и косами. Снопы возили на ток и молотили.

Когда-то я считался неплохим задавальщиком, и вот опять, разыскав на чердаке тяжелые, обшитые кожей очки, стал я к барабану молотилки.

От скирды до моего столика выстроилась цепочка людей, и по этой живой цепочке непрерывно текут, текут в барабан тяжелые снопы. Кто-то отвозит солому, кто-то оттаскивает на веялки и в вороха намолоченное зерно. И все — и машины, и люди, и лошади, — все живет и движется в одном ровном, точном ритме, который невольно охватывает и подчиняет себе каждого.

Утробно ревет барабан, жестко и часто стучат решета очисток, гулко плещут передаточные ремни. В воздухе, вместе с пылью, висит сладковатый сытный запах молодого жита. Вкусно пахнет молодой хлеб!

И опять, как и на косьбе, все недавнее будто отодвинулось в сторону. Смешным и далеким казалось теперь волнение перед экзаменами, шумная суeta городской жизни. Я опять будто вернулся в молодость и, незаметно для себя, начал выкрикивать уже забытые, но такие привычные слова:

— Дава-ай!.. Давай-давай!..

Как-то пришлось мне быть на току еще перед началом уборки.

Добрую половину людей, работавших на расчистке тока и около полуразобранных веялок, — а тут была в основном молодежь, — я узнавал с трудом. Я лишь догадывался: это вон, наверно, сын Федора Дорохина, тот — Матрены Кудрявцевой, а рослая, с выгоревшими волосами девчонка — дочка Филиппа Юдина. Но я их всех помнил десяти или двенадцатилетними пацанами. А передо мной были взрослые, сильные ребята, легко перетаскивающие веялки с места на место, и узнать в них босоногих сорванцов было не так и просто. Чувствовал я себя от этого несвободно, даже как бы отчужденно, и старался держаться около людей пожилых, которые за эти шесть лет, хотя и состарились немножко, но измениться почти не изменились.

Сейчас вокруг меня опять работали люди, больше половины которых я не узнавал, однако же никакой неловкости я не испытывал. Так ли уж важно, что кого-то я здесь знаю по имени и отчеству, а кого-то

нет. Не важнее ли то, что я вместе с теми и другими делаю одно общее дело и в этих ворохах крестьянского золота есть доля и моего труда. И это хорошо, что таклюдно на току!

Село уже не казалось теперь таким тихим и безжизненным, как год назад. Прибавилось в Кузьминском фронтовиков, кое-кто приехал из городов на побывку.

Молодежь по воскресеньям, как и до войны, устраивала посередь села, у церкви, гулянья, пела под гармошку, танцевала. Раза два или три из района привозили кино и показывали прямо на улице, повесив экран на стену колхозного клуба. На кино собирались и стар и мал, и видеть это многолюдье было особенно радостно.

Сколько миллионов человеческих жизней унесла война! Редкий двор в селе обошла смерть, а в некоторых семьях погибли на фронте вместе с отцами и сыновья. Но наперекор всему вечное древо жизни по-прежнему зеленеет.

Как-то, возвращаясь от церкви, я проходил по мосту через нашу речку Кузьминку. Вдруг мне показалось, что в прохладном, ночном воздухе запахло черемухой. Я остановился, и сразу вспомнилось время, когда по отлогим склонам берегов цвели сады, а у самого моста, как невесты в подвенечных платьях, белели две высоких черемухи. Возвращаясь домой, я любил останавливаться здесь, подолгу дышал густым воздухом майской ночи, настоящим на нежном, чуть горьковатом запахе черемухи, и слушал сонное бормотание спящего села. Сады посохли, но черемухи уцелели. Даже обросли за это время молодыми кустами. Только сейчас был август, а в августе черемуха ничем не пахнет. Мне, наверное, просто почудилось.

Внизу тихо, осторожно, точно боясь нарушить тишину, журчала вода, а выше по течению в небольшой заводи купался месяц, оставя за собой узенькую серебряную дорожку, по которой он сошел сюда сверху. Вода отливала синим таинственным светом и была такой стеклянноподвижной, что непонятно было, течет река или застыла в своих берегах.

— Природу наблюдаешь? — услышал я за спиной и обернулся.

Рядом стоял, опять словно из-под земли выросший, дед Ганька.

— Да вот гляжу на Кузьминку. Прошлым летом все дно было на ружу, а нынче — опять река как река, — сказал я.

Старик прислонил к перилам свою вязовую палку, достал кисет и неспешно начал сворачивать козью ножку.

— Для нас тут диковинного ничего нет. Это вон проезжие дивятся. Пересохнет в жару — они ее и рекой перестают считать, а поедут на другое лето — глянь, а вода опять с берегами. Проезжие не знают, что родники-то, от которых Кузьминка идет, даже в самую что ни на есть сушь не сякнут, а год от году бьют сильнее. Такая уж она у нас... Крути.

Ганька протянул мне кисет и начал высекать огонь, медленно и высоко замахиваясь рукой, точно топором рубил.

Закурили.

— Бессонница, — пожаловался Ганька. — Из избы в сени ушел, и там все вроде душно кажется. На свой питомник, в шалашик иду зоревать. Бывай...

Старик ушел, а я еще долго стоял на мосту, слушал, как спит село, как тихо журчит внизу Кузьминка.

Незаметно подошло время уезжать.

Собрав накануне свои книги и тетрадки, я, как и год назад, с восходом солнца был за околицей. Только на этот раз меня уже никто не провожал.

На заре прошел дождь, пыль стала грязью, и я решил, сделав не-

большой крюк, выйти на большак оврагами, теми самыми оврагами, в вершинах которых били ключи, питавшие Кузьминку.

Я опять встретил здесь деда Ганьку. Старик копался недалеко от шалаша в мелком частом кустарнике.

Пологие овражные склоны были засажены ровными рядами маленьких яблонь. А то, что издали похоже было на кустарник, вблизи оказалось садовым питомником.

— Это — яблоньки, — объяснял дед Ганька, — это — вишенник, а это — сливки. То будет колхозный сад, — дед Ганька повел рукой по овражным склонам, — а это осенью раздадим по дворам. Сажай и выращивай на здоровье, закрывай село белым цветом да зеленым листом. И не знаю, я доживу ли, а сады в нашем селе будут. Такие сады... — дед помедлил, подыскивая нужное выражение, — словом, прежние Кузьминские сады!

4

Школа стоит сбоку села и несколько на отлете. Тихое, все в зелени место. Особенно хорошо здесь в утреннюю рань, когда солнце еще только поднялось и тени от него сумеречно густы и четки, когда тишина объемлет окрестные луга и поля.

Я привык вставать рано и люблю перед уроками пройтись по молодому школьному саду, подышать утренней свежестью.

Но нынче я сворачиваю со знакомой тропы и иду туда, где по отлогому взгорью, тоже сбочь села, стоят в печальной неподвижности вековые березы. Каждый раз в этот день я прихожу под те березы.

Могила успела затравенеть. И крест на ней уже ничем не отличается от соседних — потемнел, чуть-чуть покосился.

Мать до конца своей жизни верила в бога и просила похоронить ее «как следует», «по всем правилам», придавая этому исключительно важное значение.

Отношения с богом у нее были своеобразные и вполне определенные. Жизнь не баловала мать, но я ни разу не слышал, чтобы она в своих молитвах хоть раз пожаловалась богу или что-нибудь попросила у него для себя. Просила она или за больного отца, чтобы бог дал ему здоровья, или за нас, за детей, хотя и знала, что мы неверующие. Смерть Ивана она считала божьим наказанием — для себя же: видно, где-то и что-то не так она делала, если бог разгневался на нее. Так же твердо мать была уверена, что уцелел я на войне только потому, что ее горячая молитва дошла до всевышнего.

Я не знаю, о чем думала, о чем просила мать бога в свои последние минуты. Но вряд ли о том, чтобы он защитил ее. Всего скорее она просила, чтобы бог не оставил своим попечением ее неверующего сына. Ведь это была последняя молитва. А просить сразу за двоих — слишком много: жизнь убедила ее, что милосердный боже в общем-то не такой уж и щедрый на милосердие. Самое большее, о чем она могла бы попросить у него для себя, это разве недельной отсрочки — чтобы еще раз увидеть сына...

Мало, очень мало пришлось нам с ней пробыть вместе после такой долгой и тревожной разлуки! И вот я «сделал, как мне надо», достиг того, к чему стремился, чего хотели в своих думах обо мне отец с матерью. Но каждый раз, когда прихожу на эту могилу, я спрашиваю себя: а так ли, а правильно ли я поступил, когда уехал от матери, когда оставил ее одну?! И до сих пор не могу, не знаю, что ответить. Знаю только, что после бывает очень тоскливо на сердце...

Школьный сад занимает просторную луговину, спускающуюся уступами к реке.

Недавно только по листьям можно было гадать, какие плоды со временем появятся на той или другой яблоньке. Теперь я вижу эти плоды. Я вижу крупный полосатый апорт, темно-красный, почти бордовый и твердый, как камень, анис, зелено-желтую, чуть просвечивающую антоновку, круглую боровинку. И когда я надкусываю яблоко апорта и захлебываюсь туго брызнувшим ароматным соком,— мне сразу вспоминается детство, наш глухой старый сад: мать стоит, простоволосая, под яблоней, а я сверху кидаю ей в платок самые спелые, самые красивые яблоки...

Я иду длинным школьным коридором, и мои шаги гулко отдаются в тишине. Светло сияют промытые окна, празднично блестят покрашенные и еще никем не заслеженные полы.

Захожу в классы. В том, куда придут сегодня самые маленькие и сядут за парту в первый раз в жизни, я задерживаюсь подольше. Сам сажусь за парту. Трудно вспомнить, но кажется, именно за эту парту когда-то я сел в самый первый раз. Сколько лет тому назад это было?! Много я узнал с тех пор, о многом прочитал, многому меня научили, а тот день помню, помню, как самый главный.

Кто нынче сядет за эту парту? Может, те два стриженных, как новобранцы, паренька, которых я вчера видел в школьном саду? Или те две чинные девочки с бантиками в косичках, которые спрашивали меня про учебники? Запомнится ли и им нынешний день? Какие слова я должен сказать, чтобы они врезались в их память на долгие и долгие годы?

И этих ребятшек, и этих девчушек я буду учить грамоте. Но только ли одной грамоте я должен их научить?! Что ждет их в будущем? Легче или труднее нашей будет их жизнь? Нам хочется надеяться, что легче. Но вот уже сколько лет прошло со дня нашей победы, а того мира, о котором мы мечтали и за который так дорого заплатили, все еще нет на земле. Слова «война» и «бомба» не сходят с газетных столбцов. И даже мои семилетние сельчане, которые нынче впервые сядут за эти парты, еще по-детски наивно, своим еще неискушенным умишком, уже понимают, что в мире неладно, неспокойно. Я слышал вчера, как девочка объясняла своей подружке:

— Это не те, это другие немцы... Есть фашистские немцы, а есть наши.

— Какие наши?

— Ну, наши... русские немцы. Они не хотят войны, они за нас, а фашистские хотят...

Как хорошо было бы, если бы эти милые девочки так никогда и не узнали войны!

Мне хочется, чтобы мои ученики думали не о войне, а о жизни, и прожили ее интересно и красиво. Чтобы была у них одна забота — любить родную землю и своим трудом умножать ее красу. А еще, чтобы каждый из них любил и всегда помнил свою мать, и если он соберется в дальнюю дорогу, то пусть не торопится снимать со своих плеч материнские руки,— как знать, может, эти руки обнимают его в последний, в самый остатный раз...

Звенит колокольчик. Пора начинать урок.



**Л. Арнаутв
Я. Карпов**

ВИШНЕВЫЙ САД

Аллеи старинного парка. Упругий ковер опавших листьев под ногами.

Безмолвие. Ясно, как в горах, слышен каждый звук — скрип дерева, клонимого ветром, далекий гудок паровичка с Павелецкой дороги.

Были ли по сердцу Ленину, жившему всегда в шумном водовороте событий, в борьбе и работе, — эти тишина и безлюдье? Да, он любил, как вспоминает Надежда Константиновна, природу, пушистый, весенний лес, горные тропы и озера. Но любил он и шум большого города, рабочую толпу, любил товарищей, движение — всю жизнь в ее многогранности и многообразии.

Пестрой, разноликой непрерывной чередой шли к нему люди. В годы эмиграции в тесной своей квартирке он поил чаем и жадно расспрашивал ускользнувших от сетей царской охраны распространителей нелегальной литературы, партийных пропагандистов и литераторов. В приемной его кабинета в Смольном всегда толпились ходоки-крестьяне, иностранцы, писатели, ученые, металлисты, шахтеры, железнодорожники.

«Владимир Ильич Ленин глубоко понимал массы, всегда был с рабочими. После революции Ленин немного прожил, но посмотрите, как тесно он был связан с массами, — говорил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев. — У него постоянно бывали ходоки от крестьян, де-

легаты рабочих, солдат. Он едет в деревню на открытие электростанции за десятки километров. Он едет к людям, к крестьянам, хочет их видеть, слышать сам, а не по докладам судить об их настроениях. Он выступает на митингах — на одном, на другом. Разве других ораторов не было? Были. Но Ленин хотел бывать на заводах, хотел не только говорить, но видеть, как живут люди, хотел знать и чувствовать дух рабочих, для которых он жил и трудился».

Тяжелая болезнь вынудила Ильича многим пожертвовать. Прогулка по липовой аллее, отдых под богатой кроной восьмисотлетнего дуба... И лишь совсем изредка — встречи с рабочими соседнего совхоза, крестьянами деревни Горки или отдыхающими из соседнего санатория.

Поздней осенью 1923 года Ильичу сказали, что внизу, в вестибюле, его дожидаются делегаты текстильщиков Богородско-Глуховской мануфактуры.

Рабочая Глуховка жила тогда нелегко. Старые платовские станки давно уже пора было отправить на переплавку. Не хватало сырья, и каждый фунт туркестанского хлопка был дорог ткачам и прядильщикам не меньше, чем буханка хлеба и поленица дров. Иной раз приходилось надолго останавливать машины, станки, закрывать фабричные ворота.

Тогда у фабричных ворот по-

являлся старый хозяин. Своих «фабричных» он узнавал еще издали, окликал по имени.

— Что, дождались власти, черти-дураки, а фабрики стали? — злорадствовал старик, стуча палкой. — Погодите, еще позовете Викулу Морозова. На коленях просить будете. Жрать-то небось нечего, черти-дураки?

Мало кто принимал всерьез вредного и шумливого старика. За красильней, меж высоких сосен, каменщики уже складывали стены первых кооперативных домов. Неподалеку от Глуховки бунковские мужики, съездив в Москву на сельскохозяйственную выставку, всем миром собрали деньги на покупку первого артельного трактора. По дороге, ведущей от фабричного пруда к городу, укладывали шпалы, забивали костыли. Текстильщики тянули трамвайную линию к Богородску — нынешнему Ногинску.

Жизнь становилась на новые рельсы. Никто из глуховских ткачей — женделегатов, кооператоров, организаторов рабочих касс взаимопомощи — не допускал и мысли о возврате к старому.

Ткачихи, из обихода которых давно исчезло слово «обнова», доставали из старых сундуков и комодов обручальные кольца, крестики, почерневшие серебряные ложки и жертвовали их в фонд помощи революционным немецким рабочим, сражавшимся за советскую власть в Саксонии и Тюрингии.

А вот чем бы помочь Ильичу? В те трудные дни, открывая свежий номер «Правды» или «Рабочей Москвы», люди с волнением читали сообщения о здоровье Ленина. Именно в это время старинное подмосковное имение Горки стало известно всей России, всему миру. Все знали, что здесь отдыхает и лечится Владимир Ильич Ленин.

Кому на Глуховке первому пришла мысль о том, чтобы поехать в Горки, проведать Ильича? Теперь, много лет спустя, установить это так же трудно, как и выяснить: кто из текстильщиков, новых хозяев Богородско-Глуховской мануфак-

туры, предложил в те дни назвать ее именем Ленина.

Одно твердо известно (это хорошо помнят старожилы) — на всех фабриках горячо обсуждали, советовались, кого послать к Ильичу, хотелось, чтобы это были самые лучшие, самые достойные.

Туманным ноябрьским утром крутильщица Пелагея Холодова, сновальщица Клавдия Гусева, молотобоец Дмитрий Кузнецов и другие посланцы текстильной Глуховки тронулись в путь. В кузов грузовика уложили заботливо укутанные мешками и рогожей саженцы вишневых деревьев. Шофер Иван Воронцов осторожно вел машину по тряской булыжной мостовой.

Холодный туман стлался над полями и перелесками. Машина обгоняла вереницы подвод с картошкой, кочанами капусты, антоновкой, кудиновским и тучковским кирпичом.

Не замедляя хода, проезжали мимо деревень. Воронцов спешил, он хотел добраться до Горок засветло. Только у Рогожской заставы остановились, зашли в чайную. Развязали узелки с сухарями, попили кипятку. Разузнали у ломовых извозчиков, как выехать на Каширский тракт.

Вот уж и Даниловский рынок, а затем Нижние Котлы остались позади. Дальше, дальше... Воронцову приходилось то и дело останавливать машину и расспрашивать прохожих.

— Приедем еще среди ночи, Ильича обеспокоим, — волновались посланцы рабочих.

Воронцов с лязгом переключил скорости. С трудом преодолела машина крутой подъем. Еще один поворот, и перед путниками возникла стена с полуоткрытыми деревянными воротами.

— Ленина здесь нет, куда-то уехал, — пожал плечами сторож в солдатской шинели и островеком суконном шлеме-буденовке.

Все были удручены. Почему-то никому не приходило раньше в голову, что поездка может закончиться столь неудачно.

Стали сгружать с машины виш-

невые саженцы, похожие на свернутые знамена в чехлах,— не везти же их обратно. Пусть по крайней мере посадят их в парке, там за стеной. Все же останется у Ильича память о глуховских рабочих.

— Много привезли? — полюбопытствовал проходивший мимо старичок.

— Восемнадцать вишеноч. Хотели порадовать Ильича, да вот, говорят, его нету.

— Врачи так велят всем скрывать,— по секрету сообщил старик, оказавшийся местным садовником.— Надо просить сестру, Марию Ильиничну. Может, удастся вам свидеться с Владимиром Ильичем.

Мария Ильинична пригласила глуховцев на застекленную веранду. Из-за дверей, ведущих в дом, доносится приглушенный звук шагов, громкие голоса. Чувствуется, все в доме стараются соблюдать тишину, не беспокоить Ильича.

И пока Мария Ильинична договаривается с врачами, Кузнецов то и дело достает из кармана часы, щелкает массивной крышкой. Невыносимо медленно тянется время.

Наконец распахивается дверь. Мария Ильинична, улыбаясь, кивает утвердительно головой — все, мол, в порядке!

Один за другим, осторожно, стараясь не топтать, глуховцы входят в соседнюю комнату.

— Теперь уж можно не ходить на цыпочках,— говорит Мария Ильинична.— Сейчас Владимир Ильич спустится к нам.

Мебель красного дерева с инкрустациями, расписные вазы, картины и гравюры на стенах — все в этом богатом помещицком доме было чуждо вкусу Ильича, привыкшего к поистине спартанской простоте и строгости домашнего быта. Однако, следуя его желанию, здесь не переделывали и не меняли ничего из обстановки, принадлежавшей прежним хозяевам.

И если что изменилось в доме, то только широкая дубовая лестница, по которой сейчас, осторожно шагая со ступеньки на ступеньку, спускался к гостям Владимир Иль-

ич. Здесь пристроили второй дубовый поручень, на который можно было опираться, чтобы не прибегать лишний раз к посторонней помощи.

Дверь отворилась. Вошел Ленин в простой суконной тужурке, с теплым, приветливым взглядом прищуренных глаз, таких знакомых каждому по портретам, и гостям Ильича, рабочим из Богородска, сразу стало понятно, что роскошь этого дома Ленину так же не по душе, как и им.

— Ближе к сердцу,— как бы оправдываясь, пояснил Ильич, подавая гостям левую руку (правая висела на перевязи).— Очень, очень рад вашему приезду.

Он был спокоен, приветлив, но бледное, утомленное лицо, темные круги под глазами — все говорило, что болезнь подточила силы Ильича.

Крутильщица Пелагея Холодова, смахнув украдкой слезу, передала Ленину приветственный адрес двенадцатитысячного отряда текстильщиков Богородско-Глуховской мануфактуры.

«Мы уверены, что твой могучий дух победит злой недуг...» Каким сердечным теплом и надеждой были проникнуты эти слова!

— Спасибо, товарищи, большое спасибо. Передайте это всем богородским рабочим,— растроганно отвечал Владимир Ильич.— А как ваши фабрики? Восстановили, говорят? Хорошо, очень даже хорошо!

Изредка вставляя одобрителное «вот-вот», слушал Ильич торопливый, немного сбивчивый, но живой и правдивый рассказ о жизни рабочей Глуховки.

Минуты летели быстро. Встреча подходила к концу. Шестидесятилетний Дмитрий Кузнецов крепко обнял Ленина, повторяя сквозь слезы:

— Я рабочий — кузнец, Владимир Ильич. Я кузнец. Мы скуем все намеченное тобой...

Взволнованные, молчаливо сосредоточенные, вышли глуховцы из комнаты. Оставалось посадить в парке привезенные с собой вишне-

вые деревья так, чтобы они были Ильичу видны из окон, и трогаться в обратный путь.

Но тут пришел строгий наказ от Владимира Ильича: ночью не ехать, оставаться в Горках до утра.

...На большом столе, покрытом простой клеенкой, уютно шумел самовар. Мария Ильинична, работавшая тогда секретарем редакции «Правды», продолжала расспрашивать гостей о жизни рабочих Богородска, просила писать в газету.

В комнату не раз входила Евдокия Ивановна Смирнова — московская работница, помогавшая Надежде Константиновне и Марии Ильиничне по хозяйству. Ее присылал Владимир Ильич — узнать, накормлены ли гости. Дали ли им отведать грибов, которые он сам собирал в здешнем лесу?

Ленина тоже глубоко взволновала эта встреча. До поздней ночи он не смыкал глаз. То и дело брал со стола адрес глуховских текстильщиков, перечитывая слова, старательно выведенные крупными печатными буквами: «Ты нужен нам во дни труда, в дни горя, в дни радости...»

О чем думалось Владимиру Ильичу в тот долгий осенний вечер, после встречи с глуховцами? Ведь он так дорожил любой возможностью общения с трудящимися людьми, так стремился от них самих узнавать их мысли, настроения.

...Так и лежит до сих пор письмо рабочих-текстильщиков на широком письменном столе, рядом со стопками книг, журналов, газетами, с листками, исписанными бисерным ленинским почерком, лежит на том самом месте, куда положил его сорок лет назад Владимир Ильич.

...На центральной площади текстильной Глуховки посреди тенистого сквера высится статуя Ильича. Это первая скульптура Ленина, созданная еще при его жизни. Автор ее — маляр одной из глуховских фабрик Федор Кузнецов.

Когда, увлеченный рассказами своих земляков о поездке в Горки, скульптор-самоучка задумал вылепить статую Ленина, у него нашлось немало деятельных помощников — участников кружка изобразительного искусства, появившегося в то время в Глуховке. Работа была окончена в начале 1924 года.

Рабочие-скульпторы изобразили Ленина в полный рост. На барельефе, опоясывающем постамент, — фигуры ткачихи, шахтера, крестьянина. А рядом чудесные ленинские слова: «Больше доверяя к силам рабочего класса...»

Открытие монумента было назначено на 22 января. Стоял тридцатиградусный мороз. Тысячи людей из Богородска, Обухова, Затишья и других поселков заполнили площадь. Никто не знал еще о великом горе, постигшем страну. Но вдруг людская масса всколыхнулась и замерла, словно скованная морозом.

— Товарищи! — прозвучало с трибуны. — Мы собрались на открытие статуи Ленина, но тяжкая весть о кончине нашего любимого Ильича заставляет нас открыть сегодня памятник великому вождю.

Пять суток — днем и ночью — сменялся почетный рабочий караул у первого в советской стране памятника Владимиру Ильичу Ленину.

...Прошли десятилетия. Широко раскинули ветви деревья у памятника в Глухове. Разросся вишневый сад, посаженный глуховцами в Горках Ленинских. И рядом с многолетними, давно возмужавшими стволами появляются все новые молодые саженцы «владимирки». Каждый год из Ногинска приезжают сюда молодые рабочие, студенты, школьники — внуки тех, кто посылал рабочую делегацию к Ильичу, и так же, как тогда, бережно развертывают привезенные с собой свертки. Тонкие вишенки приживаются здесь, стойко переносят зимнюю стужу, выбрасывают весной тугие почки и буйно цветут.

Э. Клопов,

*научный сотрудник Института
марксизма-ленинизма*

НЕСКОЛЬКО СТРОК ЛЕНИНСКОЙ БИОГРАФИИ

Когда весть о победе Великой Октябрьской социалистической революции разнеслась по России, в Петроград, в Смольный, к Ленину устремились со всех концов страны делегации рабочих, крестьян и солдат, местных Советов и большевистских комитетов, чтобы узнать от самого Ильича правду о советской власти, услышать именно от него, что делать с помещичьей землей и предприятиями капиталистов-саботажников, какими правами располагают Советы, скоро ли будет подписан мир; чтобы выразить свою солидарность с Советским правительством, просить о помощи и поддержке. «Это было время неукротимого паломничества к Ленину,— писала впоследствии М. Н. Скрыпник, работавшая с ноября 1917 года по февраль 1918 года в секретариате Совнаркома.— Каждый день с утра до вечера я заставляла десятки людей, которые приезжали с мест повидать Ленина. Они часами сидели в приемной Совнаркома, терпеливо ожидая приема. Несмотря на все уговоры, делегаты не хотели возвращаться на места, не повидав Ленина...»

Многих — конечно не всех, но многих делегатов Владимир Ильич принимал, обстоятельно беседовал с ними, выспрашивал, как идут дела на местах, как настроено население к советской власти, как работают Советы. Ленин не жалел времени, чтобы разъяснить задачи и цели рабоче-крестьянского правительства России, растолковать смысл его

первых мероприятий. Об этих приемах мы знаем, главным образом, из воспоминаний соратников Ильича и самих делегатов, которым посчастливилось побывать у вождя в Смольном. Но их свидетельства, хотя они и очень интересны и ценны для историков, все же не могут претендовать на абсолютную точность (особенно те из них, которые написаны и опубликованы несколько десятков лет спустя после Октябрьской революции). Тем большую ценность приобретают сведения, которые удастся найти в документах и прессе тех дней.

Одно из таких сообщений послужило ниточкой, которая привела нас к неизвестному прежде и весьма примечательному факту, относящемуся к тем бурным дням.

14 ноября 1917 года меньшевистская газета «День» опубликовала заметку о том, что В. И. Ленин и народный комиссар почт и телеграфов Н. П. Глебов (Авилов) 12 ноября приняли делегацию 49 армейского корпуса, входившего в состав XII армии и расквартированного в северо-западной части Эстляндской губернии. Но можно ли верить антисоветской газете? — прежде всего спросили мы себя. И решили: верить на слово нельзя, но вовсе сбрасывать со счетов такие сведения мы тоже не имеем права. Надо искать дополнительные доказательства.

Что же конкретно говорилось в «Дне»?

Делегация 49 корпуса, сообща-

ла газета, прибыла в Петроград, чтобы ознакомить Совет Народных Комиссаров и все социалистические партии с резолюцией, принятой 9 ноября 1917 года на экстренном заседании съезда президиумов всех частей корпуса, делегатов армейского съезда, петроградской корпусной делегации и корпусного комитета по вопросу о власти и о положении в стране. В этой резолюции (о ней сообщали и другие петроградские газеты), наряду с пунктами, навеянными эсеро-меньшевистской пропагандой (прекращение гражданской войны, «немедленное создание народного социалистического министерства, пропорционального, ответственного перед Советом крестьянских, рабочих и солдатских депутатов Второго съезда до раскола, то есть от большевиков до народных социалистов включительно», созыв Учредительного собрания в назначенный срок без промедления), содержались также положения, которые выражали истинные интересы и настроения многомиллионной солдатской массы. Съезд требовал скорейшего демократического мира, передачи земли и всего инвентаря в руки земельных комитетов, демократизации армии, предания революционному суду «всех зачинщиков, контрреволюционеров и палачей дома Романовых», отмены смертной казни, контроля рабочих над производством.

Как сообщал «День», В. И. Ленин и Н. П. Глебов дали делегатам 49 корпуса два ответа: «Один официальный, написанный на двух листах на официальном бланке Совета Народных Комиссаров и озаглавленный: «В Комитет 49-го армейского корпуса», подписанный председателем Совета и помеченный исх. № 75; другой — неофициальный, заключающийся в словесном обмене мнений.

Официальный документ состоит из двенадцати пунктов, в которых указывается, что власть всюду перешла в руки Советов, что буржуазия и сторонники Керенского оказывают сопротивление рабочим и солдатам, что Совет Народных Ко-

миссаров согласен на создание только такого министерства, которое ответственно исключительно перед программой, принятой Вторым съездом Советов, что созыв Учредительного собрания обеспечен» и т. д.

Очень интересно! Но... но нужны подтверждения.

— Пойдите, пойдите, товарищи! — воскликнул один из нас. — А тот документ из ЦГАОР? Помните?

Мы сразу поняли, что имел в виду наш коллега. Совсем недавно в Центральном государственном архиве Октябрьской революции нам попала в руки машинописная копия правительственного документа, по содержанию очень похожего, а кое-где почти дословно совпадающего с тем, о котором упоминал «День».

Мы снова отправились в ЦГАОР. И вот он перед нами, этот документ — два листа бумаги:

«. ноября 1917 г.

В ответ на постановления, вынесенные на съезде Совет Народных Комиссаров заявляет: 1) что в Петрограде, Москве и других, более или менее крупных пунктах Российской Республики, где власть перешла к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, — спокойно. В тех же местностях страны, где переход власти к Советам р., с. и кр. депутатов еще в процессе борьбы, наблюдается, естественно, упорное сопротивление рабочим, солдатам и крестьянам со стороны буржуазии и сторонников власти Керенского; и полная победа рабочих, солдат и крестьян, естественно, ведет к прекращению гражданской войны; 2) что Совет Народных Комиссаров согласен на создание только такого министерства, которое ответственно исключительно перед программой, принятой Вторым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, и перед Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов, избранным 2-ым Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов; и только

упорное нежелание правого крыла социалистических партий признать волю, выраженную 2-м Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов, не приводит к желанной организации советской власти; 3) что созыв Учредительного собрания к установленному сроку обеспечен, и со дня 12-го ноября уже производятся выборы; 4) что декрет о мире провозглашен 2-м Всероссийским съездом и что Совет Народных Комиссаров уже принял решительные меры к началу переговоров о перемирии на всех фронтах; 5) что переход всей земли в распоряжение земельных комитетов декретирован 2-м Всероссийским съездом и чрезвычайно энергично проводится в жизнь; 6) что проект о демократизации армии и флота опубликован 8-го ноября с. г. и в ближайшее время будет утвержден; 7) что всякие попытки контрреволюционеров препятствовать творчеству рабочих, солдат и крестьян пресекаются самыми решительными мерами и что всех зачинщиков контрреволюции ожидает строжайший и справедливый революционный суд; 8) что закон о смертной казни отменен волею 2-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов; 9) что проект об осуществлении контроля рабочих над производством будет в ближайшие дни утвержден и опубликован».

Да ведь это же тот самый официальный ответ Совнаркома 49 корпусу, о котором сообщал «День», хотя в нем 9, а не 12 пунктов! Замечательный документ! В нем четко и ясно изложена политика Советского правительства по важнейшим вопросам политической жизни страны в ноябре 1917 года. И очень жаль, что на нем нет никаких пометок секретарей или делопроизводителей, нет даже даты. Только это помешало при первом же ознакомлении связать его с деятельностью В. И. Ленина: было неясно, копия ли это с официального документа,

или же проект, так и не утвержденный председателем Совнаркома.

Мы продолжили поиски. И нам повезло. В том же архиве, в одном из соседних дел, оказалась еще одна копия заинтересовавшей нас бумаги. Правда, не целиком — только первый лист. Но какой лист! Не просто машинописная копия, а официальный «отпуск» документа, на котором проставлены дата — 12 ноября 1917 г. — и обращение: «В Комитет 49-го армейского корпуса»; заполнены и пропуски в тексте: «В ответ на постановления, вынесенные на съезде 49-го армейского корпуса». Более того, как и указывалось в «Дне», напечатано обращение на бланке Совета Народных Комиссаров. Даже исходящий номер газета привела правильно — 75! Значит, Совнарком действительно направил 49 корпусу официальный ответ. Очевидно, имела место и встреча и беседа В. И. Ленина с делегацией 49 корпуса, — ответ Совнаркома глава Советского правительства вручил лично.

Итак, информация «Дня» подтвердилась. Правда, при изложении беседы газета не изменила себе, не удержалась от явных искажений мыслей В. И. Ленина. Но это уже не удивительно — что можно было ожидать от меньшевиков?..

Так в биографической хронике жизни и деятельности В. И. Ленина, которую составляет ИМЛ, появились несколько новых строчек:

12 ноября 1917 г. Ленин подписывает разъяснение Совнаркома комитету 49 армейского корпуса в ответ на постановление экстренного заседания съезда 49 армейского корпуса от 9 ноября 1917 г. по вопросу о власти и положении в стране;

Ленин принимает делегатов 49 армейского корпуса, беседует с ними о внутренней и внешней политике Советского правительства и вручает подписанное им официальное разъяснение Совнаркома комитету 49 корпуса.

ОТ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ ДО МАНЕЖА

В зимние морозные дни по Лаврушинскому переулку в Москве медленно движется очередь. Это люди, желающие побывать в Третьяковской галерее. Жажда прекрасного должна в очень сильной степени владеть человеком, если он способен выстоять час, другой на морозе, чтобы увидеть творения замечательных русских художников...

Более ста лет назад — в 1856 году — было положено начало галерее. Произошло это после Крымской войны, после того, как крепостная Россия Николая I потерпела поражение и в передовом русском обществе пробудились надежды на лучшее будущее. Русское искусство и литература — одареннейшие русские живописцы, крупнейшие русские писатели — глубоко осознали свой долг перед народом.

И недаром одна из прекрасных новелл русской литературы — «Портрет» Гоголя — рассказывает о трагической гибели художника, изменившего своему долгу, изменившего жизненной правде.

Не изменяли жизненной правде Александр Иванов, Федотов. Не изменяли и те художники, которые в шестидесятые годы прошлого столетия под благотворным влиянием Чернышевского, революционных демократов восстали против казенного бездушия академической школы, против ее условности, искусственности. Неразрывной стала связь живописи передвижников с литературой. Искусство — так же, как литература, стремилось рассказать о горькой, бесправной жизни народа. Перов написал «Деревенские похороны», Ярошенко — «Осужденный» и «Кочегар», Репин — «Не ждали», «Арест пропагандиста», «Отказ от исповеди», Верещагин — «На Шипке все спокойно», «Апофеоз войны». Сюжеты этих и многих других, подобных им картин не требовали долгих пояснений: с полотен смотрела сама жизнь. Всем была понятна картина С. Коровина «На миру» — спор бедняка и кулака, раскрывавшая горестную участь обездоленного мужика. Живопись в те годы выполняла ту же задачу, что и литература и музыка: она была народной, боевой, пропагандистской, демократичес-

кой. Вспомним, что Стасов, могучий борец за реалистическое искусство, написал в те годы одну из лучших своих статей «Перов и Мусоргский». Лев Николаевич Толстой говорил о том, что художник и мыслитель должны страдать вместе с людьми, чтобы найти спасенье или утешение. Гаршин в рассказе «Художники» показал бедствия живописца, создающего картину, в которой запечатлена жуткая профессия рабочего — «глухаря».

Даже пейзаж, жанр, казалось бы далекий от всякой тенденции, представленный именами Васильева, Саврасова, Шишкина, Поленова, Левитана, не только радовал глаз милыми сердцу картинами родной русской природы. Вспомним левитановскую «Владимирку», вызывающую в памяти образы энтузиастов, которые в кандалах прошли под свинцовым серым небом по этому скорбному пути в беспредельную безрадостную даль...

В литературе, у Чехова, пейзаж был не только фоном повествования. Вспомним удивительные строки из рассказа «Мужики»: «Через реку были положены шаткие бревенчатые лавы, и как раз под ними, в чистой, прозрачной воде, ходили стаи широколобых голавлей. На зеленых кустах, которые смотрелись в воду, сверкала роса. Повеяло теплотой, стало отраднo. Какое прекрасное утро! И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься. Стоило теперь только оглянуться на деревню, как живо вспоминалось все вчерашнее, — и очарование счастья, какое чудилось кругом, исчезло в одно мгновение...»

Мастерство живописца и писателя усиливало обличительное воздействие произведения, будь то повесть, роман или картина. Вот почему так дорога нашему народу классическая литература и живопись великих русских художников. Вот почему люди стоят на морозе в ожидании, когда придет их черед войти в залы Третьяковской галереи — сокровищницы русской живописи.

Вслед за содружеством передвижников внимание народа привлекает Союз русских



П. Шухмин

Приказ о наступлении

ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ

С ВЫСТАВКИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
МОСКОВСКИХ
ХУДОЖНИКОВ



М. Греков

Знаменщик и трубач

С. Малюпин

Партизан





В. Одинцов

Великая битва



А. Смолин, П. Смолин

На границе



Москва

ПО СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ

Пейзажи чешского художника

ЯНА МАХА



Ленинград

Таллин







Коломенское

Кавказ



художников — живописные произведения Виноградова, Переплетчикова, Аполлинария Васнецова, Константина Коровина, Юона, Жуковского. Их творчество, их высокое мастерство достойно уважения еще и потому, что они твердо стояли на позициях реализма.

В конце прошлого века, накануне революции 1905 года, в моду входило декадентство с его пустым и пышным девизом: «Искусство свободно, ибо создается свободным творческим порывом».

В ноябре 1905 года Ленин так писал о подобного рода «свободе» художника: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания»...

В дни революции 1905 года замечательный художник Валентин Серов, создавший целую галерею портретов своих современников, портретов, и поныне поражающих нас и обличительной силой и глубиной психологического анализа, рисовал разгон демонстрации казаками, карикатуры на Николая II Кровавого, сотрудничал в революционных сатирических журналах.

Но вот революция потеряла поражение. В мрачные годы реакции искусство окутало тусклое облако безыдейного декадентства, оторванного от жизни, полного пессимизма. Группировка художников «Мир искусства» была наиболее ярким выражением этих упаднических настроений. Денежные мешки издавали декадентский журнал «Золотое руно», строили в Петровском парке «модернистскую» виллу «Черный лебедь», были щедрыми меценатами для художников, угрожающих их вкусам. Наступала пора слащавых жеманных картин, идиллически изображавших жеманный восемнадцатый век. Сомов и Бакст уводили людей от будничной жизни в аллеи Версальских парков, в тот век, когда в России крепостные балерины, певцы и роговая музыка были утехой екатерининских вельмож. Журнал «Аполлон» травил великого реалиста Репина. Но честные художники создавали бесплодие декадентства. Один из столпов «Мира искусства», Александр Бенуа, сам говорил о «бесплодной пустыне индивидуализма»...

Перевернем и эту страницу истории искусства России... И вот уже в Москве шумят «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», мелькают в печати имена Ларионова, Ленгулова, Машкова, Натальи Гончаровой. Вслед за ними с грохотом и посвистом врывается Давид Бурлюк со своим «синтетическим пейзажем» и «элементами неба в момент разложения плоскостей, интродуцированными в изображении с четырех точек зрения».

А между тем первая мировая война идет к концу, рушится царский строй, в прах рассыпается керенщина. Выстрел «Авроры» возвещает новую эру — эру Великой социалистической революции. В октябре 1917 года началась новая история нашего

народа — величественные, славные годы ленинских декретов, героических подвигов, тяжелых испытаний, строительства Советской власти.

Можно было подумать, что в первые годы революции так называемое «левое» искусство торжествует победу. В обстановке бешеной, злобной агитации против Советской власти некоторые художники старшего поколения как-то растерялись, и в этой благоприятной ситуации «левые» захватили кое-какие позиции в искусстве. Народ в изумлении смотрел на ошеломляющую роспись стен Страстного монастыря, на выкрашенные синей и оранжевой краской деревья в сквере перед Большим театром, на сколоченные наскоро из фанеры примитивные, грубые манекены, изображающие рабочих и работниц. Длились эти «забавы» недолго: народ попросту не принял их. Они были неизмеримо далеки от насущных потребностей, от духовной жизни народа, страны.

Выступили художники-реалисты — Бродский, Касаткин, скульпторы Николай Андреев, Шадр, мастера политического плаката Д. Моор, М. Черемных. Это было настоящее искусство. «Расстрел двадцати шести комиссаров» глубоко волновал. Картина Бродского трогала сердца красноармейцев, матросов, красных командиров, рабочих. Трагический эпизод революции нашел свое выражение и в литературе — в стихах поэта Асеева запечатлена гибель двадцати шести комиссаров.

Образ Ленина сохранен для нас Андреевым в созданной им с натуры «Лениниане», в изумительной скульптуре «Ленин вождь».

...Мы начали нашу воображаемую прогулку сквозь десятилетия у стен Третьяковской галереи. Мы миновали Большой Каменный мост и приближаемся теперь к Манежу, то есть к тому месту, в котором московские художники отметили выставкой тридцатилетие своей работы.

Много воды утекло за эти тридцать лет. Многое изменилось. Годы культа личности Сталина оставили болезненный след в советской живописи. Вспомним огромные слащавые полотна, заполненные множеством безжизненных, но широко улыбающихся лиц, все эти цветы, столы, ломящиеся от яств, колхозные свадьбы, пиршества, помпезные шествия, парадные портреты. Щедро рассыпаемые премии были наградой за эти произведения...

Однако в те годы было создано немало и хороших картин, хороших портретов. Работали Нестеров, создавший удивительный портрет академика Павлова, Кустодиев, Кончаловский, братья Корины, В. Н. Яковлев, много талантливой молодежи. Картина Иогансона «На старом Уральском заводе» напоминала о лучших страницах Мамина-Сибиряка. Вспомним «Оборону Петрограда» Дейнеки. Богатство красок Армении нашло свое выражение в пейзажах Сарьяна, появились среднеазиатские и подмосковные пейзажи Сергея Герасимова.

В условиях культа личности некоторых из этих художников замалчивали, даже объявляли формалистами, — в их числе были и нынешние академики живописи. Напомню, каким было в те времена отношение к произведениям западных художников-импрессионистов, — тех самых, о которых Стасов писал, что они — Клод Монэ, Писсаро, Сислей — принесли пользу искусству!..

Правда, Стасов ставил Курбэ выше их, утверждая, что если для Эдуарда Манэ главное — игра света и колорит, то для Курбэ главное — люди. Но ведь это не давало основания «прятать» импрессионистов от советских людей, усиливая тем самым интерес к их творчеству как к «запретному» плоду... Впрочем, что говорить о «гонении» на импрессионистов, если даже портреты Валентина Серова, о котором Репин писал, что «Серов, как Толстой, как Чехов, более всего ненавидел общие места в искусстве, банальность, шаблонность», объявлялись «незаконченными», «незавершенными», если такие прекрасные художники, как Врубель и К. Коровин, тоже были «под запретом», были скрыты от глаз советского зрителя.

В живописи проповедовалось тоскливое однообразие.

Не исключено, что перегиб, который мы наблюдали в годы культа Сталина, мог иметь какое-то значение в том чуждом здоровому советскому искусству припадке «абстракционистской болезни», которой заразились некоторые молодые художники, не имеющие достаточного жизненного опыта, слабо знающие ход развития русского искусства, а потому и лишенные способности критически мыслить и до конца осознать свой долг перед народом.

Они не поняли главного — того, что абстракционизм в корне чужд нашему советскому строю, чужд марксистскому мировоззрению, чужд нашему народу и лежит совершенно в стороне от того пути к коммунизму, которым нас ведет партия Ленина. И горько ошибаются те, кто понимает возвращение к ленинским принципам руководства как некую свободу, дарованную крайним проявлениям индивидуализма, чем в основе своей и является абстракционизм.

Этой осенью я бродил по галереям Парижа, вернее, по тем магазинам, где выставлены произведения абстракционистов. Если бессмысленное нагромождение красок, куски жести, веревки на полотне — есть самовыражение художника, то это — самовыражение самого крайнего индивидуализма, замкнутости в себе, душевной опустошенности, отрешенности от мира, от действительности, презрения к человеку, к его переживаниям, стремлениям, мыслям.

Именно этой отрешенностью от тревожной действительности, от ощущения неизбежного краха буржуазного общества, именно своей ненавистью к человеку абстракционизм близок «верхним десяти тысячам», «страдающим от ожирения», которых так беспощадно заклеил Ленин в

статье «Партийная организация и партийная литература».

Именно эти обожравшиеся роскошью господа ухватились за абстракционистов, создали моду на них — моду, которая уже изживает себя. Ведь даже такие газеты, как «Фигаро», уже печатают статьи против абстракционизма.

А газета «Франс суар», помещая сообщения о краже настоящих шедевров, картин Ренуара, Монэ, Франциско Гойи, не без юмора замечает, что со времени возникновения абстрактного искусства еще не было случая, чтобы вор украл хоть одну абстрактную картину. Похитители картин не так глупы, они знают, что за абстракционистский «шедевр», купленный мультимиллионером за десять тысяч долларов, здравомыслящий человек не даст и одного доллара!

На протяжении многих десятилетий мы видим резкое падение, деградацию вкусов буржуазии. Разве при жизни Ван-Гога или Гогена буржуазия оценила этих художников? Разве оценила буржуазия Модильяни? Только когда их не стало, буржуазия начала за баснословные цены скупать их произведения. И вот вкусы буржуазии упали до абстракционизма, до бессмыслицы, но отношение к искусству как к товару, который можно купить и с выгодой перепродать, не изменилось.

Я расскажу одну историю, о которой однажды писал.

Жил в Париже в наше время художник по фамилии Сталь — хороший художник, в полном смысле слова реалист. Голодал. Реалисты, как известно, на Западе не в моде. А неподалеку, в роскошной студии, жил другой художник, абстракционист. (Все это правда, хотя и похоже на придуманную новеллу). У абстракциониста — дорогой автомобиль марки «ролс-ройс», вилла на берегу Средиземного моря, личный секретарь. За его «абстракции» платили десятки тысяч долларов, и висели они в американских музеях. Все это видел, обо всем этом знал художник по фамилии Сталь. Доведенный до отчаяния нищетой, он тоже начал рисовать абстрактные картины. Прошло какое-то время, и о нем заговорили. Появились покупатели, дела поправились, понадобился личный секретарь, а за ним — машина-люкс, роскошная студия. Но настоящий художник не мог долго насиловать себя. Его охватило отвращение к тому, что он делал. Он вернулся к реалистической живописи. И сразу все как отрезало: он стал никому не интересен, о нем забыли. Кончилось тем, что художник Сталь отравился.

Это еще не конец правдивой новеллы. Как только узнали, что Сталь покончил с собой, «маршаны» (перепродавцы) кинулись в его мастерскую. Но покупали они не реалистические полотна Сталя, а приобретали за громадные деньги его абстрактные картины. Самоубийство художника было сенсацией, — вот и взлетели цены на его картины, не на те, которые он писал по убеждению, от всего сердца, а на те, которые создал, насилуя свой талант.

Какой сюжет для романа или для фильма!

Искусство не прощает измены ради славы и денег, как это случается за рубежом. Не прощает оно погони за сомнительным успехом.

Сальватор Дали, вокруг имени которого создавался шумиха, сам признает, что сочетает в себе параноика и человека с трезвым рассудком, реалиста и мистика. Он утверждает, что может впадать в транс и видеть мир иным, чем он есть. Если так, то в его картинах разберется скорее психиатр, чем искусствовед.

...Путь от Третьяковской галереи до Манежа — поучительный путь. Многие приходят в голову, пока не торопясь, совершаешь прогулку от Лаврушинского переулка до Манежной площади. В какие-нибудь полчаса окидываешь мысленным взглядом пути нашего искусства. И не надо быть тонким знатоком искусства, чтобы отвернуться от искаженного человеческого облика, выдаваемого за скульптуру, или от куска холста, на котором художник не то подражал детскому рисунку, не то пробовал качество красок.

Художники, чьи имена часто повторялись в последнее время, — Фальк, Штернберг, — умерли. Зная их, я не уверен, что они выбрали бы для экспозиции именно те картины, которые видишь на выставке МОСХа. И вообще о творчестве этих художников можно спорить. И спорят. Но можно ли спорить о явной бессмыслице? О нелепом обезьянничанье западных, с позволения сказать, образцов абстракционизма?

Среди наших молодых художников, увлекшихся абстракционизмом, возможно и даже вероятно, есть талантливые люди. Истинный талант всегда не удовлетворен, всегда спорит с собой, всегда ищет и, верится, находит верный путь. Но, если художник одарен талантом, он не может остановиться на своем «абстракционистском шедевре». Он подумает, поспорит с собой и в конце концов зашвырнет этот «шедевр» в угол и, продолжая поиски, напишет картину, которая будет говорить уму и сердцу народа.

Горький писал о Стасове: «Он говорил об искусстве так, как будто все оно было создано его предками по крови — праде-

дом, дедом, отцом, как будто все искусство создают во всем мире его дети, а будут создавать — внуки».

Это значит, что Стасов считал искусство своим родным, кровным делом и вместе с тем общенародным и потому вечным. Он писал и говорил об искусстве как о могучей силе в борьбе за демократические идеи, близкие духовным запросам народа.

Мастера, создававшие великое реалистическое искусство в тяжкие годы, когда народ томился под властью царя, помещиков, капиталистов, словом и кистью открывавшие народу правду о его жизни, — эти мастера, их традиции достойны вечной славы.

Тем большая ответственность лежит на нас — их преемниках, творящих искусство советского народа, народа, строящего коммунизм под руководством ленинской Коммунистической партии.

На встрече руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства и на совещании Идеологической комиссии при ЦК КПСС с молодыми литераторами, художниками, композиторами шел разговор о том, что мы, старшее и младшее поколения деятелей искусства и литературы, должны еще лучше служить народу, идее борьбы за коммунистическое общество, активно выступать против враждебной идеологии.

Литераторы, художники, композиторы, деятели театра всегда должны помнить слова Владимира Ильича Ленина, написанные им в 1905 году:

«Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

Уже пятое десятилетие искусство принадлежит в нашей стране народу, и народ — его единственный судья. Народ и его партия — ленинская Коммунистическая партия, которая ведет нас к коммунизму!

Вера Шапошникова

Москва идет
по стране

В низовьях Днестра

І. НА РАЗЛИВЕ

Михаил Литовчин, режиссер одесской телевизионной студии, приехал в Белгород-Днестровский район на съемки документального фильма. Он хотел показать жизнь людей и щедроты весны.

Воскресным утром мы с ним сидели в парке, против гостиницы.

Долгие холода сдерживали весну, но потом, наконец, отступили. И сейчас все вокруг сияло и пело. Прозрачные желтоватые листья, вырвавшись из материнского лона почек, как бы замерли, ошеломленные воздухом и светом. От деревьев исходило сияние и аромат. В ярко-зеленой атласной траве белели глазки цветов. Одни лишь декоративные туи стояли черные, голые, как зонты, с которых сорвали ткань.

Режиссер мыслил образами.

— Вот наступает весна,— говорил он.— Все оживает, дышит, стремится к теплу. Бушуют разливы, цветут сады. Закроешь глаза и слышишь гул. Это пчелы. Слышите?.. Гул постепенно переходит в рокот моторов. На поле вышли трактора...— Литовчин улынулся, жмурясь от солнца.— И вот вчера мы весь день снимали в колхозе людей, трактора, посевные работы. А нынче поедем в устье Днестра. Сейчас там здорово. Разлив. Леса затопило. А птицы, как в заповеднике, никого не боятся. Не хотите ли поехать с нами?

Парк постепенно заполнялся людьми. Прохаживались приехавшие отдыхать щеголеватые одесситы. Нагруженные кошелками и мешками, шагали с базара хозяйки. Сновали цыганки в затрепанных юбках.

Одна из цыганок пристала к нам. Спустила с плеча набитую булками сумку и, прикрикнув на вертлявую девочку, привычно заговорила:

— А ну, погадаю. Судьбу предскажу. Кто любит тебя, кто ждет, кого тебе нужно бояться.

Она пристально посмотрела на режиссера и продолжала, понизив голос:

— Вижу, человек ты хороший, добрый, а нет тебе счастья. Вижу, страдаешь из-за друзей, друзья твои злые, не верные...

Подбежала девочка, взвизгнула, засмеялась. Звякнули монеты на тоненькой грязной шейке. Цыганка достала зеркало, попросила монету.

— А ну расскажу, где найдешь уют. Вижу, глаза печальные, знаю, тоскуешь...

Литовчин молчал, улыбка пряталась в уголках его рта.

— А ну она погадает,— цыганка кивнула на девочку.

— Где вы живете? — спросил режиссер.

— А тут, в Аккермане. Не кочуем теперь. Мужик кузнецом в колхозе работает. И я иногда помогаю. Но больше все по хозяйству. Дети. Семья большая, обмыть, накормить надо,— и вот подработать... На все нужно время! — Она говорила озабоченно, просто, как говорят обремененные семьей хозяйки. Потом взяла девочку за руку, подняла сумку, пошла по дорожке.

— Если вот так, с детства, заниматься гаданием, вырабатывается чутье к человеческим настроениям,— сказал режиссер, провожая цыганку задумчивым взглядом.— «Бойся друзей!» То есть не принимай за друзей недостойных. В этом есть какая-то примитивная истина...

Потом мы бродили по городу. Шли длинной улицей, мощенной отполированным камнем. Дома дремотно белели в ажурных узорах листвы. Я слышала размеренный гул: в цветущих деревьях трудились пчелы.

Зеленая улица упиралась в Днестр. По неоглядной глади скользили рыбацьи лодки-могуны с надутыми ветром угольниками парусов. На темном скалистом выступе слева стояла старая крепость, сооруженная семь столетий назад. Стены ее поднимались из рва и тянулись вверх, к синему небу, на которое начали наползать облака.

— Отсюда Пушкин осматривал Аккерман,—режиссер показал на массивную башню.— Помните, в «Цыганах»:

А правил Бурджаком паша
С высоких башен Аккермана...

Об этих башнях написано. Их двадцать шесть, и каждая — легенда, история. Вот та, например, носит имя Овидия. Подумать только,— мы с вами стоим на земле, по которой ходили Пушкин и Овидий Назон!..

И сразу же всплыли в памяти другие пушкинские строки — об Овидии:

...воспел Назон.
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.

На том берегу белела затянута синей дымкой россыпь домов Овидиополя — города, названного именем поэта. Маленький буксир, тяжело пытая, перетаскивал через водную ширь паром.

— Нет, наверное, города,— говорил Литовчин,— столь часто менявшего свое имя. Известно тринадцать названий: Тирас, Монкастро, Аккерман, все и не вспомнишь! Одно из названий — древнеславянское, Белгород,— вернулось. В отличие от Белгорода в центре России этот город назвали Белгородом-Днестровским...

Поднялись на высокий берег. В начале двадцатого века он стал оползать. Обнажилась стена, и археолог Штерн, начавший раскопки, установил, что это остатки строения города Тиры, возникшего за шесть веков до нашей эры.

Сейчас уже раскопаны три яруса строек. Замечательны искусная кладка, с легкостью выдержавшая груз двух с половиной тысячелетий, геометричность форм, их равновесие, поразительное, присущее грекам чувство гармонии и красоты.

С невольным волнением разглядывали мы канавки в полу одного из строений, плиту для амфоры, в которой хранилось зерно. Фракийцы, населявшие эту землю, занимались земледелием, виноградарством, животноводством.

Позднее я видела в белгород-днестровском музее амфоры, статуэтки богов и животных, монеты, монисты, кольца, запечатленные на камне приказы по городу, обнаруженные при раскопках.

В начале нашей эры, во время нашествия готов, город горел, люди бежали, бросали дома, драгоценности. Один богатый фракиец спрятал в подвал все, чем владел: фигуры богов, посуду, зерно. Взял собаку, закрылся в подвал — думал спастись от врага. Но дом загорелся, обрушился и похоронил на века под своими развалинами и богов, и хозяйина, и собаку. Их так и нашли — два обгоревших скелета, а между ними на пепле отпечаток когда-то связавшей их навеки веревки...

По верхнему ряду раскопанных улиц тянулся водопровод. Его покрытие служило мостовой. Мы шли по древним каменным

плитам, и каждый шаг, казалось, отдавался в тысячелетиях.

На крепостных дворах заглядывали в башни из серого камня, взобрались на минарет, построенный турками в XVI веке на месте разрушенного христианского храма.

У минарета, на травке, расположились туристы, пришедшие из Измаила. Веселые, шумные, они пели, шутили, жевали бутерброды. Неподдалеку от них лежал ассистент режиссера Сережа, живой, остроумный, общительный паренек. Его обветренное мальчишеское, обращенное к небу лицо выражало тревогу. Заметив нас, Сережа вскочил, подхватив с земли прошитую белой строчкой куртку.

— Погода портится — облака! — сказал он.— А что, если снова поехать в колхоз? Еще не поздно. Или сразу на плавни?

Поездки на плавни наметили после часу. До устья было километров шестьдесят. Литовчин хотел заснять заход солнца — передать настроение покоя.

...Едва мы выехали за пределы города, потянулись распаханые под кукурузу поля. На виноградниках стояли укрепления — шамбы, торчали из земли узловатые, темные, срезанные под самый корень кусты.

Иногда нас останавливали путники. Они выходили на дорогу, поднимали руку. Шофер тормозил, а Сережа, похлопывая по сиденью ладонью, приглашал подошедшего сесть рядом с ним.

Он выведывал у пассажира, где, в какой деревне будут вечером танцы, где гуляют на свадьбе, приедет ли лектор и будет ли самодетельный спектакль. Однажды он повернулся к нам, прищурил глаза, щелкнул себя пальцем по горлу: разговор шел о вине.

Немного спустя шофер затормозил у белого, крытого соломой дома. За толстым плетнем тянулся виноградник, в саду цвели абрикосы, яблоны, персики, груши, на грядках торчал упругий зеленый лук. Участок был обширный, ухоженный, и все вокруг было ухожено и богато.

Вышел хозяин в засаленном пиджаке. Расчетливо, зорко он оглядел нас, не спрашивая, взял литровую банку и, буркнув стоявшему у плетня подростку: «Неси стакан!», скрылся в сарае. Он вернулся с полной банкой, потребовал с нас восемь гривен и, сунув деньги в карман, ушел,— суровый, неразговорчивый. Вино было очень сухое, прохладное, острое, и пить его на ходу из граненого стакана было как-то обидно. Сережа принес из машины бутылку, перелил вино.

— Будет повод выпить,— сказал режиссер.— Закончим снимать, пойдем к рыбакам. Вы когда-нибудь ели юшку?

...И снова мы подбирали по пути пассажиров. Они наполняли наш автобус своими заботами, говором, смехом. Иные сидели тихонько, поглядывая по сторонам, другие с невероятной быстротой лущили семечки. Проехав две-три деревни, пассажиры просили остановиться, сходили, но вскоре их заменяли другие.

Вот весь автобус заполнили девушки. Они стояли в проходе, прямые и чинные, боясь помять до блеска наглаженные нарядные платья. Девушки ехали в клуб, их загорелые лица светились радостью.

Машину трянуло, одна из девушек, самая юная, в розовом платье и белых туфлях, не удержалась, качнулась, схватила Сережу за плечо. Он тотчас вскочил и осветомился, где будут танцы и, если случится, что он придет, то станут ли девушки с ним танцевать. Его приглашали, смеялись, высказывая сомнения в его пригодности как кавалера.

— Небось только модные знаешь! А мы их не уважаем. Придется тебе танцевать одному!..

Чем ближе мы подъезжали к устью Днестра, тем все больше сгущались, все ниже нависали облака. В просветы с трудом пробивалось солнце. Оно освещало раскисшую, черную после дождя дорогу. Сосед мой, подсевший в Староказачьем, рассказывал, что дожди здесь идут каждый день, они превратили дороги в сплошное болото. Огромные лужи казались озерами. Шофер убеждал вернуться назад.

— Была бы погода, был бы смысл рисковать. А то вон как нахмурилось!..

— Ну, до заката еще далеко!.. Все может перемениться,— отмахнулся Литовчин.

За большим просторным селеньем Паланкой начался пологий спуск к Днестру. Дорога стала ровнее и суше, она вбежала в дамбу, косой врезавшуюся в разлив. Необозримо сверкали весенние воды. Разлившаяся река стремительно мчалась, крутилась, несла на себе камыш. Сухие, пожухлые стебли вращались в водоворотах, цеплялись за торчащие из воды стволы и пни, скапливались, образуя зыбкие, темные острова. Над ними летали большескрылые птицы. Они садились на острова и тотчас взлетали, а место, на которое они опускались, блестело полоской воды.

Мы медленно продвигались по дамбе. У серых перил, поставленных над проходившей под дамбой трубой, увидели столбик с дощечкой: «Мост сорван, проезду нет».

— Хороший кадр! — съязвил шофер.

Литовчин выпрыгнул из автобуса. И сразу к нему подошел человек — невысокий, щуплый, в старом френче и выцветшей, сплющенной кепке. Он начал пространно рассказывать о большой воде, которая затопила деревни.

Я тоже вышла и оперлась на перильца мостка. Все вокруг дышало перевозданной свежестью. С одной стороны плотины вода, сердито ревя, врывалась в широкое горло трубы, с другой стороны она широко растекалась, двигаясь величаво и медленно. Вдыхая воздух, наполненный острими и пьянящими запахами, я крепко держалась за перильца. От воздуха, как от вина, кружилась голова, все плыло в глазах.

На дамбе сидели с удочками рыбаки. Их силуэты четко выделялись на светлой полоске вечернего неба. Наверное, где-то там, куда стремился Литовчин, еще золо-

тилась вода. Но здесь уже было пасмурно.

Тут снова возник разговор об ухе.

— А где настоящие рыбаки? — спросил шофер.

Прохожий, назвавшийся лесником, подумал и воскликнул с поспешной готовностью: «Вон туда они собирались с утра». Он показал рукой в зеленую даль, где среди затопленных кленов и ветел темнело ответвление плотины.

— Может быть, вы покажете путь? — спросил лесника Литовчин.

Тот закивал головой, взобрался в автобус, уселся рядом с шофером и начал командовать: «Туда вон. А тут поворот... Потише, потише, съедешь в воду!»

В воде стояли серые тополя. Истомно клонились ветвями ивы. Показывая на них, лесник говорил, что это единственные здесь леса. Кругом простираются степи: песчаники, чернозем, солончаки. Край винограда, хлебов, кукурузы и рыбы.

Узка полоса дамбы все забирала влево. Мы ехали теперь еще осторожнее.

Вдруг на дороге мы увидели цапель. Изящные, тонкие, они стояли, спокойно поглядывая на нас. Когда автобус приблизился к ним вплотную, они поднялись, распластав перламутрово-белые крылья. Пролетели метров двадцать пять и сели. Автобус снова приблизился к птицам. Они снова взлетели, все так же красиво планируя на белых крыльях. И снова опустились. И так много раз...

Вокруг дамбы кипела жизнь. Носились вертлявые длинноногие кулички и бекасы. Летали белые цапли, вытягивая длинные темные ноги. Они опускались на торчащие пни и застывали, как изваяния. На небольшом островке чуть поодаль дремала зобастая грузная птица.

— Смотрите, пеликан! — закричал Сережа, схватил фотокамеру и отодвинул стекло. Но тут же разочарованно отвернувшись: — Нужен телеобъектив!..

Проехали с километр и снова увидели точно такую же затопленную плоскодонку. И снова воскликнул лесник: «Моя!»

Дамба опоясывала распаханную под посевами долину. Она защищала ее от воды.

Я вспомнила, что в Голландии нам как чудо показывали польдеры — участки осушенной, отвоеванной у океана земли. Мы удивлялись, писали об этом. А здесь такие же, в общем, польдеры, но ни разу, никто не говорил мне о том, что в Одесской области, близ Паланки, люди отвоевали у плавней огромный участок земли. Будто это было совсем обыденно.

Проехали мы километра два, когда лесник объявил: «Вот здесь!»

От дамбы ответвлялась еще одна насыпь. Мы осторожно спустились к ней. Шли, раздвигая кусты, перебираясь по сплетенным корням, прыгая через промоины. Лесник шагал впереди. Он шел по-хозяйски, небрежно ступал прямо в грязь, плечом раздвигая кусты. Он был независим и деловит.

Остановились мы под высокой вербой. Возле нее обосновался молодой человек в

высоких резиновых сапогах и распахнутой телогрейке. В руке он держал рыбацкую «хватуку» — часто сплетенный овальный сачок. Мы тоже замерли. И вдруг лесник принялся кричать:

— От, от, ударило, что ж ты смотришь? Скорее... Скорее! Давай, тяни!.. — Потом он обрушился на рыбака: — Ты заводь-то выбрать похуже не мог? Ну кто сюда запылевет? Не знаешь, где нужно ловить?

— А где же рыба? — всполошился Сережа, увидев в «хватке» одну трепещущую плотвичку.

Лесник не ответил. Он стал сосредоточенно важным. Ни на кого не взглянув, он значительно бросил: «Вот так-то!» и, повернувшись, стал медленно удаляться.

Растерянно мы смотрели на его сутулую спину, пока она не исчезла в кустах. Тихонько гуськом побрели мы обратно.

— Вот тебе и уха! — разочарованно произнес Сережа.

— И то добро — подвезли человека, — пошутил режиссер.

Шофер, не стесняясь, клял лесника, ругал погоду, плохую дорогу. Берясь за руль, он заверял, что теперь-то уж никогда не поедет сюда «ловить закаты»...

Домой возвращались усталые. В деревнях звучали песни, и девушки, глядя нам вслед, смеялись, махали руками.

— Как это, право, досадно, — говорил режиссер. — И съемки, и лесник. Какая-то ерунда... Зачем он это? Мы бы и так его подвезли... Но вы не жалеете? Правда? По крайней мере увидели птиц, разлив... Вам нужно съездить в Шабо. Вот там вы увидите рыбаков — колоритные люди! И юшку попробуете. Запомните на всю жизнь!..

2. Ю Ш К А

В узких, стиснутых виноградниками улочках Шабо, ветвящихся от центральной его магистрали — шоссе, неуловимо и тонко пахло вином. Запах, казалось, исходил отовсюду — от уродливых, срезанных чуть ли не под самый корень кустов, из раскрытых сараев, сеней, где лежали завешанные от дедов давяльные прессы, от подвалов, где к букету вина примешивался острый сыроватый запах земли.

В этом большом, растянувшемся вдоль лимана селе вряд ли можно было найти хоть клочок земли, где не торчало бы темное корневище с крупными почками.

Угодья двух колхозов и винодельческого совхоза подходили к селу. По волнистой песчаной равнине тянулись опоры — шамбы, с натянутыми между ними рядами проволоки.

В буфетах, столовых, ресторанах, ларьках — везде торговали вином. Оно здесь было немногим дороже сидра. В теплом мягком климате микрорайона Шабо хорошо прижились европейские сорта винограда. Легкостью, ароматом шабские вина снижали завидную славу.

Шоссе, рассекавшее Шабо, уходило в низину. Там было теплее и тише. Заботливо жались друг к другу уютные белые хатки.

На братской могиле лежали цветы и стоял серебряный воин. Поодаль белело двухэтажное здание школы.

С возвышенности открывался взерошенный ветром лиман, по волнам которого ныряли медузы. Ветер дул уже несколько дней. Порывы его доносили степные запахи, вихрили на дорогах нагретую пыль.

— Когда только кончится этот «восток?» — вздохнул Иван Егорович Косухин, присаживаясь на каменный выступ ограды, которой был обнесен хозяйственный двор колхоза «Заря». Я села с ним рядом.

Со двора доносился рокот моторов, голоса и звон топора. Казалось, звуки летят откуда-то издалека — их несут порывы восточного ветра...

Приезжий в раздумье стоял у ограды. Это был высокий подтянутый человек в коричневой фетровой шляпе и светлом плаще. Он подошел к нам, когда мы свернули с шоссе, назвался инспектором рыбного треста и, выяснив, что Косухин и есть секретарь колхозной партийной организации, обрадованно сообщил, что приехал проверить, как идет выполнение плана.

— По совместительству, — сказал он, — читаю и лекции, так что прошу организовать рыбаков...

Он стал, торопясь, расспрашивать секретаря о том, как проходит в бригадах лов. Ответы Косухина записывал в книжку.

Иван Егорович обстоятельно отвечал:

— В колхозе пятнадцать станových неводов. Бывает, во время хорошего лова по сорок центнеров рыбы подрезают с котла. Сейчас-то меньше. Идет сердель, хамса — рыба мелкая...

— А с планом как думаете справиться? — нетерпеливо спросил приезжий.

— Да как вам сказать? В прошлом году дали двадцать три тысячи центнеров рыбы. Два с половиной плана. И нынче, думаем, будет не меньше. О плане у нас болеют, стараются люди. С любовью работают. Да и как не любить это дело!.. Стихия, простор! Как на море выйдешь... Хотя я в прошлом вояка и теперь на пенсии, а вот пленило. Казалось бы, сидеть мне дома, а не могу. И люди тянут, и дела. Все думается: жизнь идет, все движется, а как же я-то в стороне? Пошел в горком: направьте, мол, куда-нибудь. Бесплатно, на общественных началах...

Инспектор плохо слушал Косухина. В раздумье стоял он у ворот, что-то соображая, прикидывая. Глаза его были холодны, равнодушны. Он озабоченно стянул с рукава налетевшую мошку, взглянул туда, где узкое гирло соединяло лиман с Черным морем.

— Так, значит, сколько у вас на Бугазе стоит неводов?

Иван Егорович воскликнул, жмурясь от солнца:

— Четыре! А нужно шесть. Их ставить нельзя. То течения большая была, с Днестра сильно гнало нынче сладкую воду. Теперь — «восток». Вон как растревожило! — он кивнул на лиман, на котором взбухали и таяли белые гребни. — А в море еще

сильней... Рыбаки-то так и сидят, как бакланы, у самой воды. Обедать сгоняют и снова к воде. Азарт забирает. Вдруг рыба пойдет?..

Он замолчал, подставляя лучам солнца лицо. Медно-красное, доброе, в складках, это было лицо человека, научившегося быть благодарным жизни за все хорошее, что она дает. Глаза его, голубые, по-детски ясные, казалось, ласкали людей, с которыми он вел разговор.

— Михалыч, ну что там? — окликнул он плечистого рыбака с таким же обветренным лицом, одетого в бумажную телогрейку и высокие, отстегнутые от пояса сапоги. Раструбы их, спустившиеся до колен, мешали рыбаку идти, он ставил ноги размеренно, твердо.

Михалыч взглянул на приезжего гостя. Он как бы оценивал его и, повернувшись к Косухину, сказал лаконично:

— Волна бьет. Вернулись. Григория чуть не зашибло бревном.

— Да что ты! — воскликнул Косухин. — Сейчас нельзя выходить — и невод сорвет, и людей покалечит...

Приезжий и это будто не слышал. Он снова спросил о плане.

— И с планом, сказал вам, справимся, — невозмутимо отвечал Косухин. — А вы бы нам помогли, похлопотали бы о моторах к лодкам. На веслах работают рыбаки. Снуют взад-вперед. Иной раз по пять километров гребут, туда и обратно. Тяжелый труд по жаре, и рыба портится, тухнет. Простили мы сколько раз — и ведь не бесплатно, за деньги!..

Приезжий промолчал. Он пылливо взглянул на Косухина — тот был непроницаемо добродушен, сидел, закинув ногу на ногу, прикрыв колено большими, загрубевшими от работы руками.

Инспектор осторожно сказал:

— Хотел бы вина закупить у вас... Для треста. У вас, говорят, неплохой винодел. Так — литров сто, по полтиннику. Можно?

Иван Егорович понимающе кивнул, усмехнулся и сказал:

— Ну это вопрос особый, хозяйственный! Вот скоро председатель колхоза Каретный приедет, об этом — вы с ним...

...Мне нравились рыбаки — эти сильные, немногословные люди, их правдивость и простота, деловитость, размеренность, их особый, скупой, но емкий язык и рожденная многолетним общением с морем сдержанность.

Без моря они не мыслили своей жизни. Им дорог был их неустанный труд, его тревоги и опасности, и красота. Они любили и спокойную гладь, и мелкую водяную пыль, летящую над морем во время штормов, и ночи, когда вода, горящая голубоватым холодным огнем, открывает рыбакам сокровенные тайны: скользят в глубине огромные стаи рыб — скумбрия, сельдь, ставрида, хамса. Как голубое облако, проходят косяки. Крупная рыба — белуга, севрюга, осетр — идет в одиночку, с фосфоресцирующей каймой вдоль торчащих костистых наростов.

Обо всем этом рыбаки говорили как бы невзначай, скупыми словами. Но за сдержанным выражением чувств я видела, что живут они в состоянии постоянной приподнятости, вечного ожидания — что даст им море — капризная и щедрая стихия.

С председателем колхоза Каретным я ездила на Будаки, где на длинной песчаной косе стоят плоскокрышие летние домики. С одной стороны шумело море, с другой — волновался беспокойный лиман.

Председатель уходил вперед по косе, останавливаясь у вытасненных на берег лодок. Его тотчас окружали рыбаки. Они беседовали, повернувшись к морю, смотрели из-под ладоней в его темную ширь, совещались, размахивая руками. Председатель шел дальше, высокий, гибкий, он рельефно выделялся на песчаной желтой косе.

Синело густое бездонное небо. Море было суровым и тоже синим. Непрерывно, настойчиво бился прибой. Сквозь его немолчный шум иногда прорывался крик чайки-мартына.

— Когда рыба пойдет, их здесь носят — целые стаи, — показал на летящую птицу бригадир Тимофей Кузьмич Лука.

Огромный, могучий, он — один из лучших бригадиров «Зари». Достаточно было взглянуть в его голубые глаза, чтобы понять всю добрую сущность этого человека. От Луки так и веяло мужеством, природной естественной силой и честностью. Родился он, как говорят рыбаки, на воде. С двенадцати лет тянул лямку. Казалось, он весь пропитан соленым ветром и солнцем. И сам стал неотъемлемой частью этой бурной стихии, одухотворенным ее человеческим выражением.

— Бухгалтером звали работать, да вот не могу. Как жить без моря? — недоуменно развел он руками.

И в выражении голоса, глаз, в движении рук сквозило непонимание, как это люди живут в городах, где нет этой первозданной, покоряющей свежести, бескрайних просторов и вечного, как сама стихия, прибоя. Какая, казалось бы, жизнь в этом летнем временном домике, где темно, прохладно и сыро? Небольшое оконце едва пропускает полуденный свет, который неистовствует снаружи. Тимофей Кузьмич оставляет открытой дверь, и пучки лучей ложатся на стены, где висят гирлянды сетей и мотки бечевы, горят в зеленоватых стеклянных шарах. Лучи бегут по заляпанному варом полу, упираются в еще не разложенные железные койки. Десять коек — десять членов бригады Луки, «малышей», как их шутя называют в колхозе, несмотря на их годы и комплекцию.

Накрепко спаяны дружбой члены рыбацкой бригады. Крепче, чем иная семья. Здесь один без другого не сядут за стол, заслонят друг друга в минуту опасности. Делят поровну трудности и удачи.

Все они переедут сюда, лишь утихнет «восток», заныряют, запрыгают в море свиньи — дельфины, потянет особым запахом сырости, а над поверхностью воды закружатся спутники рыбы — чайки.

— Ночью выйдешь, почувствуешь сытость,— значит, рыба пришла,— сказал Тимофей Кузьмич.— Ты ее и не видишь, а по запаху знаешь, что вот здесь она, где-то рядом. И уже не дождешься рассвета. Как только забрезжит, сразу в море, подрезать ставники. За ночь-то ее столько разной набирается в невод. Ну а потом, как сдадим улов, варим уху,— самое время юшки!..

Осенью рыбаки перебираются к семьям, в поселки,— очень недолго отдыхают, чинят снасть, паруса. Ездят к морю, привозят потрепанные за лето могуны, фелюги. Все делают сами, не доверяя другим своей работы, как бы боясь, что чужое вмешательство нарушит их близость с морем.

Подходит зима, и рыбаки опять отправляются на лов, рубят ополынь — прорубь, ставят неводы. И опять с волнением ожидают, что пошлет им море: веселится, когда море щедрое, обильны уловы, и впадают в уныние, беспокойство, когда рыба не идет. Их тревожит, что море против прежнего стало беднее, рыба идет на убыль; вспоминают времена, когда в их неводы заходило такое количество рыбы, что они не успевали ее «подрезать».

Председатель колхоза выделялся среди рыбаков необычной для них быстротой движений, стремительностью. Круглое молодое лицо его, острый взгляд чуть прищуренных глаз, нервные, тонкие ноздри прямого носа, плотно сжатые губы говорили о силе воли, о неустанных заботах, которых требовало большое хозяйство «Зари».

Но особенно был выразителен у Каретного взгляд. Он как бы мгновенно проникал в человека и, не касаясь его, устремлялся дальше. Однако не было в этом высокомерия, превосходства, кичливости и зазнайства,—скорее, природное умение схватить главное на лету. Он был прозорлив, вездесущ и внимателен. Многие побаивались председателя, однако уважали и слушались. Со всеми он держался как рядовой, но в то же время был старшим — его признавали не формально, а душой.

Каретный приехал с Кировоградской. Прочитал в газете объявление о наборе в рыбтехникум, велел собираться своей юной жене и перебрался в Белгород-Днестровский. Упорно учился, был комсоргом, работал истопником. По окончании техникума его назначили директором кефального хозяйства, а два года назад избрали председателем «Зари» — большого, богатого, разбросанного на территории пяти сельсоветов хозяйства.

Фелюги, могуны и каюки, неводы — пятнадцать ставных, два тяловых, разнообразная рыбацкая снасть — все содержалось в образцовом порядке.

Есть в «Заре» и земля — восемьсот гектаров, сто из них под виноградом. О подвалах «Зари» идет добрая слава, недаром инспектору поручили закупить здесь вина!..

* * *

Председатель вернулся с Чаир за полдень. Помятая, пропыленная «победа» вле-

тела во двор и замерла в тени у навеса. Каретный стремительно вышел из-за руля, направился к нам, поздоровался, взглянул на приезжего.

Тот галантно приподнял шляпу, задал два-три вопроса о плане, о ставниках. Каретный ждал. Он как бы чувствовал: не это главное. Тогда инспектор спросил о вине.

— Продать, говорите? — засмеялся Каретный.— Что ж, продам. Только вы мне взамен — моторы. А может, и трактор. Уж очень нам не хватает машины.

— Да что я могу! — воскликнул инспектор.— Я временный, пенсионер. Устроился на два месяца — подрабывать на отпуск...

— Ну, коли так, то, конечно, для вас это сложно,— в ответе Каретного слышалась ирония, но тут же он равнодушно добавил: — Вино-то нам так и так продавать...

— Нельзя ли попробовать? — попросил инспектор.

— Где Пава, в подвале?

Косухин кивнул.

Мы спустились по узенькой, стертой лестнице в сводчатый, выложенный камнем подвал. Свет падал сквозь узкие щели отдушин. Они совсем заросли зеленой травой. Затянутая паутиной лампочка едва освещала огромные бочки, рядами лежащие на стеллажах.

— Ты где здесь, Пава? — позвал председатель.

От бочек отделился человек. Я не сразу рассмотрел, молод он или стар. Как только глаза привыкли к темноте, я разглядела Паву. На нем свободно болтался бумажный костюм, кепка была сдвинута набок. Меня поразило его лицо — тонкое, умное, вдохновенное. Оно освещалось нежностью, когда винодел, приподняв на ладони стакан, любовался искристой, рубиново-красной влагой. Это был потомственный винодел Павел Егорович Чебаненко, или, как его все звали, Пава. Его прадед, дед и отец передавали из поколения в поколение заветную тайну. Он хранил эту тайну — опыт многих поколений.

— Главное, чтоб во всем была чистота. Ягода сереккии, греческого, чернокобасмы, это, конечно, хорошо, это важно и нужно. Но все же важнее чистота. Чтобы бочка была из хорошего дерева. Бук, например, не годится, он порист и слаб. Нужен дуб. Он плесени, цветения не дает и помогает вину устояться. Но перед тем как залить виноградный сок, нужно бочку чисто-начисто выскоблить щеткой и отмыть, просушить досуха. Залить виноградным соком и все время подливать, чтоб в бочке не было воздуха. Виноградный сок первой отжимки — это вкус вина. От второй и третьей отжимки — из кожурок, косточек — получается таннин. Он дает вину терпкость, цвет, прозрачность, букет. От таннина, от концентрации его и зависит качество вин. Винодел должен точно знать, сколько добавить таннина ну хотя бы в пятнадцатитонную бочку.

Рассказывая, Чебаненко наливал понемногу из бочек вина. Красные, розовые, белые вина... Он по запаху отличал их сорта, смотрел на свет, наслаждаясь их чистотой. Для него виноделие было таким же тонким,

волнующим душу искусством, как для поэта гармония слова и мысли в стихе.

Инспектор из треста был полон блаженства. Он пробовал и похваливал каждый сорт, поспешно закусывая неизвестно откуда появившимися пышным ситным и кровавой колбасой.

Председатель стоял в стороне, разговаривая с бухгалтером о покупке машин, о делах, о характеристиках на рыбаков. Вино он не пил, ему предстояло ехать туда, где рыбаки уже давно, как бакланы, сидели на берегу, ожидая, когда кончится, наконец, «восток», появятся чайки, дельфины и потянет особым запахом сырости, — когда придет рыба.

* * *

Восточный ветер стал утихать. Рыбаки почти все переехали на берег. Они были заняты установкой ставных неводов. Председатель с рассвета до ночи метался между бригадами. Он помогал рыбакам крепить просмоленные сети к кундерам — длинным и тонким столбам, держащимся на огромных камнях-якорях. Два раза в день бывал он на «подрезке». В направлении на его кабинете висел замок. Жила я в Шабо неподалеку от дома Каретного. Услышав рокот его машины, вышла на улицу, чтобы проститься.

— Так, значит, в Москву? А как же юшка? Нет, нужно попробовать! Поедемте к рыбакам пораньше завтра, к подрезке. Конечно, вам хочется в море, но сейчас нельзя ходить. Опасно. Большая волна. Поедем попозже — к юшке!..

Мы условились выехать ровно в семь. Без пятнадцати вышла я из дома. Солнце только поднималось, освещая косыми лучами село. Стоял петушинный крик. Отовсюду неслись разливистые голоса. Лениво лаiali собаки. Женщины, возвращаясь с озера, переговаривались, покрикивали на собак. И вдруг, перекрывая все звуки, раздавался пронзительный крик гусака.

Во дворе председателя было тихо. Я слышала, как на рассвете прошумела его машина. Он вернулся с Будаков, где вчера устанавливали последние неводы. «Наверное, еще спит. Подожду, поеду позже», — подумала я.

Но тут же послышался звук заводимого мотора. Пропыленная «победа» зачихала, закряхтела и устало выползла из ворот.

Председатель сидел за рулем, как всегда сосредоточенный, энергичный. Лишь его глаза были воспалены от бессонницы и выдавали, что человек утомлен. Вел машину Каретный красиво, уверенно, лихо. На дороге еще было тихо, спокойно. Только время от времени нас обгоняли рыбаки на мотоциклах. Каретный иногда останавливал их, расспрашивал о каких-то не известных мне делах. Затем мы ехали дальше. Каретный рассказывал:

— Однажды в шторм угнало фелюгу. Десять суток боролись со стихией семь рыбаков. Волнами вырвало у них весла, смыло снасть. Занесло их на остров Змеиный.

Почти без пищи, без пресной воды. Когда их сняли, люди были истощены, обессилены битвой со штормом. Но — ни слова жалобы. Редкое мужество...

На приемном пункте рыбозавода было чисто, пустынно. Небольшие, выкрашенные известью дома — коптильни, сушилки, засолочные — пока еще не работали. Только возле засолочной и холодильника виднелись рабочие с бочками на носилках.

— С механизацией у нас плохо! Все руками делаем, как при дедах, как двести лет назад, — сказал подошедший к нам старший мастер рыбпункта Писмиченко. — Ну что у нас тут за жизни! Море, да рыба, да труд, — вздыхал он, поглядывая вокруг.

Но и по его глазам, и по чистоте, порядку в небольшом хозяйстве рыбпункта нетрудно было понять, что его совсем не угнетает здешняя жизнь.

На асфальтовой дорожке штабелями сложены ящики для копченой и вяленой рыбы. Бочки высятся желтыми горками. Узкие рельсы ведут на причал.

Ветер, казавшийся слабеньким в Шабо, дул здесь с тугим напором. Гнал косматые буруны, срывая их гребни.

Председатель, стирая с лица соленую пыль, внимательно вглядывался туда, где через гирло перекинулся мост.

— Эх, кабы моторы! — Каретный вздохнул.

И по этому вздоху, по каким-то словам, случайно оброненным Косухиным, рыбаками, председателем рыболовецкого колхоза, я поняла, что в одесском рыбтресте не особенно заботятся о труде рыбаков, подменяя эту заботу мелочной и ненужной опекой. В чьих, к примеру, интересах приезжают инспектора, для которых закупка вина важнее, чем проблема механизации лова?..

Здесь никто не пожаловался на инспектора из Одессы, не сказал о нем недоброго слова. Но снисходительно строгая вежливость, с которой встретили его, была выразительней слов...

Внезапно Каретный насторожился.

— Вот, идут! — показал он рукой туда, где через узкий пролив, называемый гирлом, был перекинут высокий мост.

Восьмивесельную рыбацью могоуну я заметила между пролетами моста лишь тогда, когда над ней вырос парус.

Могоуна шла медленно, тяжело боролась с сильным течением из лимана. Ее сносило, трепало в волнах, она то совсем исчезала из виду, то поднималась на гребне волны, и тогда отчетливо были видны гребцы. Они равномерно, ритмично гребли, откидываясь при каждом движении весел.

— Вторая... Смотрите туда, в пролет.

И снова я всматривалась в пролеты моста. Видела, как поднимается наклонная мачта и надувается серое полотно.

А затем показалась и третья. Причал ожил. Неизвестно откуда появились люди, подкатили с невысокими продолговатыми ящиками вагонетки, и чем ближе подходили к причалу могоуны, тем заметнее было волнение ожидавших людей.

— Кто первый? Бурковский Лева?

— Он и есть! А за ним Бондаренко. Вон он, видишь, стоит на корме!..

Уже отчетливо был виден худощавый обветренный человек, энергично работавший веслом, отталкиваясь им от дна, подруливая к причалу.

С большой осторожностью подходила могуна. Облепленная чешуей, она блестела, искрилась на солнце. Медленно, покорно сползали паруса. На дне могуны, в сетях, лежала серебряная хамса, сердель, сергангла — остроносая, тонкая, с большими испуганными глазами и хищно раскрытой зубастой пастью. Распластавшись, темнели белобрюхие камбалы. Их было немного, несколько штук, сейчас ловилась мелкая рыба.

Рыбаки в высоких резиновых сапогах, скинув стеганные телогрейки, сачками пересыпали рыбу в корзины и ящики. Рабочие увозили улов, и бригадир шел с ними в приемочный пункт.

Одна за другой разгружались могуны и уходили к себе домой — туда, где стояли на берегу летние жилища. Там уже наливали водой котлы, разжигали обмазанные глиной печурки. Приближалось священное время юшки.

Нет рыбака, который бы не умел варить ее, ароматную юшку.

Это целый ритуал. Было что-то жреческое в том, как загорелый, приземистый, внешне строгий Макарий Иванович Бондаренко вынимал из плетеной сумки лупоглазого зобастого бычка, жавшегося хрупким в его сильных руках с накрепко въевшейся в поры смолой. Острым ножом Бондаренко вырезал у бычка «кишечки», «кишман», как он ласково говорил, и ловко и точно бросал его в корзину, где лежали такие же рыбки с пятнистой, как у змеи, чешуей.

Рыбе покрупнее он отсекал плавники и головы, чистил, потрошил, делал по всей длине поперечные надсечки, чтобы юшка жирнее была. На ящик ложились мясистые сельди, бугристая камбала, яркий, цветистый морской петух...

Сельдь, карп, карась, красноперка, жерех, сом — тридцать видов промысловых рыб, каждая в свое время, босяками идет в эти теплые воды. В мелком, богатом планктонном лимане, с мягким илистым дном, хорошо развиваются рыбки-мальки.

— Сладкая рыба — сердель, — говорят рыбаки.

— Нет лучше камбалы!

— А пеструха-осетр? А бычок? А чехонь?

И они, как самые строгие гастрономы, называют достоинства каждой породы.

...А пока Макарий Иванович чистил, в меру «банил» рыбу, — опускал ее в корзину и тряс, промывая в воде, начали закипать котлы. Рыбаки умывались, заходя в своих высоких резиновых сапогах прямо в воду. Они тщательно мыли лица, смеялись, переговаривались. Они уже отдыхали.

Вымытую рыбу уложили в котел, всыпали перец, цыбулю. Вода закружилась, заискрилась жиром и вскоре вспучилась, забурлила, покрывшись коричневой пеной, из которой торчали зеленые перья лука.

Наконец Бондаренко объявил: «Юшка готова!» Из домика вышли рыбаки, уселись за низкий стол, развернули свои узелки с пушистым пшеничным хлебом, достали ложки и замерли в ожидании.

Кипящий котел опрокинули в таз. Слили янтарную крепкую жидкость. Кравченко, семидесятилетний рыбак, разводил саламур — крутой раствор соли, а Макарий Иванович накладывал рыбу в миски, раздавая по кругу. Председателю, мне, брату своему — бригадиру Бондаренко, белозубому Грише, молодому рыбаку с седой головой.

Ах, какая это была божественная еда! Нежная, ароматная, золотистая, не отяжеляющая, дразнящая, юшка, казалось, не могла утолить желания есть и есть ее.

Макарий Иванович подкладывал мне: «Поешьте, поешьте как следует. До самого вечера будете сыты».

И оттого, что сидели мы под открытым небом, и рядом плескалась, шумела вода, и пахло соленой свежестью, варом, и от радушия добрых, только на вид суровых людей — все мне казалось неповторимо прекрасным.

После еды рыбаки перемыли посуду, тщательно выскребли, вытерли стол. Кто-то сказал шутя:

— Пища к земле тянет!

Но никто не прилег, занялись своими делами: перебирали сети, смолили гундеры, снасть. У рыбаков работы, как у хозяек: не переделаешь за день.

Я пошла вдоль берега на причал и стала ждать там Каретного. По доскам боком бежал заблудившийся тонконогий коричневый краб. Он метался, перебежал с места на место, наконец нашел свою шель, и я слышала, как он шлепнулся в воду...

Каретный довез меня до остановки. Я села в автобус, идущий в Одессу, а через пять часов уже ехала по Москве, по длинному шумному Ленинскому проспекту. Стояли большие дома, по тротуарам лавиной шли торопливые люди. У нарядной «Синтетики» толпился народ.

И полно, — была ли я сегодня у рыбаков? Но я все еще ощущала волшебный вкус юшки, и временами вдруг неизвестно откуда доносился тонкий запах моря.

Прошло два дня. Все виденное, казалось бы, отодвинулось, отнеслось делами. Но оно воскресало в тиши вечеров, когда, открывая блокнот, я вчитывалась в заметки, в слова, расплывшиеся от плеснувшей морской воды, счищала с бумаги рыбки чешуйки. И снова до осязательности ярко вставали передо мной и режиссер Литовчин, и Каретный, и Паве-винодел, и суровые труженики моря — рыбаки колхоза «Заря»... Все это сохранилось и жило в душе непреходящим, бесценным богатством.

ВЫПРЯМЛЯЙСЯ, БАРАБАНЩИК!

Традиции А. Гайдара и некоторые проблемы
современной детской литературы

*„Выпрямляйся, барабанщик!..
Встань и не гнись! Пришла пора!“*

А. Гайдар. Судьба барабанщика.

I

Строители были на трассе, когда в конторе участка зазвонил телефон. Телефонogramму приняли ребяташки — Глеб и Варя. «Ушла к вам без разрешения Зиначка Алушкина тчк Если не возвратите зпт будут крупные неприятности».

От поселка до участка два дня пути по тайге. Зина на стройке не появлялась. Значит... тревога! Человек попал в беду, человек заблудился в тайге!.. Что делать? Звать на помощь строителей? Но тринадцатилетнему Глебу так хотелось самому совершить какой-нибудь подвиг! И Варя — тоже.

Как и Петьке с Васькой из повести Гайдара «Дальние страны», «жилося Глебу, конечно, очень скучно». И подобно гайдаровским мальчишкам с маленького безыменного разезда Глеб тоже мечтал о «дальних странах». Но такова закономерность нашей эпохи — «дальние страны» становятся «странами ближними». Оказалось, что и в лесном поселке, в глухой тайге жизнь может быть интересной и захватывающей.

Вот хотя бы теперь... Не лучше ли самим разыскать Зину, спасти ее от верной гибели? Глеб и Варя сожгли телефонограмму и отправились в тайгу.

Опрометчиво? Да. Но кто осудит ребят за такую опрометчивость? Ведь они шли спасать человека.

Однако чем дальше вчитываешься в повесть Н. Печерского «Красный вагон», тем меньше веришь ее героям.

Зину ребята не нашли. Сами сбились с дороги, испугались, едва выбрались к будке лесного объездчика. На стройке они никому не рассказали ни про телеграмму, ни про свой неудавшийся поход.

Прошло несколько дней, в течение которых Глеб изредка вспоминал про «Зину-Зинулю, но каждый раз... отмахивался от этой мысли, утешая себя, что все будет хо-

рошо и узелок как-то развяжется сам по себе. Но ведь он только себя утешал. В глубине души он был почти уверен в гибели Зины». «...В чудеса Глеб вообще не верил. Если они где-нибудь и были, то только не здесь, не в тайге... Глеб до сих пор помнил тот день, когда погиб отец».

Все помнил, все понимал, все знал — автор этого не скрывает. Знал и молчал. А когда Варя поделилась с матерью, испугался и разошелся.

Не правда ли, странные ребята?

В тайге погибает человек. Об этом знают только двое. Ну и что? Можно спокойно играть, спать, скучать от безделья.

Нет, это не легкомыслие. Это нельзя оправдать никаким «малолетством». Гайдаровские Чук и Гек были намного моложе Вари и Глеба. Они тоже ничего не сказали матери о полученной телеграмме. Но Чук и Гек выбросили телеграмму ненароком, в пылу ссоры. Они не знали, что написано в телеграмме. Варя и Глеб сами записывали текст и уничтожили телефонограмму сознательно. Поведение Глеба и Вари вызывает тревожные раздумья. Либо автор в угоду ложно понятой занимательности и «реалистичности» оболгал своих героев, приписал им не свойственные нормальным советским ребятам качества, либо мы имеем дело с таким явлением действительности, по поводу которого надо бить в набат, давать сигнал тревоги.

Но тогда удивляет спокойствие и невозмутимость автора в изображении и оценке событий. Поразительна нетребовательность Н. Печерского к героям, в поведении которых он не усматривает ничего, кроме милой детской шалости. И взрослые его персонажи проявляют поистине умилительную доброту. Ребят даже не пожурил никто. Собрались, пошли искать Зину целым участком, и чудотак свершилось: нашли. Радостную и невредимую. Все, мол, хорошо, что хорошо кончается.

Самое удивительное, Н. Печерский не то чтобы не возмущается своими героями — это еще куда ни шло! — он откровенно любит ими. И читателя зовет полюбоваться. Они «будут... мужественными, смелыми, честными. Они готовы идти вперед хоть сейчас. Им ничего не страшно».

Все поступки, вся «логика характера» главного героя убеждают в обратном. Нашел Глеб в тайге дневник героически погибшего геолога Демина, полистал, ничего интересного для себя не отыскал и решил: в пещку! Выслушал рассказ Вари о деминском подвиге и... обиделся:

— Ты зачем выдумываешь? Лучшего не могла выдумать, да?

Но вопреки логике Н. Печерский пытается убеждать: Глеб может стать настоящим человеком, он будет хорошим, он уже хороший. Делается это просто.

Герой должен совершить подвиг, и все «грехи» ему спишутся. О том, что самая способность к подвигу уже предполагает в человеке наличие определенных моральных качеств, при этом забывается. Главное, чтобы был подвиг. И пограндиознее.

Случилось так, что брусья и бревна, предназначенные для новой станции, пошли молью по реке, когда на стройке никого, кроме Глеба, Вари да ветхого старика Федосея, не было. И вот сначала старик бросился вылавливать несущийся по стремнину лес. А потом и «Глеб не ударил перед Варей лицом в грязь», кинулся в воду.

Удивительная картина! Мальчик и старик на бурной сибирской реке — и десятки, если не сотни, кубометров тяжелого строевого леса... «— Взяли! Еще раз взяли! — Но вот уже и братъ нечего... только еще кружит на быстрине... легкая плоская шепка».

Есть в этом эпизоде (как, впрочем, и в некоторых других, например, когда Глеб налаживает строителям веревочную переправу над пропастью) нечто он так называемого «детского авангардизма» первых советских книг для детей. Гайдар с гневом писал о «фальшивых и надуманных победах «Красных дьяволят». Герои самого Гайдара не творили никаких «чудес», ничего такого, что не было бы свойственно ребятам в их возрасте: все было обусловлено опытом, мерой понимания, силами ребят. И тем не менее их деяния были часто по-настоящему героическими. И, главное, вытекали из глубинных свойств их характеров, чего, к сожалению, не скажешь о Глебе.

Любопытно, что именно «Красный вагон» Н. Печерского очередной ежегодник Дома детской книги оценивает как «лучшую детскую повесть 1960 литературного года». Непонятно, какими критериями руководствовался автор этой оценки Н. Богданов. Но если повесть и не «самая лучшая», то во всяком случае весьма показательная.

Ведь то, что характерно для книги Н. Печерского, в немалой степени присуще многим вышедшим за последние 2—3 года и получившим популярность детским книжкам. Центральные персонажи повестей «Мишка, Серега и я» Н. Зелеранского и

Б. Ларина, «Солнце над школой» В. Мелентьева, «Генка Пыжов первый житель Братска» Н. Печерского, «Мальчишка» М. Колосова, «Люська» Т. Макарской и некоторых других в той или иной мере приближаются по своим духовным качествам к Глебу Бабкину.

По малодушию, по какой-то бездумности они часто попадают под дурное влияние то хулиганов, то жуликов, то просто стилаг. Безвольно плывут по течению. Путаются в трех соснах. Ребята эти, как правило, ленивы умом, непредприимчивы, крайне инфантильны, ограничены.

Отсутствие в них романтического беспокойства, жадного стремления к новому, бедность фантазии некоторые авторы возводят даже как бы в пример.

Я уже предвижу возражения:

— Вы что же, хотите снова навязать нам схему «идеального» героя — такого сахаренного паиньку в белоснежной рубашечке и тщательно отутюженном пионерском галстуке? А писатель отражает реальную жизнь. Он не виноват, если «нынче такой герой пошел». Он ведь и сам беспокоится, почему ребята такие. Но что делать...

Не стану спорить. Допускаю даже, что эти Гарьки, Глебы, Олеги, Мишки, Генки и проч. не единичны. Однако литература призвана не только отображать жизнь, но и учить жизни. Маленькие читатели ждут иного героя. «Ребята любят, чтобы герой был горячий, очень честный, активный, хороший товарищ, смелый, помогал товарищам, не падал духом, был умный, ну — чтобы был настоящим ленинцем». Это из письма одного сибирского школьника. Душа подростка естественно стремится к идеальному. «Сама тянешься, стараешься хоть чем-нибудь быть похожей на героя произведения», — пишет московская школьница. Подобные письма идут в издательство, к писателям буквально тысячами. Да и от критиков нередко приходится слышать:

— Гайдар создал своего Тимура в 1940 году. Сейчас мальчишки сорокового года стоят у синхрофазотрона в Дубне, прокладывают космические трассы, сами пишут детские книги. Им уже за тридцать. А где же новый Тимур? Создала ли сегодняшняя детская литература столь же привлекательный и действенный положительный образ подростка шестидесятых годов, завтрашнего строителя коммунизма?

В самом характере подобных суждений уже задан пессимистический вывод:

— Нет, такой образ детская литература пока еще не создала.

И это ведь факт: ребята, когда их просят назвать наиболее полюбившихся героев, одним из первых, наряду с Павкой Корчагиным и молодогвардейцами, называют Тимура.

Я отнюдь не призываю к изображению безупречных во всем, этаких чистеньких и смиренных, этаких послушных и «ортодоксальных» пай-мальчиков и пай-девочек. Таких не любил и Гайдар. И его Тимур, не

говоря уже о героях других книг, в этом смысле далеко не безупречен. Но в любом строю есть правый и левый фланг, есть запевалы и барабанщики, а есть просто «шагающие в ногу» и есть портящие строй. Я за то, — и в этом одна из живейших гайдаровских традиций, — чтобы главным героем детской литературы был правофланговый, запевала, барабанщик.

Я не склонен разделять жалобы на недостатки настоящих, сильных ребячьих характеров в жизни. Но ведь есть и реальная опасность, что их станет меньше, коль скоро из литературы, воспитывающей целое поколение, исчезает правофланговый, по которому можно было бы равнять строй.

Разумеется, почти невозможно представить формирование души ребенка или подростка, которое проходило бы гладко, без срывов. Невозможно представить деятельного героя, который был бы накрепко застрахован от ошибок. Однако ошибки бывают разные, от разных причин, и следствия их далеко не одинаковы.

Авторы книг, подобных «Красному вагону», явно недооценивают этого обстоятельства. Они словно бы исходят из мысли, что поведение героя есть нечто внешнее по отношению к его человеческой сущности. Предполагается, например, что Глеб Бабкин в потенцице очень хороший. О том, что реакция Глеба на возможную гибель Зины-Зинули, отношение к подвигу Демина и к его дневнику характеризуют эту «потенцию» отнюдь не с лучшей стороны, как бы забывается.

Заблуждение автора не может, однако, обмануть читателя. Он никогда не поверит, что такой человек — пусть даже ребенок, — каким является в книге Глеб Бабкин, способен на нечто действительно хорошее, а если и способен в каких-то случаях, то это — свойство его натуры.

Вообще авторы многих книг с некоторыми пор почему-то стали считать участие юного героя в труде чуть ли не панацеей от всех зол, забывая, что трудовое воспита-

ние не может быть в наших условиях изолировано от воспитания нравственного, что в нормальном воспитательном процессе развитие иных нравственных начал предшествует формированию отношения к труду. А ведь это самоочевидная истина: ребенок сравнительно долго живет в семье и в обществе, прежде чем берет в руки простейшее орудие. Для Гайдара, кстати говоря, способность героя-ребенка к общепольному деянию, в том числе и к труду, всегда была прежде всего выражением человеческих качеств его души, определяемых любовью к людям, к Родине, чувством большой ответственности за всех и за все.

Гайдаровский барабанщик четвертого пионерского отряда Сергей Щербачев — ровесник Глеба Бабкина. И промахи, совершенные им, серьезны, но какая пропасть разделяет этих двух ребят!

Сергей продает старьевщику Валентину горжетку, взламывает ящик письменного стола, пытается найти деньги, чтобы рассчитаться с долгами. Это, конечно, плохо. Но ведь проступки Сергея — лишь реакция (правда, ребячливая и непохвальная) на недостойное поведение мачехи. Она виновата перед Сергеем вдвойне: толкнула отца на преступление, а потом оставила ребенка одного в московской квартире, уехав на курорт.

Сергей связался с уголовником и шпионом. И это плохо. Но ведь он сам не сразу распознал этих людей. Фактически оказавшийся в одиночестве (даже вожатый Павел Барышев не выказал настоящей заинтересованности в судьбе своего пионера), он тянулся к людям именно потому, что школа, отец воспитали его не индивидуалистом. И если этой тяги не поняли старшие товарищи Сергея, то его отлично воспользовались враги.

«Падение» барабанщика произошло, таким образом, независимо от каких-либо дурных наклонностей его личности. Проступки героя вызваны особенностями возраста и обстоятельствами. Гайдар избра-

П. И. Батов. В походах и боях. Воениздат. М. 1962. 397 стр. Цена 82 коп.



Эта книга — документальный рассказ о боевом пути знаменитой 65-й армии. Начинаясь он у берегов Волги и закончился на западном берегу Одера. Автор книги, дважды Герой Советского Союза П. И. Батов, в разгар Великой Отечественной войны, в октябре 1942 года, был переведен на Донской фронт.

Великая битва на Волге, продолжавшаяся шесть месяцев, завершилась тем, что вражеские дивизии попали в «котел» и прекратили

свое существование. Немалая заслуга в этом принадлежала армии, руководимой П. И. Батовым.

Эпицентр войны переместился на Курскую дугу. Фашизм надеялся, что сила брони и огня обеспечит ему победу. Но не помогли «тигры», «пантеры» и «фердинанды». Советская Армия к этому времени обладала уже достаточно мощной и совершенной техникой, чтобы отразить огневой удар врага. И здесь немалую лепту в победу внесли сол-

даты и офицеры 65-й армии.

Преследуя отступающего врага и освобождая захваченные им земли, 65-я армия показала себя как армия неожиданного тактического маневра, стремительного форсирования крупных водных преград на широком фронте. Впервые в истории войн такие крупные реки, как Десна и Днепр, были форсированы с ходу, в течение нескольких дней. Венцом успехов 65-й армии было форсирование Одера — операция,

жал сложную судьбу юного человека, в котором с детства воспитаны прекрасные стержневые качества подлинно советского характера — любовь к Родине, к Красной Армии, доверие к людям, самокритичность, исключительная совестливость.

Именно эти добрые начала помогли мальчику в сложнейших условиях, один на один с собственной совестью, верно определить линию поведения, пойти на самоотверженный поступок, равный героическому подвигу. Гайдару не надо было изыскивать мотивировки, чтобы придать «выпрямлению» героя видимую правдоподобность и убедительность. Эти мотивировки заключались уже в самой сущности созданного им образа.

Герой не «исправляется» — он взрослеет и мужает. Его «падение» вызвано больше факторами внешними, чем внутренними, и, напротив, «выпрямление» — более всего результат действия факторов внутренних.

Помните, когда барабанщик впервые по-настоящему сознает всю страшную меру своей ответственности? Это происходит в тот момент, когда он оказывается лицом к лицу с матерыми врагами и только он один знает, что это враги и что они могут уйти неразоблаченными. И тогда все лучшее, что уже было в Сергее, все честное и настоящее в нем поднимается, и растет, и сливается со всем лучшим, имя чему — Советская страна и народ. И он уже не один, барабанщик, — он в ответе за Родину, и Родина стоит за плечами его. Хрупкая фигурка мальчугана становится поистине символической.

«Они сейчас уйдут! — понял я. — Сейчас они выйдут и меня увидят».

Я соскользнул на траву, обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лег среди развалин каменной беседки.

«Теперь хорошо! Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо... Уходите далеко прочь! Я один! Я сам!»

«Как уйдут? — строго спросил меня кто-то изнутри. — А разве можно, чтобы бан-

диты и шпионы на твоих глазах уходили, куда им угодно?»

Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завернут браунинг.

«Выпрямляйся, барабанщик! — повторил мне тот же голос. — Выпрямляйся, пока не поздно»...

Я... потянулся к браунингу.

И только что я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто кто-то задел большую певучую струну, и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.

Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.

«Выпрямляйся, барабанщик! — уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. — Встань и не гнись! Пришла пора!»

И я сжал браунинг. Встал и выпрямился».

На титульном листе книги, подаренной И. Халтурину, А. Гайдар написал: «Люби барабанщика, который сам падал и сам поднимался» (разрядка моя. — *И. М.*).

Героев Гайдара нельзя не любить. На них можно равняться. У них мы учимся многому — самому главному.

А вот героев некоторых сегодняшних детских книг полюбить, по правде говоря, трудно.

II

Традиции Гайдара...

Мы говорим о революционной романтике его книг, о теснейшей их связи с самыми насущными вопросами времени, о воспитании «краснозвездной крепкой гвардии», о правдивости и глубоком психологизме гайдаровских вещей, о «секретах» захватывающей ребенка и взрослого занимательности, о крутой, как в доподлинной жизни, закуске трагизма и юмора и об общем мажор-

которая поразила зарубежных специалистов. Таковы этапные рубежи в биографии 65-й армии, воспроизведенные ее командиром П. И. Батовым.

Разумеется, не вся история армии уместилась на страницах книги; к сожалению, не обо всех героях удалось рассказать по ходу действия, но вряд ли такая задача по плечу одному человеку. Мемуары П. И. Батова скорее длинная серия карандашных зарисовок, но в совокупности они делают изображенную картину произведением монументальным, эпически-грандиозным. И главное действующее лицо этого произведения —

народ, солдаты и офицеры, от рядового до командующего фронтом, — люди, которым автор и посвятил свою книгу.

Это не только суровая хроника важнейших событий, сквозь которые прошла армия на пути от Волги до Одера, не только рассказ о мужестве и мастерстве героев, чьи подвиги обеспечили победу в смертельной схватке с врагом. Это также вдумчивое, серьезное исследование, насыщенное размышлениями о причинах успехов и отдельных неудач Советской Армии, особенно в начале войны, о патриотизме советских людей, о качествах

командира, о трудном искусстве работы с людьми, — размышлениями, имеющими отношение не только к прошлому, но и к сегодняшнему дню.

В эпилоге воспоминаний автор пишет: «Если эти страницы помогут новому поколению окунуться в героико-прошлое, почувствовать накал событий и увидеть немеркнущие традиции, — то цель книги будет достигнута. Можно сказать, что надежды автора оправдались. Мемуары П. И. Батова воскрешают перед читателем события, которые стали уже достоянием истории, но которые никогда не покроятся пылью забвения».

ном, приподнятом звучании произведений Гайдара.

Но мы нередко забываем, что традиции не могут быть восприняты механически. В подобном восприятии всегда есть опасность эпитонства. Достижения Гайдара, как и всякого подлинного художника слова, определялись глубиной его понимания задач и целей детской литературы, глубиной постижения современной им действительности и познанными им законами лепки характера.

Приемам Гайдара надо учиться, как учатся мастерству. Но если при этом не исходить из главного — какого же героя требует современная жизнь? — то даже талантливо написанная книга останется неполноценной.

Такая участь постигла, например, молодого воронежского прозаика Ю. Третьякова. Его рассказы «В плену у краснокожих», «Как прогнали Витальку» и две маленькие повести — «Начало рыбачьего патруля» и «Витка Витамин», объединенные общностью героев и замысла, оригинальны и забавны. Отвечая исконной ребячьей потребности в необычном и героическом, Ю. Третьяков описывает «экзотические» детские игры. Описывает с юмором, непринужденно, но и не без дидактического умысла.

В центре большинства рассказов — образ Игорька, вожака поселковых ребятшек, выдумщика и «заводилы». То он славный Робин Гуд — предводитель «разбойников», действующих в Братцевском лесу, переименованном на тот случай в Шервудский. То Черный Орел — вождь воинственного племени гуронов.

Скоро, однако, навеянные чтением романов Вальтера Скотта и Купера, эти игры ребятам надоедают.

Чем же отныне заняты бывшие «гуроны» и «разбойники»? Стасек устроил на чердаке «кабинет» и читает толстые «ученые» книжки. Витка Витамин со своими неизменными подручными — братьями-близнецами — извлекает из ямы в саду кости «ископаемой коровы», намереваясь потратить научную общественность новым выдающимся открытием. Он же отправляется вскоре в «далекое и опасное» путешествие к ... источкам ручья, определяет опытным путем пользу, приносимую муравьями. Все вместе ребята берут под свою охрану рыбные богатства ближнего озера. Дел, интересных и заманчивых, как видим, бесконечное множество...

Иной педант, заглянув в книжку и отобрав ее у ребенка, скажет: какая чепуха! Чему такая книжка научит? Какие примеры она подает? Ведь Стасек прочитал в своем «страшно научном» фолианте только «введение», да и то мало чего понял. А «ископаемая корова» — всего лишь выброшенные на помойку кости от студня. Даже выполнять по-настоящему полезное дело — задерживать браконьеров — ребята толком не могут: игру им, видишь ли, подавай. Помог, к примеру, Буратино обнаружить браконьера, а друзья, безуспешно действовавшие по «индуктивному методу» Шерлока Холмса, недовольны:

«— Эх ты... — сказал Игорек. — Все у тебя как-то глупо получилось... не по правилам. Так-то и дурак сумеет».

Но книжка, конечно, и «учит» и воспитывает. Маленький читатель посмеется над наивными попытками героев в одночасье перешагнуть из игры во «взрослую» жизнь. Посмеется, а заодно поймет, что до настоящих больших открытий и путешествий надо еще dorasti и много потрудиться и узнать. И еще — читатель проникнется симпатией к этим героям — активным, любознательным, буквально скупаемым жадной полезного действия.

Даже «развенчание» книжной романтики, о чем обычно так рьяно пекутся воспитатели, идет у Ю. Третьякова исподволь, очень естественно, без нажима, — писатель как бы опасается убить в детях ненароком тягу к мечте, удивительную ребячью способность преображать мир в своем сознании. Он понимает: беда не в том, что в каком-то возрасте ребята играют в «разбойников», «индейцев», «сыщиков». Плохо, если игра не по возрасту затянется.

Самое же ценное, что привлекает в рассказах Ю. Третьякова, это умение не упрощать все до примитивной схемы, чем еще иногда грешат иные детские писатели и чего упорно требуют от детской литературы ревнители так называемой «возрастной специфики».

Витку Витамина прогоняют из юннатского кружка: озорник, непоседа. Но Витке просто скучно. То, чем занимается ребята под руководством вожатой Марины, ему давно известно. Марину больше устраивают тихие и смиренные, на вид послушные ребятки, вроде Пети Сорокина. Но читатель знает, что «рыбачий патруль» Игорька уже однажды задерживал Петю с незаконными орудиями лова. Петя даже здесь, в лагере, не упускает случая поябедничать. И Витка пытается избить его не из озорства — Сорока разоряет муравейник.

Перед читателем два характера: уже научившийся ловчить и выкручиваться «благовоспитанный» маленький негодий и «трудный» мальчишка — прямой и непосредственный во всех своих чисто ребячьих проявлениях, но умница, беспокойный искатель нового, готовый на бой за свою маленькую правду.

Я сказал: за маленькую правду. И это, к сожалению, не оговорка.

Витка Витамин вступает за сохранность муравейника, потому что муравьи — полезные насекомые. Он готов часами, за таившись, лежать возле муравьиной дорожки, подсчитывая, сколько разных вредных личинок пронесут за день на корм своему потомству эти неутомимые санитары леса. И все затем, чтобы убедить пионервожатую Марину и ребят в полезности муравьев.

Писать об этом надо. И именно так, как Ю. Третьяков, — талантливо, весело, остроумно. Но достаточно ли писать только об этом?

Мне думается, что мелкотемье, опасное не только для детских книг, и есть разговор

лишь о маленькой правде, оставляющей в стороне большую правду человеческих отношений, ту правду века, сопричастность которой и делает героя нашим подлинным современником.

Чтобы не поступиться большой правдой, вовсе не нужно заставлять ребенка решать судьбу крупного строительства или выводить в передовые отстающий колхоз. Мы видели, что можно с помощью тринадцатилетнего подростка построить таежную магистраль и немало к правде не приблизиться.

Пусть герои живут и действуют в своем, «детском», мире, в мире реальных ребячьих интересов, дел и мечтаний. Но пусть этот «детский» мир не превращается в замкнутый наглухо мирок, непроницаемой стеной отделенный от мира взрослых, от жизни страны.

Ведь на самом-то деле ребят интересуют не одни игры. Они по-своему осмысливают окружающую действительность, подчас становятся невольными участниками крупных событий, им приходится решать для себя вопросы, сложные и для взрослых.

А. Гайдар стал любимым писателем детворы, в частности потому, что муравьиные куци не заслоняли от его героев остальной мир. И у Гайдара ребята играют. Но в его книгах, кроме ребячьих игр, есть и гражданская война, и борьба с кулачеством, с жуликами и шпионами, и Красная Армия, и созидательный труд рабочих и колхозников, и жизнь семьи со всеми ее радостями и бедами, и большие чувства и мысли, любовь и ненависть.

Не говоря уже о повестях, даже самый короткий — в несколько страничек — рассказ писателя десятками нитей связан со всем тем большим и значительным, чем жила в те годы страна. Велик ли рассказ «Голубая чашка»? А между тем трудно назвать что-нибудь такое, что волновало советских людей в 1936 году и не было бы так или иначе отражено в рассказе.

Светлане шесть с половиной лет. Наверное, вдвое меньше, чем Витьке Витамину, Игорьку и другим героям Ю. Третьякова. Казалось бы, что, кроме вертушки на крыше да подаренного матерью яблока, должно ее занимать? Но Светлану по-своему интересует все в ее маленьком и великом путешествии в окрестностях дачи: и работа каменоломни, и маневры Красной Армии, и ссора Пашки Букамашкина с Санькой Карякиным. Кстати, не по пустяку ссора. Пионер Пашка хочет «драть» Саньку за то, что он — «фашист»: обидел еврейскую девочку БERTУ, отца которой, немецкого рабочего, преследовали гитлеровцы. Конечно, мы-то понимаем, и даже Светлана понимает, что он «вовсе и не такой уж фашист», и напакостил, скорее, по недомыслию. И сам оскорбленный до глубины души Санька кричит обидчику: «Я не фашист, а весь советский». Но ведь факт: отступил мальчишка от пролетарской солидарности, нарушил — пусть в малом — завет интернационализма, и пионер Пашка не может остаться к этому равнодушным.

А как внимательно слушает Светлана рассказ отца о гражданской войне и о том, как ее отец и мать полюбили друг друга! И опять-таки сложные вопросы не упрощаются. Произошла размолвка в семье, маленькая, почти непереносимая, но ребенок чутко реагирует и на это, и ему надо объяснить, что и как.

Две мысли в «Голубой чашке» — главные: мысль о том, что «жизнь... совсем хорошая», и о том, что не след омрачать эту добытую ценой многих тяжелых утрат жизнь хороших советских людей напрасными обидами, размолвками, подозрениями. «Будем крепко знать, кто наши враги и кто друзья, и не будем позволять злым серым мышам недоверия, обид, невнимания, минутного гнева вставать на дороге нашей любви и дружбы» — такой, примерно, вывод напрашивается из рассказа.

И ребенок воспринимает эти мысли автора не потому, что Гайдар как-то их упростил и «приспособил» к детскому пониманию. Он просто изображает все окружающее таким, каким видит его сама Светлана.

Мир интересов Светланы, о котором с такой любовью и поэзией поведал Гайдар, это — богатый мир. Именно связь с ним, слияние с ним (а у Гайдара всегда было так — рядом с шестилетним Альшой стоял двенадцатилетний Владик Дашевский и тридцатилетний инженер Ганин, рядом с Димкой и Жиганом — член реввоенсовета Сергеев и т. д.) делает маленького героя большим и настоящим, дает ему право называться барабанщиком.

Все более частое обращение детских писателей к вопросам важным и значительным, сближение детской литературы с героической и сложной повседневностью — знамение времени. Сейчас уже почти каждому ясно: нельзя под флагом борьбы за «возрастную специфику» ограничивать детскую литературу тематически, отгораживая ее китайской стеной от большой советской литературы.

В повести саратовской писательницы Е. Рязановой «Малая Рыбушка» рассказывается о судьбе восьмилетней Саши, дочери председателя колхоза. Жизнь современной деревни с ее не совсем еще благоустроенным бытом, с ее контрастами и трудовыми буднями колхозников; смерть матери; любовь Сашиного отца к молодой учительнице Ольге Петровне — таков сложный и не всегда беспечальный мир, в котором вырастает маленькая героиня.

Мягко, лирично колорит повествования Е. Рязановой. Но эта мягкость не мешает писательнице показать, в какой непримиримый разлад с укладом нашей жизни, с духом нашей морали приходит никчемное существование своекорыстных и ограниченных личишек, паразитирующих за спиной колхоза.

Хорошая, добрая повесть. И все-таки ей не хватает воздуха — стремительного освежающего ветра эпохи. Круг интересов автора по существу замкнут домашним и колхозным бытом.

Название повести орловского прозаика

А. Яновского «Горнисты идут впереди» недвусмысленно указывает на связь книги с романтической гайдаровской традицией. И тема и сюжет ее (пионеры отправляются в поход по местам боев дивизии «Нормандия-Неман» с фашистскими захватчиками, в пути ищут полезные ископаемые, изучают родной край, знакомятся с жизнью тружеников села) давали благодатные возможности нарисовать яркие ребятами характеры, рассказать о тех качествах Человека и Гражданина, которые должен выработать каждый, готовясь вступить в ряды активных строителей нового общества.

Повесть написана занимательно. Автору удалось передать большую любовь Вити Белова, горниста пионерского отряда, к погибшему в Отечественной войне отцу, безымянную могилу которого разыскивает сын. Однако «уроки» Гайдара и А. Яновский воспринял в значительной степени механически.

Образ горниста так и не получил в повести того второго — символического — смысла, на который, судя по заглавию, рассчитывал автор. Да, в походе Витя идет впереди отряда, напевая боевую песню: «...Погиб наш юный барабанщик...» Но что отличает его от других ребят? Страсть к ботанике — так же, как Игоря Каменского, например, интерес к своей дрессированной собаке Вэбу, а Петю Воробьева — увлечение рыбной ловлей? Эти чисто внешние признаки никак не помогают читателю почувствовать ребят «изнутри», приблизиться к пониманию их человеческой сущности.

Просчет писателя в том, что действительность, сама по себе интересная и значительная, находится в повести как бы вне ребят: они больше остаются слушателями и зрителями, нежели участниками событий. Такая книга несомненно ценна в познавательном отношении. Но воспитывает она дидактически.

Подобная неудача постигла, на мой взгляд, и С. Баруздина в его интересном задуманной повести «Только не завтра».

Все в Залужье знают и уважают Егора Спиридоновича. Золотые руки у этого человека. Все он может с завидным мастерством сделать: и ведро запаять, и крышу покрасить, и дом построить, и печку сложить.

Павка однажды принес Егору Спиридоновичу ведро в починку, да и зачастил к нему. Куда как интереснее показалось мальчишке в благоустроенном сарайчике умельца, чем в плохо оборудованной школьной мастерской! Стал Павка у старичка вроде как бы подручным: то рубанок подаст, то доску распилит. И жадно ловит каждое движение золотых рук мастера.

Трудовое воспитание! Не о нем ли печется государство, проводя в жизнь идею связи школы с производством? И разве не любовь к труду, не умение делать свое дело мастерски, на совесть и артистично, трудиться самозабвенно и вдохновенно — одно из главнейших и обязательнейших качеств нового человека? И что плохого, если колхозный сторож Спиридоныч в свободное время не сидит сложа руки, помогает людям! Даже если и берет с них плату. Ведь он не мошенник, не выжига.

— Да не беда это. Не думай сейчас! — говорит он соседке колхознице. — В другой раз отдашь. Пятнадцать рублей, как договорились. А впрочем, ладно, двенадцать можно. Случай такой...

А случай был такой, что померла бабушка Матвеевна, и гроб сделал ей Егор Спиридонович.

И хотя дочь Матвеевны понимает, что ей вроде бы не за что обижаться на старика, и Павкина мать говорит: «Мало ли! И другие берут... Ведь за дело», — сам Павка уже не может относиться к старику по-прежнему. На ласковый вопрос Спиридоныча: «Что-то пропал совсем, не заходишь. Что так?» — он отвечает вопросом: «А вы деньги за все берете?»

С. Баруздин хочет показать, что в жизнь вступает новое поколение, для которого необходимость труда станет потреб-

*А. П. Бачурин. Фронт-
вые записки политработни-
ка. Воениздат. М. 1962.
112 стр. Цена 17 коп.*

В книжке, рассказывающей об удивительных людях, помещен снимок: человек в белом халате и такой же белой шапочке украшает кремом торт. Это — Николай Рогачев — известный ленинградский кондитер, мастер-фигурант, награжденный за свою искусную работу орденом Трудового Красного Знамени.

Спокойный, сосредоточенный, он стоит у стола, поглощенный своим любимым делом. И если бы не другой снимок, мы бы и не подумали, что руки Рогаче-

ва, привычные к немудреному приспособлению — пергаментному «фунтику», без малейшей дрожи держали винтовку, разившую без промаха гитлеровцев. На этом фото, относящемся к 1943 году, Рогачев — в гимнастерке, пилотке, с винтовкой, оснащенной оптическим прицелом.

Тепло, с отеческой любовью пишет автор, бывший агитатор политотдела 277-й стрелковой дивизии, гвардии подполковник в отставке, о снайпере Николае Рогачеве — одном из отважных, мужественных вои-

нов дивизии, отличившейся в битве на Волге.

Юноша — пекарь, человек очень мирной профессии, добровольно ушел на фронт защищать Родину, стал блестящим снайпером и за короткое время уничтожил несколько десятков гитлеровцев. В знак признания боевых заслуг ЦК ВЛКСМ вручил Рогачеву именную винтовку № 2726. Из этой винтовки старший сержант Рогачев сразил восемьдесят шесть гитлеровцев.

Один за другим встанут на страницах книги портреты воинов, чьи ратные по-

Читали ли вы?

ностью, а мастерство и умение обретут подлинную моральную ценность, измеряемую уважением коллектива, а не рублями и полтинниками. Такая идея заслуживает всяческого одобрения.

Но если писатель живо и убедительно нарисовал образ Спиридоныча, то главный представитель нового поколения, Павка, остался в глубокой тени. От этого вся повесть приобрела характер рассудочности и заданности. В ней, как в комедии классицизма: живой тип «отрицательного» старика и добродетельная схема мальчика-резонера. Да и не могло быть иначе, ибо Пашка тоже лишь приглядывается, слушает, но не живет, не действует. Весь «конфликт» Павкиной морали с моралью Спиридоныча исчерпывается заключительным наивным Павкиным вопросом. И от ребячьего окружения писатель своего героя оторвал.

Полноты жизни — вот чего недостает подчас нашим детским книжкам. То, что у Гайдара составляло единый художественный сплав, в таких книжках обычно представлено, так сказать, «по частям». Живость ребячьих характеров, щедрость вымысла и юмор — у Ю. Третьякова. Проникновенный лиризм и острота бытовой зарисовки — у Е. Рязановой. Романтика героического и широта жизненного охвата — у А. Яновского. В повестях и рассказах каждого из названных авторов обязательно какой-нибудь весьма существенной «части» не хватает. Но живет в искусстве только цельное.

Ведь и литературному герою, как земля и воздух — растению, нужна среда, в которой было бы все, необходимое ему для жизни. Бедна эта среда, плохо связана она с героем — и герой либо худосочен, либо мертв.

III

Мне представляется, что в духе лучших гайдаровских традиций написана подлинно новаторская, но странно обойденная крити-

кой повесть Э. Цюрупы «Олешек». Это повесть о красоте и человечности жизни, о хороших людях, о счастье мирного труда, о светлой человеческой вере в торжество добра и справедливости.

Иным повесть могла бы показаться «лакировочной» — слишком уж безмятежна, умиротворенно-поэтична атмосфера книги. Но в такой же степени «лакировочны» и «светлый, чистый, как жемчужина», рассказ «Чук и Гек», и новелла о голубой чашке, и многие другие книги наших писателей.

Такие книги особенно важны сейчас, когда принципы гуманизма, четко сформулированные Программой партии как моральный кодекс строителей коммунизма, все более утверждаются в нашем повседневном быту.

Прозрачная ясность колорита, мягкая доброта интонаций несомненно определены образом центрального персонажа, именем которого и названа повесть. Олешек — маленький растущий человек, в нем есть что-то и от Сережи В. Пановой и от Аленьки С. Антонова — та же чистота и непосредственность детства, но ущемленного, не изуродованного потугами иных «воспитателей» навязать ребенку свою отжившую мораль.

Но если «Аленка» и «Сережа» обращены главным образом к взрослым, то первыми читателями «Олешка» предполагаются дети. В этом смысле Олешек — прямой «преемник» Чука, Гека, Светланы, «всадника первого октябрьского отряда имени Мировой революции» Альки Ганина. Светлый и поэтичный взгляд на мир, бесконечное доверие к людям, прямой и непосредственный отклик на все доброе и настоящее, органическая, так сказать, природная честность — таковы нравственные основы этого детского характера, позволяющие видеть в Олешке прообраз будущего настоящего человека, которому предстоит не только завершить здание коммунистического общежития, но и обживать его.

Мать Олешка — маляр, отец — шофер, оба работают в доме отдыха. Это честные

двиги служат примером отваги, доблести и героизма. Перед читателем проходят люди высокой советской морали, верящие в торжество правого дела, развертываются эпизоды, раскрывающие трудные будни политработников.

Мы как бы видим перед собой плеяду бесстрашных, возвращенных партией верных сынов Родины, коммунистов, комсомольцев, которые под ураганным огнем шли на врага, и ничто не могло остановить их.

Со многими из тех, кто сражался под знаменем 277-й стрелковой, автор повстречался спустя много лет после войны, работая над книгой. Он рассказыва-

ет о них в последней главе «Где же вы теперь, друзья-однополчане?..»

В Москве, на механическом заводе метрополитена, работает токарем Алексей Куропаткин. Смелый, меткий пулеметчик, он вместе со своими тринадцатью товарищами в отчаянном, дерзком порыве отбил у фашистов высоту. Тринадцать героев, уничтожив больше взвода гитлеровцев, погибли за родную землю. Четырнадцатый, тяжелораненый, истекавший кровью Куропаткин, был спасен.

В Саратовской области живет отважный разведчик, старший лейтенант запаса Виктор Синебрюхов — слесарь-монтажник по строи-

тельству мостов. Джуманазар Норов, поднявшийся во время штурма на высоту 129,0 с красным знаменем, которое он обагрил своей кровью, вернулся в родную Среднюю Азию и трудится в кишлаке Суракат — в строительной бригаде колхоза имени XX партсъезда. Колхозники сердечно поздравили своего земляка, которому через много лет после войны вручили орден Красного Знамени. Любовь Лазаренко, командовавшая санитарной ротой, теперь сотрудник института краевой медицины Академии наук Узбекской ССР. Она — кандидат медицинских наук.

Бывшие воины 277-й дивизии и теперь в строю...

и умные люди. Умные уже потому, что они не стремятся «приспособить» Олешку к своей «взрослой» мерке — дают простор его естественным добрым наклонностям, не гасят в нем ненароком светлый огонек мечты, не держат мальчика под унижительным страхом наказаний.

Мудрость воспитания — в уважении к ребенку, в доверии к его человеческому достоинству. Когда соседский мальчишка Валерка поднимает Олешку на лебедке ко второму этажу ремонтируемого дома и малодушно оставляет его висеть там в раскачиваемой ветром железной бадье, Олешек отводит грозящее Валерке наказание словами:

— Никто, я сам...

И мать соглашается:

— Раз мой сын сказал, что виноват он сам, значит, так и есть...

Когда Олешек, услышав, что тюльпаны растут из луковиц, прорачивает дома обыкновенную репку, родители не поднимают его на смех. Они понимают: ничто так трагично не сказывается на воспитании ребенка, как разрушение его доброй мечты. Ведь тюльпан нужен Олешку не сам по себе. Его надо подарить заболевшему летчику, чтобы тот скорее поправился.

Думая о жизни и характере Олешки, еще раз убеждаешься, что «секрет» подлинно коммунистического воспитания не в «запретительстве», а в добром примере, вощернении хорошей инициативы ребенка.

Больной летчик строит с Олешком снежную избушку-зимовьюшку.

«— Завтра наготовим щепы для растопки, — сказал летчик. — Да чистую жестянку, чтоб чай кипятить, да сухарей насушим.

— Для кого сухарей? — удивился Олешек.

— Для неизвестного друга, — сказал летчик. — Пойдет человек по лесу в буран, промерзнет — зуб на зуб не попадет. И вдруг — вот она, зимовьюшка наша! Входи, друг, грейся чайком, зимуй хоть целую зиму».

И что за беда, если избушка не настоящая, да и лес — не тайга, а просто санаторный парк, — не в этом дело! Для играющего ребенка этот «микромир» ничуть не менее реален и значителен, чем мир «взаправдашний». Но как же ему будет плохо и неуютно в том настоящем, большем мире, если с детства в его «микромир» войдут расчет и неверие, ложь и та, отрицающая мечту «правда» унылого скепсиса, которая на деле хуже всякой лжи!

Стоило Олешку сказать дома об избушке для «неизвестного друга» — и отец нащепал ему лучины для печурки, а мать дала пачку чая и большой кусок колбасы. Колбасу нашел и съел Валерка. Да еще над Олешком посмеялся.

Несмотря на свои одиннадцать лет, Валерка испытал уже немало горя. Умерла мать. Живет парнишка у дяди — человека сухого, грубого, по всему видать, недоброго. И неудивительно, что мальчишка озлобился на людей, вымещал свои горькие ребячьи обиды на беззащитном Олешке.

— И что он тебе дался? — говорила Олешку мать. — Никто из ребят с ним не водится!..

— Ага, с ним никто не водится! — соглашался Олешек. — Никто, правда!.. Значит, ему одному ведь плохо, мама? Да?

Следуя естественной логике задуманного характера, писательница так верно — психологически и художественно — раскрывает внутреннюю красоту души маленького героя, что ей не приходится выдумывать никаких особых сюжетных «поворотов», никаких «чудес» для «обоснования» изменений, происходящих в характере другого персонажа — Валерки. Просто Валерка, общаясь с Олешком изо дня в день, постепенно, сам того не замечая, «прозревает» — учится у своего маленького друга видеть прекрасное и ценить красоту добра.

Конец повести, при всей его символичности, не кажется ни натянутым, ни излишне дидактичным: настолько он оправдан всем предыдущим развитием характера героя и событий.

Летчик едет лечиться на юг и, как самый заветный дар, берет едва проклюнувшуюся Олешкину луковицу, из которой тот пытался вырастить тюльпан.

«— А что, товарищ летчик, не разрежем ли мы вашу луковицу, а? Хороша была бы закуска, — предложил один из соседей по купе.

Тогда седой летчик... открыл чемодан и тоже достал всякую еду.

— Вот, — сказал он, — кушайте, пожалуйста, что хотите! А луковицу не отдам. Ни за что. Ее мне один человек подарил. Из нее вырастет тюльпан.

Все пассажиры засмеялись:

— Что вы, товарищ летчик! Вы, наверное, в цветах плохо разбираетесь! Это ж обыкновенная луковица.

— В цветах я разбираюсь, — сказал летчик. — А еще лучше разбираюсь в людях. И знаю: если настоящий человек захочет, так тюльпаны будут расти из простых луковиц».

* * *

Настоящий человек!

Для нас это понятие равнозначно понятию «коммунист».

Такой человек не проявляется сам собой. Его воспитывают жизнь и литература. Но именно поэтому главным героем наших детских книг должна стать не беспомощная, проникнутая чуждым нам духом безответственности и эгоизма посредственность и не бесплотная «идеальная» схема, а человек живой и настоящий. Для этого надо навсегда преодолеть мертвящее воздействие ложнопедagogических «теорий», еще недавно находивших себе «питательную среду» в отрыве воспитания и школы от живой практики действительности, в робости перед подлинным художническим проникновением в глубины жизни.

Пришла пора барабанщику выпрямиться и возглавить строй.

СПУСТЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ...

Заметки о романе Леонида Соболева «Капитальный ремонт»

Да, это уже история, события той поры, что отражены в романе Леонида Соболева «Капитальный ремонт». Они были минувшим уже и тогда, когда автор начал публиковать свое произведение,— в 1932 году. Тем с большим основанием можно отнести сегодня к историческому прошлому изображенную писателем действительность: от наших дней ее отделяет почти столетия.

Полвека — это целая эпоха. Но так ли спокойно и созерцательно постигается запечатленное в образах романа, как это нередко получается от соприкосновения с жизнью, давно канувшей в Лету, с думами и страстями людей, которые не были твоими современниками? Решающее слово здесь принадлежит, бесспорно, искусству, его способности проносить события определенного времени в своей первозданной трепетности через годы.

Я читал «Капитальный ремонт» и тогда, когда он был опубликован впервые, перечитал и сейчас, когда, тридцать лет спустя, появились новые главы, раздвигающие рамки первой книги романа (журнал «Знамя», № 1, 2, 5, 6, 1962). Эти новые главы делают бесспорным кое-что из считавшегося ранее спорным, точнее расставляют идейные и смысловые акценты в замысле художника, приводят героев на тот исходный рубеж, с которого им предстоит большой и многотрудный путь в сложную действительность... Но обо всем этом — несколько позднее.

Самый требовательный, справедливый и бессмертный критик — время — подтвердил правильность мнений многих критиков смертных: «Капитальный ремонт» — произведение подлинного искусства.

В предисловии Л. Толстого к крестьянским рассказам С. Семенова высказаны весьма примечательные мысли о критериях искусства. «Я давно уже составил себе правило, — пишет великий художник, — судить о всяком художественном произведении с трех сторон: 1) со стороны содержания: насколько важно и нужно для людей то, что с новой стороны открывается художником, потому что всякое произведение только тогда произведение искусства, когда оно открывает новую сторону жизни; 2) насколько хороша, красива, соответственна содержанию форма произведения; 3) насколько искренно отношение художника к своему предмету, то есть насколько он верит в то, что изображает».

В этих словах Л. Толстого — ключ к пониманию долголетия романа «Капитальный ремонт», как, впрочем, и любого произведения искусства.

* * *

«Капитальный ремонт» посвящен преимущественно событиям на Балтийском военном флоте в самый канун первой мировой войны. Автор при этом не изолирует моряков от всенародной жизни. Широкий план романа — одно из достоинств произведения, одно из его реалистических качеств, ибо в живой действительности военно-морской флот, несмотря на все усилия властей воздвигнуть китайскую стену между ним и народом, не был отсечен от общества, не был огражден от тех «проклятых вопросов», которые волновали многие миллионы людей, расшатывали устои самодержавия.

Однако широта авторского замысла не исчерпывается этим. В «Капитальном ремонте» крупным планом изображено и то, что происходило летом 1914 года в Питере, на его улицах, в квартирах буржуа, рабочих, среди революционно настроенных студентов и т. д. Критика достаточно обоснованно указывала (да и сам автор подтверждал это) на эпопейный характер романа, первая книга которого является своеобразной шахматной доской, на какой сделаны пока некоторые существенные ходы, но основная игра впереди.

Сказанное несколько не умаляет значения первой книги, ибо писатель сумел в ней художественно раскрыть генеральную идею романа — идею необходимости и неизбежности капитального ремонта флота и государства, показать характеры героев с определенностью, позволяющей судить, куда, к какому берегу в штормовом океане жизни приплывут, если не каждый из них, то многие.

Линкор «Генералиссимус граф Суворов-Рымникский» у Л. Соболева — символ самодержавного Российского государства в преддверии первой мировой войны. Каков же он, этот линкор?

«Рейд застыл, распластавшись под утренним солнцем ровной и свежей гладью, бесцветной у катера и синеющей к горизонту. «Генералиссимус граф Суворов-Рымникский» вдавился в нее тяжело и грузно, и казалось, что серо-голубая броня его бортов отлита одним куском с серо-голубой водой. Он огромен, молчалив и недвижим. Палуба широка и просторна, как соборная паперть. Четыре орудийных башни одна за другой стали в ряд с кормы до носу; их длинные стволы вытянулись из амбразур в стремительном поиске врага и так и застыли над палубой. От простора палубы башни кажутся небольшими и броня их — невесомой. Но броня тяжела; она одела башни и рубки

толстой двенадцатидюймовой коркой, она перекрыла корабль вдоль и поперек тяжкими листами и окружила борта тысячуудовым поясом. Броня так тяжела, что громадный корабль, раздавливая воду, утонул в ней двумя третями своего корпуса, оставив над поверхностью воды только низкий борт и палубу, как отдыхающий на воде пловец оставляет над водой один рот — только чтоб не захлебнуться».

Изображение это рождает двойственное чувство.

Сила? Мошь? Безусловно. Корабль огромен, палуба широка, длинные дула орудий «вытянулись из амбразур в стремительном поиске врага и так и застыли над палубой». Кажется, огонь линкора сокрушит все, что встанет на его пути. Но одновременно с этим возникает и другое ощущение: сомнение в подлинной мощи корабля. Оно возникает из тональности повествования, сурового речитатива фразы, из эпитетов, создающих мрачный колорит, наконец, из сравнения линкора с отдыхающим на воде пловцом, который «оставляет над водой один рот — только чтоб не захлебнуться»...

Линкор «Генералиссимус граф Суворов-Рымникский» таким, каким он изображен в приведенном отрывке, предстает Юрию Ливитину, юному гардемарину, влюбленному в море, во флот, бредящему подвигом во славу андреевского флага. Сложность и, если хотите, драматизм этого положения в том, что Юрий видит корабль только в радужных тонах, только светлые чувства рождает в нем первое знакомство с «Генералиссимусом...» И это весьма важно для уяснения архитектоники романа, построения сюжета. Происходит как бы раздвоение единого: существующее в реальности и восприятие этого сущего одним из основных героев произведения. Столкновение голубой мечты с «не голубой» действительностью.

Автор по ходу действия не однажды вернется к этому столкновению, и мы не один раз увидим — и воспримем — жизнь корабля как бы в двух аспектах: сердцем Юрия и разумом его брата Николая, который уже порядком хлебнул из горькой чаши жизни и понимает ее. Вот это раздвоение создает основу для драматизма не только отдельных сцен, ситуаций, в которые оказываются вовлеченными оба Ливитины, но и вносит много в драматическую основу всего романа. Оно помогает выявлению главной идеи произведения, открывает перспективу развития характеров, особенно Ливитина-младшего.

Но вернемся, однако, к кораблю. «Островом плавающей стали» называет автор линкор, утверждает, что на корабле «столетиями распято понятие человек», что нет людей на этом «острове плавающей стали», а есть простые числа:

26 000 тонн водоизмещения;
42 000 лошадиных сил;
592 фута длины;
40 000 000 рублей затрат;
12 двенадцатидюймовых орудий;
1 186 648 заклепок;

1186 матросов;
39 офицеров;
1 командир.

Есть адмиралы, офицеры, кондукторы, унтер-офицеры и матросы. Они расставлены по ступеням раз навсегда установленной службы — одни выше, другие ниже; и каждый на своей ступеньке ждет удара сверху и посылает удар вниз, — но никогда не наоборот».

Эту, здесь публицистически выраженную мысль автор затем развивает на протяжении всего романа и развивает в согласии с подлинным ходом времени, с тем неоспоримым фактом, что русский трудовой народ, в первую очередь его авангард — рабочий класс, и представители этого трудового народа на флоте все больше и больше начинают осознавать себя творцами истории, хозяевами своей судьбы: ведь это был самый канун такого огромного социального бедствия, как мировая война, и не столь уж далекий канун социалистической революции, положившей начало новой эре.

В стилевом потоке «Капитального ремонта», как справедливо отмечала критика, довольно ощутима публицистическая струя. По ряду причин писатель не довольствуется лишь тем, что выскажут его герои в конкретных обстоятельствах, какой приговор явлениям жизни они вынесут, и выносит его сам, без опосредствования в лицах. Я говорю «по ряду причин», потому что отвою далеко не последнее место тому положению, что некоторые публицистические монологи Л. Соболева (не всегда, впрочем, верные) не могут быть произнесены ни одним из героев романа без нарушения гармонии характера, они подпадают под юрисдикцию автора — и только автора.

Ну кто, например, из персонажей «Капитального ремонта» так обстоятельно, с такой статистической обоснованностью способен сказать о чарке водки, которая «изо дня в день, в течение пяти лет» службы матроса на флоте «дважды в сутки... падает в матросский желудок точно рассчитанной порцией физического и психологического воздействия»? Что чарка водки «к 1914 году перешла в категорию экономическую и политическую»?.. Кому из героев можно вложить в уста публицистическое отступление — целый исторический трактат! — о двуглавом орле, символе русского самодержавия, или страстное рассуждение о гимне французской революции «Марсельеза»?..

В таком романе, как «Капитальный ремонт», — а это роман социальный, политический, — публицистика бывает необходима, как воздух для жизни, она политически заостряет тему. И, кроме того, это свойственно творческой манере автора, его писательской индивидуальности. Публицистика здесь подлинно художественная, она обогащает художественную ткань и сама возникает из потребности развития художественного повествования как его необходимое продолжение.

Органичность сплава всей системы художественных средств, в том числе и публицистичности,— одна из существенных особенностей творческой манеры Л. Соболева в «Капитальном ремонте». В новых главах автор остается верным этой своей манере.

* * *

«Нет людей на острове плавающей стали» — таковы обычаи, даже законы, господствующие в русском императорском флоте. Спор с ними, изобличение их занимает весьма большое, пожалуй, даже главное место в идейном пафосе романа. Большое, но не единственное, как полагали в свое время некоторые критики «Капитального ремонта». Идейный пафос произведения выражает и позитивное начало, не только возникающее из отрицания старого, но и из изображения нового, уже реально существовавшего и крепнувшего на флоте, того нового, что способно подготовить и осуществить капитальный ремонт. Но об этом пойдет речь дальше.

Автор романа подробно рассказывает о попрании человеческого достоинства матросов и низших чинов корабля, «митюх», — так презрительно называют их офицеры. Попрание начинается с размещения матросов на корабле. «Двадцатый кубрик, где помещались кочегары восьмой роты, никогда не видел дневного света: внутри линкора, под тремя палубами, далеко от бортов, он так и был выстроен в электрическом свете. Воздух освежался в нем непрерывно гудящими вентиляторами — вдвумным и вытяжным, и от этого в кубрике, закупоренном внутри корабля, как консервная банка, был беспрерывный сквозняк».

В романе изображение кубрика кочегаров идет сразу же за описанием блистательных кают офицеров, роскошного салона кают-компаний, после описания «суровых и трудных обязанностей морского офицера», как иронически именует их автор, среди которых — «налагаемая общественным положением необходимость бывать в ресторанах до поздней ночи, дружеская беседа в кают-компаний, заходящая иногда за рюмкой ликера далеко за полночь»... Выполнению этих обязанностей способствует, в частности, и несколько видов сна: основной, утренний дополнительный, поощрительный, высочайше утвержденный, предварительный, вечерний дополнительный и, наконец, «сквознячок».

Сопоставление быта матросских кубриков и офицерских кают — проявление той контрастности, которая пронизывает собой все повествование, является типичной для авторской манеры.

Еще большее унижение человеческой личности — в отношениях между офицерами и матросами. Л. Соболев, однако, не впадает в крайность, свойственную некоторым писателям, он не представляет мордобой универсальным средством общения начальников и подчиненных. Писатель вскрывает формы наиболее жестокого морального попрания человеческой личности. Насколько, действительно, должно быть унижено

достоинство человека, чтобы он, подобно боцману Нетопорчуку, переживал как большое личное горе ту промашку, когда в темноте он не смог по кальсонам отличить господина гардемарины от обыкновенного матроса. Ведь «вон ревизор, господин Будагов, очень любят на купанье к матросам заплывать к выстрелу, на перегонки поплавать; хоть в воде и весь голый, а разве его от матросни не отличишь? Тело белое, нежное, голова, хоть обритая вся, а все какая-то иная, господская, и взгляд другой, господский взгляд»...

Роман отвечает на вопрос — кто ответствен за подобное человеческое унижение матросской массы. Ответ этот лежит в фарватере выяснения главной идеи произведения. Кто же? Командир корабля? «Он — первый после бога и государя императора на вверенном ему корабле. Ему даны права абсолютного монарха в этом царстве стали, оружия и военных людей, он может повесить любого матроса и может совершить над ним таинство отпевания, если на корабле нет священника, — и он может даже ходить по верхней палубе во время одной минуты молчания». Командир линкора, бесспорно, немалая величина. Но автор покажет, что и командир корабля и даже сам адмирал, командующий флотом, не столь уж большие величины на флоте — винтики и колесики в системе служебной иерархии данного государственного и общественного строя. Главный виновник — самодержавие. Вот ответ на интересующий нас вопрос.

Утверждая это, автор создает весьма выразительные сцены, в частности, упомянутую уже сцену «утренней минуты молчания», единственной минуты, «когда флотские люди могут уйти всем сердцем и всей мыслью в свой внутренний мир».

В художественном отношении сцена «утренней минуты молчания» одна из лучших в произведении: богат ее текст, не менее содержателен и подтекст.

Сцена полна того внутреннего напряжения, которое адекватно жизни, отражает ее драматическую атмосферу. Тут несколько планов. Один из них — взгляд моряков на себя как на героев флота Российской империи — военной опоры отечества и царя, людей, наследующих достоинство и гордость тех, кто в морских сражениях прославил андреевский флаг. Это возвышенное.

Но на этот план, как при комбинированной съемке негатив на негатив, накладывается другое: мысли действующих лиц, не идущие в русло той идеи, которая в такую минуту, казалось бы, должна пронизать собой каждый атом человеческого мозга, оттеснить и подавить все постороннее. О чем же думают герои? Мичман, в строю «третий с левого фланга», «пухлый и сонный, как невыспавшийся ребенок», думает: под каким предлогом надежнее испросить у командира корабля двести рублей, которые вчера проиграны в карты. Старший офицер, капитан второго ранга Шиянов, обеспокоен тем, как бы командир не заметил на палубе тридцати двух кочегаров, задержанных перед поднятием флага в недо-

зволненным месте и в неположенной форме... Возвышенное постепенно снижается. Торжественная интонация уступает место обличительному слогу. И полное снижение — от героического до комического — догадки лейтенанта Бутурлина, который «красив, росл, розовая кожа шеи над воротником кителя кажется благоухает на расстоянии», — догадки о том, где он подцепил столь прозаическую болезнь, как триппер...

Воистину от возвышенного до прозаического — один шаг. Но этот шаг сложен, и автор насыщает его множеством психологических нюансов, целой гаммой чувств своих героев. Как бы итожка, он заключает: «Торопливый крик сигнальщика резко нарушил минуту молчания, полно и благоговейно отдаваемую мыслям о самом дорогом, что есть у флотских людей. Люди, очищенные и просветленные этой минутой сосредоточения и примиренные ею друг с другом, вступили в новый флотский день с новой верой в милость всевышнего и с новой бодростью...» Но настоящий итог, ставящий все точки над «и», даже не в этой иронии, а в следующей за ней фразе: «Так, по крайней мере, думали голландские шхипера, насаждавшие в российском флоте правильные морские традиции, а голландским шхиперам была свойственна некоторая сентиментальность».

В сцене есть и еще один план — поведение тридцати двух кочегаров, застигнутых сигналом на верхней палубе и стоящих сейчас перед офицерами «с упрямым терпением, как стоял когда-то гвардейский экипаж на морозной Сенатской площади, — бесцельно, безмолвно, обреченно». Пусть обреченно: кочегары еще не осознали себя в полную меру силой, способной на большие дела, но знаменательно уже, что они не мирятся с бесправием. Они еще верят в справедливость командира и потому не так активны, как хотелось бы, но придет день, и этой вере настанет конец — он уже близок, автор показывает его. Поведение, судьба тридцати двух кочегаров становятся

главными в сцене «минуты молчания», сюда перемещается ее высокий пафос. И мы чувствуем, что флот Российской империи как защита царя и отечества ненадежен. В воздухе пахнет грозой.

* * *

Чтобы лучше почувствовать и понять эту грозу, надобно посмотреть на другой полюс корабельной действительности, тот, что образуется жизнью офицеров линейного корабля. Она написана Л. Соболевым с той исчерпывающей полнотой, когда кажется, что ты сам побывал в каютах, в кают-компаниях, ходил с героями по палубе, побывал на юте, в артиллерийских башнях, послушал разговоры о береге и о многом другом. Роман полон деталей, подробностей.

Но детали деталями. Характеры же офицеров, их сущность раскрываются в отношении к службе, к важнейшим вопросам времени. Характеры эти индивидуальные, несмотря на приблизительно одинаковое понимание героями своего долга защиты царя и отечества. Легкость, беззаботность, даже, пожалуй, бездумность свойственны всем им, за исключением разве Николая Ливитина. «Лейтенантская жизнь», как автомобиль по шоссе, «катится... гладко, легко, без всяких встрясок и ударов», «маршрут жизни» хорошо известен мичманам, и служба поворачивает руль на перекрестках годов уверенно и спокойно.

В «Войне и мире», в повествовании о Николае Ростове, есть рассуждение о прелестях жизни военного сословия: «Ежели бы мог найти человек состояние, в котором бы он, будучи праздным, чувствовал бы себя полезным и исполняющим свой долг, он бы нашел одну сторону первобытного блаженства. И таким состоянием обязательной и безупречной праздности пользуется целое сословие — сословие военное. В этой обязательной и безупречной праздности состояла и будет состоять главная привлекательность военной службы».

Именно в таком состоянии «первобыт-

Александр Лукин.
Разведчики. «Знание». М.
1962. 124 стр. Цена 9 коп.



Все продумано до мелочей. В кармане серого офицерского френча пистолет на взводе. Движение руки — и последует точный выстрел. Две огромные ошарки расположились у кресла посетителя, за спиной замерли эсэсовцы, готовые схватить при малейшем движении. Выстрела не последовало... Обер-лейтенант Пауль Зиберт (советский разведчик Николай Иванович Кузнецов) покинул кабинет рейхскомиссара Украины Эриха Коха.

После этой встречи со-

ветской разведке стало известно о серьезных планах немецкого командования.

Это лишь один из эпизодов славной деятельности наших разведчиков в тылу врага.

Имя Героя Советского Союза Николая Кузнецова известно всем, но рядом с ним в ровненском подполье сражались десятки других отважных патриотов. Им посвящает свою книгу «Разведчики» Александр Лукин. В годы войны автор, старый чекист, был заместителем легендарного партизанского

вождя Дмитрия Николаевича Медведева. В своем рассказе о подпольной работе в Ровно и Здолбунове он не повторяет воспоминаний Д. Медведева. Книга А. Лукина — живое, насыщенное новыми, очень интересными фактами повествование. Герои и их дела говорят сами за себя, тут не потребовалось домысла.

Авраамий Иванов, Дмитрий Красноголовец, Ванда Пилипчук, Жорж Жукотинский... Они не были разведчиками — профессионалами, в подполье их, местных жи-

ного блаженства» пребывают офицеры «Генералиссимуса...» Позиция автора романа по отношению к ним обличительна. Она усилена тем, что это не какие-то беззлобные добряки, а классовые враги трудового народа, верой и преданностью платящие самодержавию за свое содержание.

Критики «Капитального ремонта» были едины в оценке авторского отношения к этой категории героев произведения. Разногласия вызывал лишь образ Николая Ливитина, и о нем следует поговорить, тем более что продолжение судьбы этого героя в новых главах романа, как мне кажется, преследует цель прояснения социальной его сущности — каков он, с кем пойдет в грядущих событиях?

Довольно настойчиво в критике утверждался взгляд, что Николай Ливитин — враг. Умный, тонкий, даже утонченный, но враг. Известные основания к этому, бесспорно, были. Николай на флоте живет в свое удовольствие, старается быть вне политики, матросов не бьет, но и не защищает их от произвола офицеров. Он заражен цинизмом — это чуть ли не его своеобразное моральное кредо.

Да, известные основания числить Николая Ливитина врагом были. И все-таки... И все-таки отнесение его в один разряд с лейтенантом Греем, мичманом Гудковым, капитаном второго ранга Шияновым было сделано скорее из учета социального происхождения и положения Ливитина, нежели из сущности созданного характера.

Правильно оценить и понять сущность образа Николая можно, лишь разобравшись в истоках и характере его цинизма. Продумайте поосновательнее все реплики Николая в разговоре с Юрием и Морозовым, все его поучения и наставления младшему брату, и вы увидите, что цинизм не есть испорченность души лейтенанта Ливитина, а щит, прикрывающий раненую душу.

Да, раненую! «Смею вам доложить, — говорит Николай Морозову, — я на флот из-за преступной к нему страсти пошел: Жу-

сима эта самая сердце травила, полагал флот переделать. Молод, конечно, был, очень это просто казалось. А как двинули меня несколько раз по черепу, — примолк».

Николай Ливитин представлял начальству несколько планов улучшения флота. Это были хорошие мысли, идущие наравне с передовыми идеями времени. Но за свои «плантики» он получал выговоры: «Не суйся, мичманок, в адмиральское дело». «Но из того, что у меня в голове другие безысходные планты сидят, — откровенничает Николай перед Морозовым, — не следует еще, чтобы ею в досаде о броняшку биться, нет. Я и кулаки теперь жалею. Плантиков не пишу и записок не представляю. Наоборот, в последние годы ушел в разврат мыслей и склонность к эгоцентризму, чего и вам желаю».

Но тирада эта уж слишком уничтожает того, кто ее произносит. В обстоятельствах грозно надвигающейся войны, всенародной катастрофы Николай делает начальству еще одно значительное предложение об упреждении внезапного удара вражеского флота, получает одобрение... и быстро вслед за этим неодобрение, потому что царь и Генмор (Генеральный штаб морских сил) думают по-другому.

Об этой дальнейшей драме лейтенанта Ливитина — нет, не врага, и даже не потенциального врага, а человека нейтрального, — писатель рассказывает в новых главах. С неопровержимой точностью, почти документально устанавливается в них также скванность передовой флотоводческой мысли, заскорузлость мысли и действий Генмора, недалковидность и нерешительность царя в захвате инициативы на море. В повествование смело монтированы архивные документы — телеграммы, приказы и приказания, и официальные эти бумаги не разрушают жанра.

Да, драма Николая Ливитина продолжает нарастать, угнетать его ум и сердце. Дело художника — куда направить дальше своего героя. Сделать ли его целиком жерт-

телей, привела ненависть к гитлеровцам. Талант разведчика раскрыли в них обстоятельства.

«Я не желаю сидеть сложа руки! Ведь я же русский, я — Иванов!» До войны Авраамий работал учителем, при немцах — уборщиком на железнодорожных путях. Подпольщики настороженно отнеслись к этому с виду угрюмому, скучному, казалось, неповоротливому молодому человеку. И все же решились привлечь его к подпольной работе. И не ошиблись: он стал одним из лучших разведчиков соединения. Именно он доставал секретный документ — подлинный эк-

земпляр ежедневной сводки о прохождении эшелонов через Здолбуново.

Перед нами напряженные, полные риска и смертельной опасности будни разведчиков. Хитроумными путями добываются сведения о дислокации вражеских войск, приводятся в исполнение невероятные по дерзости и решительности планы, заводятся «выгодные» знакомства, один из разведчиков становится даже «агентом» гестапо...

Может быть потому, что в здолбуновском подполье разведка была поставлена хорошо, здесь не было провокаций. Ни одной гестаповской ищейке не уда-

лось проникнуть в ряды организации до последнего дня ее существования. И все же не все разведчики увидели победу: Леонтий Клименко буквально за несколько часов до вступления в город Красной Армии подорвался на mine, Авраамий Иванов погиб в фашистском застенке, не дождался прихода своих Николай Приходько и Н. Кузнецов. Но героев не забыли. Они останутся с нами. Книжка А. Лукина «Разведчики» тоже служит их памяти. Она — скромное напоминание о подвиге тех, кому мы обязаны солнечным днем, счастьем жить на свободной земле.

вой «страшных лет России» или «дать» возможность прийти к новой жизни. Не заказан ни тот, ни другой путь, и никому не дано покушаться на священное и неприкосновенное право писателя самому писать своих героев, если это не расходится с требованиями жизненной правды.

* * *

Но если в отношении будущего Николая Ливитина еще правомерны предположения и гадания, то в отношении Юрия определенность полная: он выведен автором на заданную орбиту. Да, выведен! Без новых глав романа об этом еще можно было бы спорить (см., например, статью Р. Мессер «Два романа об империалистическом флоте» в журнале «Красная новь» № 2, 1933). Теперь противоположное мнение лишено почвы. И не потому, что Юрий Ливитин в новых главах оказывается на крейсере «Аврора»,— сама по себе эта деталь не играет еще решающей роли в судьбе героя. Юрий уже достаточно повзрослел, чтобы посмотреть на действительность не глазами наивного и мечтательного гардемарина, которому все предстало в розовой дымке, а более трезво. Конечно, он еще и не на том уровне, когда в сложной жизни все ясно и можно самостоятельно, осознанно принимать решения, ставить цели, достигать их. Нет, это Юрию еще предстоит.

В заключительной главе «Капитального ремонта» автор знакомит нас с душевным состоянием младшего Ливитина на миносце «Стройный».

Чредой проходят в голове Юрия события трех беззаботных мирных месяцев — встречи с братом на «Генералиссимусе...», беседы с ним, «встреча» с вещами тридцати двух арестованных и осужденных кочегаров, часовой со штыком над кубриком миносца «Бдительный», где содержались арестованные... «Словно о каком-то постороннем человеке он подумал о заносчивом гардемарине... о наивном мальчишке, принявшем войну за театральное представление,— и ему стало безмерно стыдно за самого себя, каким он был в это короткое утро. Очевидно, он повзрослел враз, как враз, внезапно, лопается почка, выбрасывая из себя лист. И как ни тяжело было ему в этих мыслях, слезы уже не проступали на глазах. Юность кончилась».

Произошли изменения в душе героя, качественный скачок в его сознании. В сложное будущее Юрий Ливитин шагает из своей юности. Нелегка будет его дорога, но она должна быть успешна. Слишком тесно связал себя писатель с этим героем, слишком много горячего сердца и хорошей мечты отдал он Юрию, чтобы не повести его по главной магистрали века. Реализм разрешает это.

В начале своих заметок я упоминал о трех критериях художественности, провозглашенных Л. Толстым в его предисловии к крестьянским рассказам С. Семенова. Вышесказанное о романе «Капитальный ре-

монт» имело отношение преимущественно к двум первым критериям, сейчас важно вспомнить критерий третий — об искренности, убежденности писателя, о том, «насколько он верит в то, что изображает». Продолжением процитированного являются следующие слова великого художника: «Это последнее достоинство мне кажется самым важным в художественном произведении. Оно дает художественному произведению его силу, делает художественное произведение заразительным, то есть вызывает у зрителя, слушателя, читателя те чувства, которые испытывает художник».

В этом отношении, мне думается, самой большой удачей писателя можно считать создание образа Юрия Ливитина. Он написан темпераментно, страстно, с хорошей верой в человека, в его доброе назначение. Юношеская наивность, благородный порыв, чистая мечта, романтика, заносчивая ершистость гардемарина, слово и жест — все гармонически сведено художником в единое целое. Диалектика души, юмористическая улыбка, хорошие слова о жизни, живописность красок корабля, моря, берега — все это как-то по-особенному выявляется, когда перо автора касается образа своего любимого героя.

Конечно, не следует думать, что в чисто живописном отношении образ Юрия в романе — это пальма в пустыне. Роман весь написан многоветно, и уместно здесь сказать о некоторых особенностях языка произведения. Фраза у автора гибкая, подвижная — от нераспространенного — в два-четыре слова предложения — до «закрученного» периода со множеством дополнений и определений. Языковые эти особенности романа, связанные с большой работой писателя над словом, в известной степени характерны для языка, а точнее, даже для стиля прозы тех лет — концентрированной поэтической прозы. И в новых главах романа Л. Соболев остался верен своей прежней стилиевой манере, хотя и отказался от чрезмерной броскости фразы.

* * *

«Флоту и всему Российскому государству нужен капитальный ремонт», — к этой мысли постепенно приходят наиболее дальновидные герои романа, она заостряется в публицистических высказываниях автора, утверждается всей образной логикой. С большой художественной силой идея капитального ремонта, на мой взгляд, прозвучала в сцене отъезда Юрия Ливитина с «Генералиссимуса...», в которой «большой могучий корабль» кричит «высоким, жалобным, протяжным криком», и это походит на то, что корабль плачет «неуклюжими и страшными мужскими слезами».

Образ плачущего корабля так пронзительно входит в сердце, что почти физически заставляет почувствовать надвигающуюся катастрофу, неизбежность больших перемен на флоте и в обществе.

Но это еще предчувствие, интуиция. Это опять воспринято сердцем Юрия. В од-

ной из новых глав, где «Генералиссимус...», на случай войны, принимает в свои трюмы множество грузов, писатель вновь прибегает к образу, по своей смысловой и эмоциональной устремленности схожему с образом плачущего корабля, но на этот раз образ обретает большую идейную четкость и определенность. «Неизбежное приближалось, тяжелое и давящее, наваливалось на корабль. И под нестерпимой, все увеличивающейся его тяжестью корабль медленно, дюйм за дюймом, оседал в воду. Корабль должен был затонуть — и это, почти незаметное еще, затопление под принимаемыми для боя грузами было началом конца».

Да, надвигаются грозные события. Капитальный ремонт всей общественной системы страны становится неотвратимым, неизбежным! Кто же осуществит его? Пролетарская революция!

Одна из линий романа представляет революционно настроенных матросов, большевистское подполье на линкоре. Критика единодушно отмечала слабость этой линии, бледность образов подпольщиков, недостаточную правдоподобность самой формы организации. И критика была права. В новых главах тема большевистской организации на «Генералиссимусе...» — да и не только на «Генералиссимусе...» — получила развитие, и это идейно приподняло произведение.

Тут прежде всего следует сказать об образе матроса Волкового — революционера. В нем и прежде угадывались недюжинные задатки подпольщика, спокойного, выдержанного, способного не поддаться на провокацию, не погубить дела нетерпеливостью, присущей Тольманкову — натуре порывистой и анархичной, «одинокке». Когда на линкоре Тольманков решил поднять бунт — этой сценой и заканчивался раньше роман — и, обезумев, закричал матросам: «Чего сидите, чего ждете?.. К винтовкам! Бейте офицеров!.. Товарищи же... да кто же тут есть из боевой организации, поднимайте же людей!», — Волковой сам ударом приклада сшиб Тольманкова и, навалившись на него, в самое ухо сказал: «Сам пристрелю... Провал готовишь, сволочь?»

Но задатки большевика в характере Волкового не были достаточно развернуты. Да и в новых главах этот образ не встал еще во весь свой рост (будем надеяться, что настоящее его художественное раскрытие у автора связано со второй книгой романа), однако сейчас уже писатель сообщил о герое очень важное для выяснения сущности характера: приемом ретроспекции дал биографию героя, показал истоки его революционных качеств.

В девятьсот четвертом году мальчишку Сеньку Волкового «вместе с отцом, мастером железнодорожного депо, забрали в жандармское, найдя дома при обыске пачку

прокламаций». На его глазах били отца. Потом участие в боевой дружине, трудная жизнь подпольщика, через которую «прошли годы, книги и люди». На флот «Волковой» пришел уже с явкой петербургского комитета социал-демократической партии большевиков к вовсе неизвестному ему гальванеру четвертой башни Федору Кудрину».

Подпольщика Федора Кудрина мы также встречаем в новых главах — он напутствует на флот студента политехнического института Тишенинова. Тишенинов стал настоящим большевиком. Эту фигуру автор вводит в сюжет, делая и на нее большую «заявку»: «Темное и светлое — это жизнь, — рассуждает Тишенинов в вагоне железной дороги по пути на флот. — Опасность и беда — это жизнь. Царская тюрьма и революция — это жизнь. Весь вопрос в том, что победит: свет или тьма? Тюрьма или свобода? И за это можно отдать все... Будет время, свет вырвется наружу. Держись, Егор».

Пути многих героев в соответствии с правдой жизни, — ибо война призвала под ружье огромные массы людей, — сходятся на Балтике, на флоте. Крепнет подпольная организация корабля. В тот день и в тот час, когда из сейфа линкора извлекается приказ о подготовке к боевым действиям, подпольщики тайно получают из Питера, из большевистского центра, секретный пакет, и матрос Волковой, отправляясь на пост, прячет пакет у себя на груди, у сердца, ибо на корабле обыски, а часовой на посту — лицо неприкосновенное. В пакете «был тоже свой план войны — великой войны народа против царя. Завтра пакет будет вскрыт в безопасном месте — и сила его рванется к людям».

Так конец первой книги романа становится одновременно экспозицией ее второй книги, подготавливает события, в которых с достаточной полнотой должны раскрыться характеры главной жизненной силы — революции.

Некоторые из давних критиков романа Л. Соболева усматривали причину слабости изображения им революционеров в слабом знании большевистского подполья на флоте. Возможно, это и так. С тех пор, как был опубликован «Капитальный ремонт», прошло тридцать лет. Богаче, мудрее стал жизненный опыт писателя, шире стал кругозор истории. В свете достигнутого это обстоятельство уже не может стать решающей помехой тому, чтобы образы большевиков и всех тех, кто был способен подготовить и осуществить капитальный ремонт флота и государства Российского, обрели под пером художника подлинную силу, яркость, страсть, достойно отразили в себе черты людей, которые готовили и осуществляли Великую социалистическую революцию.

ПЕРЕМЕНЫ

Анна Броделе. *Верность. Роман*
Авторизованный перевод с латышского
Д. Глезера. М. «Советский писатель». 1962.
304 стр. Цена 56 коп.

«Они ведь не верят в коллективный труд... А почему не верят? Почему?...» Почему была подорвана вера колхозника латыша, или это только так кажется герою романа, приехавшему из города председательствовать в этот немощный колхоз? «Многие за эти годы побормошили свои дворы и ушли — кто в Таурене, кто даже в Ригу... в колхозе и работать некому».

Анна Броделе пишет о событиях, происходивших в деревне уже после двадцатого съезда. Но произошли они на почве, которая образовывалась в течение целого десятилетия. Впрочем, писательница не столько занята анализом хозяйственно-экономических условий, сложившихся тогда в деревне, сколько тем, как эти условия повлияли на сознание крестьянина.

«Что ты сделаешь с равнодушием, за которым, как за стеной, прячутся эти люди?.. Что сказать, чтобы растормошить... вырвать их из оцепенения, пробудить в них желание засучить рукава и начать все сначала?»

Пожалуй, ко времени, описываемому в романе, только несколько больших латвийских колхозов уже имели десятилетний стаж. А такой, как тот, что изображен Броделе, был еще моложе — коллективизацию латвийская деревня закончила только в 1949—1950 годах. Поэтому и случилось так, что ошибки, допущенные в те годы в руководстве сельским хозяйством и нанесшие урон всей стране, тут, в Латвии, в период организации колхозов, совпали с другими, чисто местными неполадками и просчетами. Одно наславилось на другое.

И все-таки дело не только в том, где было труднее. Весь ход истории Латвии — истории сложной и очень нележкой — оставил свой отпечаток на сознании человека. Сколько крутых перемен выпало на долю этого народа! Сколько раз он пытался взять землю и власть в свои руки! Только в сороковом году осуществились эти чаяния. Но грянула война, и сделать ничего не успели. Когда же все прочно стало на свое место, когда, после войны, решив быстро нагнать упущенное, здесь стали создаваться современные промышленные предприятия и го-

род быстро ожил, деревня, чье переустройство произошло как раз в период жестокого администрирования, продолжала отставать. Ошибки в руководстве были в общем-то одни по всей стране; материально латышу, может быть, и не было труднее, чем, например, рязанцу в столь же немощном колхозе, но «вырвать из оцепенения», как говорит один из героев романа, «растормошить» человека было здесь нелегко.

Броделе показала своим романом, какой широкий круг людей в деревне был заражен обывательским равнодушием. В этой обстановке колхозное добро считали «ничейным»... Поэтому-то новый председатель и говорит в минуту отчаяния, что люди не верят в коллективный труд.

Конечно, и в Латвии были свои передовые колхозы, которые вытягивали на себе воз. В романе говорится об одном из них: его умный, изворотливый председатель, игнорируя поступающие сверху инструкции и указания, вел дело по-своему, хотя в отчетах писал и говорил все, что в данном случае от него требовалось. К таким ухищрениям в те времена, когда форме придавалось большее значение, чем существу дела, прибегал не он один. Но и это тоже только предыстория... Однако же события, большие и малые, происшедшие в деревне после двадцатого съезда, и трудности, с которыми столкнулись герои романа, непосредственно связаны с этой предысторией.

Героиня романа — горожанка, библиотекарь, поехала в отдаленный колхоз потому, что здесь особенно были нужны молодые силы. Инга воспитана в духе верности революционным идеалам старшего поколения, еще только вступая в жизнь, она уже показала себя человеком твердых убеждений, целеустремленным и волевым. Женские образы и прежде удавались писательнице. Лет десять назад на русский язык была переведена ее повесть «Марта». Броделе создала тогда запоминающийся образ молодой работницы, участницы революционного подполья в буржуазной Латвии. В этом своем романе, рисуя нашу современницу, комсомолку, Броделе стремилась к широкому поэтическому обобщению. При всей своей конкретности образ Инги символичен, в нем — черты нового времени.

Анна Броделе, кстати говоря, любит форму прямого лирического высказывания. Она ведь не только прозаик, но и поэтесса,

и ее прозу пронизывает сильная лирическая струя.

Перемены в колхозе начались с мелочей, но колхозники уже уловили новые веяния, что-то новое принесли с собой и вспыхивый, но деловитый молодой рабочий и строгая девушка, по своей охоте приехавшие из Риги в их колхоз. Конечно, чтобы сломить стену равнодушия, о которой говорится в начале романа, нужны были немалые усилия и прежде всего перемены организационные, хозяйственные. Броделе об этом убедительно написала.

К сожалению, образы партийных работников, показанных в романе, не прибавляют чего-либо нового к тем, с которыми мы уже знакомы по другим книгам последних лет. И спор двух секретарей райкома, один из которых не может избавиться от осужденных партий канцелярско-бюрократических методов работы, — тоже уже не нов.

Зато настоящая удача писательницы — образы женщин, старухи крестьянки Алине Цауне и ее дочери Даце. Это характеры своеобразные, с четко выраженными национальными чертами, характеры, сформировавшиеся именно здесь, в Латвии, именно в этих условиях. Замкнутая, озлобленная Алине разделила трагическую судьбу тех латышских матерей, чьи сыновья, запуганные и обманутые фашистами, бежали в годы войны с родной земли. Нравственный перелом, который по-разному пережили и мать и дочь, перелом, обусловленный в конечном счете общими переменами в деревне, изображен писательницей с большой убедительностью... Особенно хороша Даце. Все увидели, как привлекательна эта невидная, молодая уже девушка, как сумела она проявить свои способности.

Не трудности пугали людей, их угнетала бесперспективность. Броделе настойчиво проводит эту мысль, показывая одну за другой несколько колхозных семей. Доходы в тот переломный год увеличились незначительно, но колхозники уже начинали верить, что их усилия принесут плоды. Стала возвращаться и уехавшая было в город молодежь. Произошли перемены и в райкоме, секретарем избрали человека живого, знающего заботы и нужды колхозов. Изменилось у людей отношение к делу — крестьянин понял, что инициатива возвращается в его хозяйские руки.

Анна Броделе написала об этом горячо, заинтересованно. И все же ее книга, как нам представляется, грешит некоторой иллюстративностью. Она, как говорится, иллюстрирует истины, добытые общими усилиями. Это ни в коей мере не значит, что роман не даст материала для размышлений. Он, надо полагать, заставит задуматься над проблемами, которые и сегодня еще волнуют деревню, а также над интересующими всех вопросами воспитания молодежи. Но это будет, вероятно, размышления общего характера, и картина, нарисованная в романе, послужит, может быть, только поводом для них.

В. Ланина

В ОБЩИХ ЧЕРТАХ...

Чингиз Айтматов. Первый учитель. Повесть. Перевод с киргизского автора и А. Дмитриевой. «Новый мир». № 7. 1962.

Более четырех лет назад всесоюзный читатель впервые получил возможность познакомиться с Чингизом Айтматовым. Его рассказ «Лицом к лицу», опубликованный в журнале «Октябрь», не только открыл нам писателя.

Зная по киргизским журналам и сборникам его предыдущие юношеские опыты в прозе, можно с уверенностью сказать, что именно с рассказа «Лицом к лицу» настоящему начался профессиональный писательский путь Ч. Айтматова.

Это было великолепное, сильное, обнадёживающее начало, покоряющее глубокой правдой жизни, суровым драматизмом, простотой и выразительностью письма. Неприкрашенный, выдержанный в мужественно сдержанном, даже несколько суховатом тоне рассказ о простой киргизской женщине Сейде, о ее муже Исмаиле, дезертировавшем с фронта и прячущемся возле родного аила, о безруком председателе колхоза Мырзакуле, о тяжкой военной доле вдов и сирот, рассказ, насыщенный неповторимыми подробностями характеров и быта, вместе с тем — или, вернее, именно благодаря этой своей конкретности, реалистической достоверности — выросал перед нами многозначительное, проникнутое большой обобщающей мыслью повествование о месте отдельного человека в общественной жизни, о подчас горьком и трудном, но возвышающем душу единении отдельной судьбы с судьбой народа и о том, как животный страх отщепенца, дрожащего за собственную шкуру, губит, убивает человеческое в человеке.

Уже тогда поверив в талант и стремления молодого киргизского прозаика, мы не ошиблись: следующее его произведение — повесть «Джамиля», напечатанная в «Новом мире» и затем в библиотеке «Огонька», снижала заслуженную европейскую известность и неоспоримо свидетельствовала, что писатель, превосходно знающий жизнь своего народа, упорно ищет индивидуальный путь в искусстве. Романтическая история любви Джамили и Данияра, вдохновенная любовь к жизни, к родной земле вылились здесь в полнозвучную, щедро инструментованную песню, славящую красоту и силу людей труда. Неудержимое восхищение красотой, многоцветность и яркость красок счастливо сливались в этой повести с психологической точностью и тщательностью наблюдений, с умением автора проникнуть в прихотливое и противоречивое переплетение нового жизненного уклада, новых душевных чаяний со старыми обычаями и верованиями.

Вслед за героями повести, осененные высоким светом заснеженных горных вершин, вышли мы из лабиринта глинобитных дувалов в бескрайнюю красно-бурую степь,

где теснятся у дороги сухие кусты чия и ветер доносит немолчный рокот горной речушки Куркуруеу, кизячный дымок, запах пережаренной кукурузы... Вольно дышится в широкой степи, призывно далек горизонт, обещающий новые дали, свободу, счастье...

Ушла с Данияром веселая Джамилия, преступившая темные законы старины. А вот Сейде некуда уйти. Наивными были ее мечты скрыться по весне с Исмаилом за высоким, неприступным хребтом в сказочной долине Читкала, в чудесном мире, где никто не будет знать, что Исмаил — беглец... «Тот, кто в беде покидает свой народ, волей-неволей становится его врагом!» Трудно далась эта истина Сейде. Нельзя убежать от жизни, некуда спрятаться от народа, от правды, от бед и радостей родной земли.

Джамилия и Данияр всюду останутся собой, никогда не утратят кровных связей с родиной. Они ушли... А как живут люди там, куда они ушли? Как живут те, кто оставался в айле?..

«Я пойду по степи в свой аил, я найду там новые краски,— заканчивал свое взволнованное повествование молодой художник, от лица которого велся рассказ в «Джамиле». — Пусть в каждом мазке моем звучит напев Данияра! Пусть в каждом мазке моем бьется сердце Джамили!»

— Пусть!..— повторили и мы. Но автор не поспешил за своим рассказчиком. Следующая повесть Ч. Айтматова «Тополек мой в красной косынке» (журнал «Дружба народов») и затем рассказ «Верблюжий глаз» (журнал «Новый мир»), в общем верно и поэтично отражая нравственные искания современного молодого героя, по-прежнему утверждая в жизни чистоту и цельность человеческих отношений, не поднимались, однако, до значительных социальных проблем, столь возвышавшихся «Лицом к лицу» и «Джамилию». «Киргизский Шолохов», каким — не без оснований! — мог показаться Ч. Айтматов в начале своего профессионального писательского пути, все явственней и все дальше стал отходить от истоков поэзии и драмы своих героев. Он, кажется, стал писать о том, о чем мог бы написать и кто-то другой, и так, как это, пожалуй, мог делать писатель гораздо меньшего дарования. С надеждой и тревогой ждали мы нового его произведения...

Повесть «Первый учитель» как бы повторяет (а может быть, продолжает?) прием, на котором была построена «Джамилия»: она обрамлена раздумьями художника, выходящая из того же айла Куркуруеу. Но теперь его слова звучат по-иному: «Я не нашел еще своего главного... Каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина — еще только замысел... Мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, история, побудившая меня взяться за кисть, кажется мне настолько огромной, что я не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу»...

Что ж, понятно и это волнение, и это сознание скромности своих сил... Но при всем том чувствуется в этих затянувшихся на несколько страниц приготовлениях к рас-

сказу и еще какая-то нарочитость, когда лирическая взволнованность неприметно оборачивается декламацией. Этого совсем не было в «Джамиле», а уж тем паче — в рассказе «Лицом к лицу». И, думается, дело тут не только и не столько в механистичности повторения однажды счастливо найденного поэтического хода, совершенно лишнего в новой повести, где основной рассказ ведется от имени героини, а восклицания да признания художника по существу ничего к нему не прибавляют. Ход жизни, движение истории народа, перспективы и уроки судеб главных героев отражены и осмыслены в повести верно, но как-то «разом», в главных, но чересчур общих своих чертах, без тщательного и, вместе с тем, вдохновенного реалистического изучения действительности. Цветок красноречия пышно раскрылся на ветке, срезанной с живого куста и поставленной в комнатную вазу... И быстро пропадает его аромат, вянут листья, на глазах облетают лепестки, умирает, не вызрев, завязь плода...

«...Я не бывала в айле, не знала ничего о Дюйшене, и со временем его образ превратился для меня словно бы в дорогую реликвию, хранимую в музейной тиши», — говорит о своем первом учителе героиня повести Алтынай. Вряд ли такое признание может нас обрадовать: ведь автор, очевидно, намеревался, предоставив слово Алтынай, воочию раскрыть перед нами живой, не музейный образ Дюйшена — глубоко идейного, мужественного человека, настоящего ленинца, принесшего в темный киргизский аил двадцатых годов свет партийной правды, открывшего перед Алтынай дорогу в будущее...

Может быть, зря рассказчик передоверил повествование своей знаменитой землячке, академику Алтынай Сулаймановой, хотя она и заведовала кафедрой в университете, читала лекции по философии, работала в академии, часто ездила за границу?.. Во всяком случае жаль, что конкретная психологическая и социальная правда характеров и обстоятельств, чем был так силен Ч. Айтматов в первых своих вещах, здесь словно расплывается, оказывается вне фокуса авторского зрения, и ее подменяют, но никак не способны заменить, общие сентенции, вроде: «Сам того не ведая, он совершил подвиг. Да, это был подвиг...» — или: «То ли по невежеству своему, то ли по недомыслию люди смеялись над Дюйшеном. Особенно богачи...» — и на той же странице: «Но в том-то и дело, что в те дни люди по темноте своей не придавали значения учебе... А все-таки следовало, конечно, нашему народу призадуматься...» и т. д.

Симптомы подобного, я бы сказал, недоверия к реализму или, точнее, неверия в себя как реалиста можно было угадывать у автора уже после «Джамилии». Как за «Донскими рассказами» последовал «Тихий Дон», так (без преувеличения!) за рассказом «Лицом к лицу» и за повестью «Джамилия» мы вправе были ждать многого... Ведь, право же, судьба Сейде и Мырзакула, Джамилии и Данияра, Алтынай и

Дюшана не менее, если не более, сложна и драматична, чем судьба Аксиньи, Григория, Натальи, Мишки Кошевого. И жизнь героев Чингиза Айтматова столь же многогранно и полно способна преломить в себе исторические судьбы народа. Разве не об этом мечтает талантливый молодой писатель, разве не к этому стремится?..

Д. Стариков

как вот эта стрелка большая.
должен сделать двенадцать шагов,
когда я только раз шагаю...

Я показываю часы,
ты показываешь минуты.
В остальном, как хочешь, решай:
будь великим,
я буду малым,
забирай себе славу и честь.
Я останусь таким, как есть...
И, пожалуйста, время по-своему
мне показывать не мешай.

(Перевод Д. Самойлова)

СТИХИ И ВРЕМЯ

*Геворг Эмин. Перед часами. Стихи.
Авторизованный перевод с армянского.
«Советский писатель». М. 1962. 144 стр.
Цена 17 коп.*

Поэзия Геворга Эмина известна широкому кругу читателей. Я хорошо помню первую книжку армянского поэта. Она вышла в Ереване в 1940 году и называлась «Нахашавих», что в дословном переводе означает «Введение», «Преддверие». Помнится, позже кто-то из друзей Г. Эмина придумал русский эквивалент «Нахашавиха» — «Предтропье». Не берусь судить о том, войдет ли когда-нибудь в толковые словари русского языка это слово, но оно, пожалуй, наиболее точно выражает значение и место первой книжки Г. Эмина в его творческой биографии. Да, двадцать шесть стихотворений «Нахашавиха» — в большинстве своем стихотворения о благородных порывах молодого сердца, о буднях студенческой жизни, о высоком призвании поэта — были той незаметной и нехоженой поэтической тропкой, которая с годами вывела Геворга Эмина на большую дорогу настоящей литературы. Книжки, последовавшие за первой, определили особенности его поэтического таланта, вернее, стали носителями этого таланта, самобытного, смелого, я бы сказал, таланта «с характером».

Никто из современных армянских поэтов не оказывает такого «сопротивления» материалу, как Г. Эмин. Острая злободневность, большое общественное звучание многих его стихов отнюдь не являются, как это может показаться с первого взгляда, результатом чуть ли не стихийного, ни на минуту не прекращающегося освоения поэтом новых тем и сюжетов. Напротив, привязанности Г. Эмина отличаются стойким постоянством, он предпочитает сосредоточенность распыленности, и потому, наверное, его поэзия — поэзия глубокой вспышки, поэзия философского охвата и серьезного осмысления жизни.

Именно такой поэзией богаты книги Эмина, в том числе и последняя — «Перед часами». Здесь программным является стихотворение, определившее название сборника. Вот оно:

Ты великий? Пожалуй, Да!
Я, наверное, малый? Да.
Но ведь ты, как стрелка часов,

Для Геворга Эмина время «по-своему показывать» — значит судить о времени по большому счету, не упрощая его, но и не превращая в самоцель, в нечто таинственное и загадочное, не обезличивая время, но и не сводя его к механической и безжалостной смене часов, дней, годов, столетий. Время — верный союзник поэта, если оно наполнено творческим, созидательным трудом и устремлено в будущее, если оно помогает людям, помогает поэту не ошибаться, быть честным и неподкупным, быть, а не казаться таким.

Такая мера требовательности к себе и к своим современникам продиктована высоким гуманизмом советской эпохи. Для Г. Эмина это одно из значительнейших выражений торжества ленинских норм жизни в нашей стране. Вот почему раздумья поэта о времени — это и рассказ о нескончаемой любви «сердце живых» к Ильичу («Стихи о Ленине»), и яростный спор с пессимистами и приспособленцами («В этом возрасте»), и гордое утверждение неограниченных возможностей человека («Богаче нет на свете человека...»).

Г. Эмин — поэт Советской Армении, кровно связанный с ее богатейшей культурой, поэт «чаренцовской школы», рожденной Октябрем. Уже Егеше Чаренц в революционных поэмах двадцатых годов смело и решительно преодолел, как он сам говорил об этом, «жалкую химеру национальных самоограниченностей». Стихи Геворга Эмина об Армении продолжают лучшие традиции поэзии Чаренца. Они привлекают прежде всего масштабностью, глубоким дыханием, крепкой связью с радостями и печалью всего мира, всех народов («Баллада о доме», «Моя страна», «Строителю Гегарда», «Танец сасунцев»). От этого стихи не становятся «безадресными» аллегориями. Напротив, они как бы заряжаются «двойной» силой, становятся «вдвойне» впечатляющими, так как о судьбе Армении, о судьбе родного народа поэт пишет, обогащенный опытом жизни и борьбы советских народов, великим чувством интернационализма. Так в стихах Г. Эмина решается большая эстетическая проблема — проблема поэтического выражения единых для всех народов нашей страны черт советского характера.

Лет десять-двенадцать тому назад многие стихи Г. Эмина — особенно же стихи о минувшей войне — строились на монументальных образах, призванных нести идею бессмертия и величия подвига, совершенного

советским народом. Такая тенденция была вполне закономерной. Но важно отметить, что она, эта тенденция, не была и не осталась единственной в поэзии Г. Эмина. В книге «Перед часами» есть немало стихов о войне — стихов о печальных матерях и погибших товарищах, о разрушенных городах и пропавших без вести героях. И в прежних книгах Г. Эмина мы встречали стихи об этом, стихи искренние, но и где-то чуточку выпренные, стихи о людях не столько живших, сколько ставших, порою при жизни, тяжелыми монументами. Но прочтите такие стихотворения из сборника «Перед часами», как «Не отрываю пристальный взгляд», «Пропавшему без вести», «Заблудившийся сон», «Мать и сын», «Возвращение», «Одинокий крест», и вы поймете, как дорожит нынче Г. Эмин живыми, естественными, я бы сказал, повседневыми чертами создаваемых им образов, как важно для него о правде войны рассказать словом ясным, словами простыми, западающими в душу. Поэт прекрасно понимает, что сегодня рассказ о войне — призыв, обращенный ко всем честным людям на земле, призыв бороться против угрозы новой войны, во имя мира, во имя счастья человечества.

Лирический герой поэзии Геворга Эмина — жадный до жизни человек. Отсюда одна из постоянных черт его характера — беспокойство, вернее — ответственность за все, что творится вокруг, — за хорошее и за плохое, за то, что достойно человека, и за то, что его недостойно. Он, этот герой, удивительно щедр, когда любит: могучий поток его чувств то сверкает блестящими строками о далекой Сольвейг («Ах, какая стужа!»), то звучит мягким восточным напевом («Газелла»), то тихим шепотом пробивается сквозь литые стихи о смысле жизни («Без тебя»), то, наконец, «осовременивает» и оживляет старинную легенду о несравненной донне Лауре, ловком доне Педро и странном доне Паскуале («Испанская баллада»). Этой богатой, нерастраченной попусту любви подстать горячая ненависть к любви фальши (как бы ловко она ни была замаскирована), к ханжеству и к мещанству в быту, в искусстве, в политике.

В своей ненависти — как и в любви — Г. Эмин страстен, пылок. В ненависти он еще и беспощаден. С теми, кого поэт ненавидит, он спорит открыто, говорит им в глаза всю правду и никогда не отводит в сторону взгляда.

«Молчанье — это золото».
 Мне издавна
 Известна та затасканная истина.
 Я с детства избегал ее затверживать,
 Я в сердце не желал ее задерживать,
 Хотя еще догадывался смутно я,
 В чем подлинная суть ее подслупная.

Молчанье робких — есть незамечанье,
 А золото — есть плата за молчанье,
 Награда, что была тебе положена,
 За то, что сердце больно не встревожено,
 За то, что лицемерье откровенное
 Ты выдавал за чувство сокровенное.

Да, ты авторитет свой не замачивал,
 Ты все, что полагается, замалчивал,
 Пока шагал дорогой проторенною,

Ту истину усвоив немудреную,
 Что золото — не слов прямых звучанье,
 Что золото — награда за молчанье.

(Перевод Ю. Левитанского)

Такие стихи не мог бы написать поэт — праздный соглядатай, поэт без живого ощущения современности. Только крепкая слитность с эпохой, с нашей советской действительностью придает поэзии Г. Эмина цельность, силу, красоту. И когда неожиданно среди живых, ярких стихов встречаются зарифмованные строки на тему «детство как заветная пора человеческой жизни» («Старое дерево», «Кто вернет мне детства ясный день...», «Гляжу на юных с ласковой усмешкой...»), то, право, кажется, что бесполойного, активного, неугомного поэта Геворга Эмина подменили. В хорошей и умной поэтической книге «Перед часами» стихи эти — как чужеродное тело.

Авторизация переводов сборника не носит формального характера. Стихи Г. Эмина на русском языке не теряют своей поэтичности. В этом огромная заслуга переводчиков — Б. Слуцкого, М. Львова, Ю. Левитанского, В. Звягинцевой, Е. Евтушенко, М. Петровых, В. Берестова, Д. Самойлова, Б. Окуджавы, Ю. Нейман, В. Потаповой, В. Корнилова, А. Вознесенского, А. Кафанова.

А. Салахян

ТРАГЕДИЯ И ПОБЕДА РАЗУМА

Натан Рыбак. Пора надежд и свершений. Авторизованный перевод с украинского Б. Турганова. «Советский писатель». М., 1961. 747 стр. Цена 1 р. 46 коп.

Признано, что разгадка структуры атома и расщепление атомного ядра — открытие едва ли не более важное по своему значению для человечества, нежели открытие огня. Но в капиталистическом мире его стремятся повернуть против человека. Человечество уже знает об ужасающем действии отравленного дождя. Но ведь еще сильнее отравлена «атомным излучением» атмосфера отношений между странами и государствами. И, что самое дикое — есть люди, которым выгодно посадить мир на пороховую бочку. «Холодная война», раздуваемая империалистами, предпочтение ими политики «с позиции силы» помогли им сделать это. По подсчетам некоторых ученых, как сообщала еще два года назад «Трибуна люду», запад взрывчатой энергии всех видов на каждого жителя земли уже равен энергии четырех с половиной тонн порожа! Над этим нельзя не призадуматься, даже если цифра эта и преувеличена.

Огромная ответственность за мир ложится на художественную литературу. Она должна неустанно трубить о тревогах человечества. Этим чувством ответственно-

сти пронизан новый роман Натана Рыбака «Пора надежд и свершений». Он войдет в историю советской литературы как смелая попытка заговорить о трагических коллизиях разума в век его торжества. Заговорить для того, чтобы бросить обвинение империализму, притом не безликому, а представленному вполне конкретными злоежами «историческими» персонажами — поджигателями войны, чтобы еще раз со всем советским народом и всей советской литературой призвать народы мира к выражению протеста, чтобы зажечь сердца людей гневом, чтобы показать, как человечество, все более прозревая, видит свое спасение в могущественном авторитете и миролюбивой политике страны коммунизма, в ее светлой человечности, в высоких идеалах ее народов. Только поняв этот смысл и пафос романа, можно разглядеть его достоинства и недостатки.

Роман Н. Рыбака крупномасштабен не только по объему, по количеству героев и сюжетных линий, но и по существу проблем, которыми он густо насыщен. Его эстетическую «атмосферу», художественную приору определяет круг вопросов, связанных с международной политикой и наукой. И дело не только в том, что в романе силуэтами мелькают Сталин и Рузвельт, Черчилль и многие другие, подлинные и вымышленные деятели государственного и дипломатического мира, что воспроизведены заседания Потсдамской конференции премьеров трех великих держав и другие эпизоды из дипломатических отношений послевоенного времени. Нет, дело в том, что в романе показано, как политика, а с нею и наука, ставшая в результате изобретения атомной бомбы в большей мере, чем когда бы то ни было, частью международной политики, занимает умы человечества, насыщает атмосферу, в которой развивалась жизнь первого послевоенного десятилетия.

Гитлеровская Германия разгромлена. Внимание человечества приковано к новому, все более обостряющемуся уже в мировом масштабе конфликту гуманизма с его антиподом. Над землей простирается зловещая тень Трумэна, по его приказу сбрасываются атомные бомбы на Хиросиму, Нагасаки. Мир, весь земной шар в опасности! Эта тревожная мысль входит в сознание человечества и поднимает его на борьбу против использования атомной энергии в военных целях.

Натану Рыбаку удалось раскрыть подчас невидимые нити, связующие с движением мировой истории на ее современном, нынешнем этапе, с судьбами мира, человечества не только эпохальные события, но и личные судьбы.

В композиции романа выделяются два основных потока событий. Один связан с именами и судьбами гениального автора теории относительности Альберта Эйнштейна и крупнейших представителей научной мысли западного мира — знаменитых физиков и математиков: Ферми, Фительберга, Винкля, Бора, Сцилларда, Томаса, Оппенгеймера, Комлоша, Рудольфа Руммлера.

Здесь же их противники и враги — явные и тайные фашисты, вроде гестаповца Курта Руммлера и профессора (тоже фашиста) Герстмайера, американского миллионера Гульда, «одного из королей республики», и его подручного шпиона Коллинза.

Другой поток связан с образами советского ученого-патриота Федора Шульги, его ученика, молодого и талантливого энтузиаста советской науки Максима Нерчина. И здесь не только их единомышленники и соратники (в том числе тепло нарисованный романистом покойный президент Украинской Академии наук Богомолец), но и противники, недруги: консерватор и карьерист профессор Куцевич, его прихлебатели Долгин, Сухороков, изменивший родине профессор медицины Семен Шульга и другие.

Когда-то Лев Толстой с гордостью отмечал, что «замок», которым соединяются в «Анне Карениной» два романа в композиционном единстве, не заметен. В произведении Натана Рыбака этот «замок» очень заметен. Два самостоятельно развивающихся потока событий непосредственно связаны, «сцеплены» судьбами и действиями лишь второстепенных персонажей. Правда, этот существенный недостаток композиции в значительной степени преодолевается воспроизведением тех духовных связей, которые объединяют героев, живущих в разных странах и на континентах.

При всем различии политических воззрений сходные научные проблемы волнуют советских ученых и передовых представителей науки западного мира. И вместе с тем очень различно мироощущение тех и других! Верой в гуманные цели науки проникнут труд советских ученых. У профессора Шульги, например, нет сомнений в том, что человечество должно овладеть энергией атома, что это пойдет ему на пользу. А из уст Фительберга вырывается восклицание, исполненное горечи и разочарования: «Кайнову работу выполнили мы...» Он как бы продолжает мысли погибшего Комлоша, который, порывая со своими американскими хозяевами, писал ему: «У меня такое чувство, Фительберг, что мы с вами продали свои души дьяволу».

Мудрость, гуманная совесть помогает некоторым из западных ученых нащупать концы спасительной нити, которая могла бы их вывести из лабиринта, уготованного для них империалистическими боссами-атомщиками (их представляет в романе Гульд). Одни связывают свои надежды с нашей страной, другие избирают благородное поприще борьбы за запрещение атомной бомбы, третьи стремятся доказать человечеству, что «расщепление атома пойдет ему во благо, а не во вред...».

И все же надежды эти и мысли не снимают трагизма коллизии, ибо ее разрешение находится за пределами науки. Конфликт может быть разрешен только в социальной борьбе. Но эта правда доступна еще не всей интеллигенции капиталистического Запада.

Очень хорошо и точно сказал недавно об этом Джеймс Олдридж: «В западном

мире интеллигент остается прежде всего орудием буржуазного общества. Он в замешательстве, он запутался в серьезных противоречиях... сейчас он отчаянно пытается найти правильный путь в лабиринте лжи и обмана и зачастую не знает сам, к чему стремиться». Едва ли не самое трагическое заблуждение таких интеллигентов, по мнению Олдриджа, — «нежелание видеть ничего, кроме самой бомбы».

Вот почему так трагична альтернатива, высказанная в романе Альбертом Эйнштейном: «Если мы, ученые, создавшие эту бомбу, не добьемся ее запрещения, мы подпишем смертный приговор себе в науке».

* * *

Открыв в самой действительности зарубежного мира тему высокой трагической напряженности, автор романа остерегается каких бы то ни было преувеличений. Он понимает, как повредили бы они большой правде, особенно необходимой в этом случае. Натан Рыбак избрал верный путь, до минимума воспользовавшись правом писателя на художественный вымысел. Почти за каждой сценой, эпизодом, высказыванием в романе угадывается свидетельство документов и мемуаров. Авторская сдержанность, однако, нисколько не ослабила драматизма событий, конфликтов, не сняла публицистического накала романа, как не помешала она и полному выявлению авторской позиции. Некоторое исключение в этом смысле представляет лишь образ Коллинза. Создавая его, автор проявил, пожалуй, излишнюю заботу о внешней занимательности. Подробности некоторых походов (в том числе и «амурных») Коллинза приносят в роман элементы безвкусицы.

Но чем глубже Натан Рыбак входит в духовный мир своих героев, чем меньше он озабочен внешней занимательностью, тем убедительнее идеи романа, тем значительнее созданные им характеры, образы. Особенно показателен в этом отношении образ Леона Фительберга. С каким волнением следишь за горькой повестью об этом изгнаннике фашистской Германии, его исканиях, душевных борениях и поистине героическом бунте против всемогущего бизнеса!

Иначе написаны страницы, посвященные советским людям. Жизненная природа «материала» и выдвинутая автором программа представляют широкий простор творческому домыслу, и автор умело пользуется им. Раскрывая внутреннюю логику истории великих открытий советской науки, он показывает, как советские ученые лишили Соединенные Штаты Америки монополии на атомное оружие, как они первыми в мире открыли широкие возможности использования атомной энергии в мирных целях, на благо человечества.

Конечно, и здесь автор опирается на документальные свидетельства, на труды советских ученых. Но главное здесь — не детали, а поэзия научного труда и, так сказать, его философия.

Наиболее полное выражение оптими-

стическая философия романа получила в образах Федора Шульги и Максима Нерчина. Учитель и ученик — они представляют два поколения советских ученых, вооруженных марксистским мировоззрением. Материалистическое учение о природе, ленинское утверждение о неисчерпаемости атома освещают им путь научных поисков, у народа и партии ищут и находят они поддержку в самые трудные минуты своей деятельности.

В образе Максима Нерчина запечатлены лучшие черты того поколения, которое одержало победу в войне с гитлеровской Германией, а после победы восстанавливает и развивает экономику и культуру советского государства. Автор сумел глубоко раскрыть внутренний мир героя, черты характера, которые делают его новым человеком нашей неповторимо новой жизни.

Критика еще не один раз вернется к образам молодого поколения советских ученых, выведенных в романе. Можно предполагать, однако, что некоторые поступки и мысли героев будут приняты не без возражений. Натан Рыбак не всегда верен логике характеров. Его Катря Золотаренко — умная и волевая, честная и сердечная — временами обнаруживает неожиданные колебания. Особенно сказалось это на изображении ее отношений с Максимом Нерчиным. Не потому ли это произошло, что автору захотелось усложнить любовную линию в романе, чтобы непременно дотянуть ее до последних страниц?

Серьезные сомнения вызывает самая возможность пребывания профессора Кузевича в среде ученых-атомников: слишком уж мелок и ничтожен этот человек.

Нельзя не отметить и еще один недостаток, особенно осязаемый там, где самая тема требует точности и глубины мысли. Я говорю о склонности автора к выпяченным декламациям, на первый взгляд, броским, а на самом деле в холостую стреляющим приемам не творчески использованной плакатности. Вот, например, портрет американского империалиста: «Лицо Гульда было хищно и уродливо. В его глазах горела негаснувшими всполохами такая мстительная злоба, что, кажется, одним взглядом своим он мог испепелить все человечество. Он удовлетворенно скалил клыкастые редкие желтые зубы. В свои семьдесят лет он сохранил их и не раз смеялся над вставными челюстями своего адвоката Коллинза. Эти зубы напоминали теперь Коллинзу волчью пасть».

Риторично иногда и повествование о положительных героях. Досадно встречать риторичность в романе, написанном богатым, полновзвучным и ярким языком, верно переданным в отличном переводе Б. Турганова.

Новизна темы (до сих пор разрабатывавшейся преимущественно писателями-очеркистами и фантастами), художественные достоинства романа «Пора надежд и свершений» уже завоевали ему широкую популярность у читателей. Два многотиражных издания (на украинском и русском языках) немедленно исчезли с полок книжных магазинов. Можно не сомневаться, что ус-

пех этот не будет кратковременным. В романе затронуты действительно современные, серьезные и поистине общечеловеческие проблемы.

М. Пархоменко

ТРУДНОЕ ЛЕТО РОМАСА СТАУГАЙГИСА

Ю. Марцинкявичюс. Сосна, которая смеялась. «Дружба народов» № 8. 1962. Авторизованный перевод с литовского Ф. Дектора.

«Сосна, которая смеялась» — первая повесть молодого литовского поэта Юстинаса Марцинкявичюса, известного поэмами «Кровь и пепел», «Двадцатая весна».

История молодого живописца Ромаса Стаугайгиса, переживающего сложный духовный кризис, преподнесена в форме страстной исповеди, психологически насыщенного рассказа о том, как круто меняется сознание юноши, взгляд его на прожитое, на искусство, на творчество, на взаимоотношения с человечеством.

Герой Ю. Марцинкявичюса, к счастью, не из тех примитивных «интеллектуалов», весь жизненный поиск которых кончается лишь пестрой косыночкой на шее и модернистской бородачкой — «тщеславие имя твое, борода!» Духовный мир Ромаса несравненно глубже. Юноша ищет себя, стремится познать суть вещей, постичь истину. И при этом ничего не брать из чужих рук — все самому, только самому! Сомнения и ошибки в нем сидят плотно, тесно, как зерна в гранате — отколупнешь одно, и повредишь целое, закровоточит алый сок... Но задача писателя — добраться до самой сердцевины образа.

Ромас попадает в трудную жизненную переделку. Это лето чуть ли не каждый день приносит ему все новые и новые неожиданности, в конце концов юноша вынужден признаться: «Жизнь, не считаясь с моей философией, больно трахнула по голове»...

Ромаса не увлекает «ползучий» реализм. Он твердо уверен, что стоит только захотеть, и мысль его поднимется в такие выси, с которых откроется «головокружительная бездна знания», еще не доступная другим; существует только знание — «единственное магнитное поле», властно зовущее к себе. Проглотив уйму книг, Ромас убедился, что знает неизмеримо больше своих сверстников. Сладкое чувство превосходства кружит голову, опьяняет, заставляет юношу вытаскивать из библиотечной пыли давно обветшавшие натурфилософские теориейки, набивать этими «находками знания» «всегда пустые и жадно оттопыренные карманы молодого человека». Сочиненный Ромасом реферат «о закате цивилизации» кажется ему потрясающим открытием. А поскольку «закат», то судите сами, какие краски должны доминировать в палитре

мыслящего художника! Дипломная работа Ромаса — «Триптих чисел», начинающийся с «разрозненного хаоса цифр... их фантастического и непонятного движения, лишённого какого-то организующего начала», постепенно переходящий в «красочный движущийся спектр», рассчитан, разумеется, на большого любителя. Нечего и говорить, что триптих не снижал ожидаемых восторгов. Не принесла молодому художнику удовлетворения и поездка на практику. Много ли проку, рассуждает он, в этих разъездах по стране, «переться за тысячи километров в поисках целинных земель, когда в душе у каждого лежит такая целина»...

И все-таки герой повести, со всеми его метаниями, заблуждениями, человек обаятельный. Не могут не тронуть его пылкий ум, талантливость, склонность к самоанализу, к постижению неизведанного, способность и неизменное желание анализировать. У него острый, цепкий глаз художника, к постижению неизведанного предметов выхватить определяющее, главное; форма, цвет, оттенок — все особым образом преломляется в его видении.

Сложность мироощущения Ромаса тонко подметил институтский руководитель Навицкас: «У каждого человека, учит Хемингуэй, есть своя рыба. Твоя рыба, насколько я смыслю в этом деле, очень большая и очень хитрая. Она водит тебя за нос... Автор подводит нас к мысли: то лучше, что есть в натуре юноши, побеждает, не может не победить. Сама жизнь помогает молодому художнику поймать его «большую и хитрую рыбу»... Беспощадная правда, которую высказывает Ромасу своенравная Юле, неудачи на практике, отчужденность отца — все это не проходит даром. Все острее ощущает юноша неудовлетворенность собой, свой «комплекс неполноценности», расширяется и углубляется трещина в его философии. А затем — тяжелая ссора с Юле, ее бегство, разрыв с друзьями, приверженцами его таланта, полное одиночество. И самое страшное — смерть отца... Дневники отца, где каждая строчка рождает боль, тоску и раскаяние... (Мне думается, автор даже несколько жесток по отношению к своему герою: кто знает, будь в повести поменьше всякого рода «неожиданностей», не стало ли бы развитие характера более психологичным, более достоверным).

Многозначительный символический дождь в финале повести, смывающий «с улиц грязь, пыль и мусор», надо полагать, уносит мусор и из души Ромаса. По крайней мере он «дочиста выскреб палитру, в которую глубоко ввелись темные, злые краски», и «выдавил из тюбиков на чистую палитру целую радугу новых красок»...

Происходит перелом в сознании Ромаса, его «выпрямление». Об этом нелегком процессе писатель рассказывает нам устами своего героя.

Устами героя... В этом, пожалуй, самая большая сложность, которую предстояло писателю преодолеть. Сам Ромас должен

рассказать нам о своих ошибках и заблуждениях, но рассказать так, чтобы мы все время ощущали развитие характера, чтобы поверили, с одной стороны, в твердость его убеждений, а с другой,— увидели бы всю их несостоятельность, чтобы поняли перемены в его сознании задолго до того, как поймет он их сам. Художническая задача исключительной трудности. И Ю. Марцинявичусу далеко не всегда удается с ней справиться. Первые же «самоуличения» Ромаса настолько очевидны и категоричны, что последующие крутые обстоятельства, призванные существенно повлиять на его мировоззрение, местами кажутся уже вроде бы как и излишними. Уже в споре со своим коллегой Галюнасом, ярким противником «предзакатного» реферата, наш герой мысленно признается: «Галюнас явно унюхал, где пахнет жареным и... вынуждал меня одну за другой открывать все свои карты. А у меня на руках были только черные карты — с одной мастью не очень-то играешь. Только черные. Понимаете, я не мог дать ему в рыло и уж совсем не мог признаться, что в чем-то он все же прав...» И это — в самом начале повести. Как же Ромасу защищать свои убеждения дальше — с таким явным пониманием безысходности собственных теоретических посылок! Выходит, что самое существенное в его эволюции произошло раньше, чем автор познакомил нас с Ромасом? Картина нравственного обновления героя получается отчасти смазанной.

Стоит Стаугайтису «серьезно схватиться с кем-нибудь», как его «аргументы разлетаются, словно пух одуванчика от первого сильного порыва ветра». «Разумеется,— замечает он,— за мной еще остается право презирать противника, однако от этого я ни чуточки не становлюсь сильнее»... Значит, юный художник не так уж безнадежен, как его решил представить нам автор, значит, Ромас чувствует и понимает гораздо больше, вопреки декларациям автора.

Мысли совершенно разумные, ничего общего не имеющие с его философией, высказывает Ромас и во многих других случаях. Вот он пьет пиво с рабочими парнями, говорит одному из них о своих картинах,— и тут же: «Мне стало не по себе, оттого что нечего показать этому славному парню». Вот Ромас в крестьянской избе: «Мысленно я перебрал все свои работы и не нашел ни одной, которую эта женщина повесила бы в своей чистой горнице рядом с образом и старомодной семейной фотографией»...

Какой же реальный выход для себя видит герой, творческая практика которого расходится с его признаниями? Послушаем его. «Я стоял и бранился про себя... Знаешь, что я с тобой сделаю?.. Потычу носом — и непременно в то самое место, куда ты только что плюнул...» Чтобы почувствовать «свою никчемность», Ромас предлагает себе самому побывать в «большом цехе железобетонных конструкций», чтобы понять свою холодность, нужно посмотреть на «кипящую в доменных печах сталь». Можно еще «постоять возле электронной счетной машины», — это уже для того, чтобы осознать, «какой же ты все-таки дурак»... Если бы таким простейшим образом можно было исправлять человечество! Тогда эти экскурсии следовало бы проводить в массовом порядке... Согласно этим рецептам молодая пианистка Юле в целях познания действительности меняет рояль на ткацкий станок (прав А. Макаров, который в «Литературной газете» назвал эту ситуацию «натяннутой»).

Писатель все целиком передоверил своему герою, как бы лишил себя самого права голоса. Не потому ли в обрисовке некоторых персонажей, отраженных в восприятии Ромаса, чувствуется определенная условность, гротескность, снижающая реальность происходящего (взять хотя бы поэта Мешкайтиса, который, как шедринский Органчик, весь выложился в двух-трех односложных фразах: «На помойку эту маэню!» «В Лувр! В Лувр его!»).

Таковы достоинства и недостатки воплощения этой своеобразной повести.

Эмоционально живущий, мыслящий герой заставляет серьезно мыслить и читателя — спорить, соглашаться, самому искать верных решений. Неоспоримое достоинство повести в том, что она воссоздает процесс человеческого мышления, его динамику, диалектичность. Разговор с героем, человеком интересно и своеобразно мыслящим, можно вести до бесконечности... До «бесконечности», которую теперь так ненавидит повзрослевший Ромас: «Тесно в бесконечности, понимаете?.. Со всех сторон давит стальной панцирь бесконечности... Тесно в самом себе...» Юноша «разносит вдребезги панцирь, что было натянул на себя, он просит: «Не оставляйте больше меня одного в этой бесконечности...»

Ромас выходит к людям, к жизни, к подлинному творчеству — к читателю.

Л. Попова



Поиски и находки

Ал. Лесс

«Дружная орда»

Прошлой зимой в подмосковном Доме творчества писателей в Малеевке я познакомился с вдовой литератора Алексея Селивановского Татьяной Яковлевной Зорькой.

Разговорившись с ней, я сказал о давнем своем увлечении иконографией писателей.

— Навестите меня в Москве,— сказала Татьяна Яковлевна.— Я покажу вам большую коллекцию интересных фотографий.

Недавно я побывал у Зорьки. Старая коммунистка любовно хранит большое собрание фотографий, иллюстрирующих период становления советской литературы, и в их числе — вот эту, впервые публикуемую.

На снимке (слева направо) запечатлены Алексей Селивановский, Борис Горбатов, их друзья Михаил Диманштейн и Григорий Баглюк — донбасский поэт, строки из стихов которого Горбатов впоследствии поставил эпиграфом к своей первой повести «Ячейка».

Алексей Селивановский принадлежал к замечательной плеяде советских писателей коммунистов и являлся видным деятелем нашей литературы. Он был одним из

секретарей Российской Ассоциации пролетарских писателей; его перу принадлежит множество критических и теоретических статей по истории русской советской поэзии.

В двадцатых годах А. Селивановский работал в Донбассе. Он был организатором и первым председателем одной из старейших писательских организаций, Союза пролетарских писателей Донбасса «Забой», и редактором журнала, носившего то же название. Ядро «Забоя» составляли сотрудники и рабкоры газеты «Всероссийская кочегарка». Из этого ядра и вышли писатели Борис Горбатов, Михаил Тардов, Павел Беспощадный, Александр Фарбер и другие.

Эта фотография была сделана в 1925 году. Уже в то время Борис Горбатов мечтал о большой литературе, стремился стать писателем. Алексей Селивановский сумел отгадать в нем незаурядный талант, был его другом и наставником на первых литературных шагах.

Однажды друзья из «Забоя» решили сфотографироваться на память. На обратной стороне снимка, который остался у Се-



ливановского, семнадцатилетний Горбатов написал посвящение другу. Вот оно:

«А. Селивановскому.

На минуту (но только на минуту!) забыв «принципиальные» споры, пишу тебе «на память», как хорошему другу и товарищу, своему парню и человеку, который много сделал для того, чтобы из меня «вышел толк» (а вышел и выйдет ли, «как сказать?»).

И дни пройдут бурливой чередой...
И будешь ты с селою борою
На кресле у каминна восседать...
Но и тогда, потрясши борою,
Ты вспомни нас, что дружную

ордою
Хотели многое и нужное создать...
И об орде, что во главе с тобою
Крепила ночь в донбассовском

«Забое»,
Так хорошо нам будет вспоминать.

Бор. Горбатов»

Это теплое, дружеское посвящение дает почувствовать, как искренне и сердечно был привязан Горбатов к Селивановскому, как он любил его, с какой признательностью говорил о той роли, которую сыграл Селивановский в формировании «дружной орды» молодых донбассовских литераторов.

А. Селивановскому
На минуту (но только на минуту!)
Забыв «принципиальные» споры
Пишу тебе «на память», как хоро-
шему другу и товарищу, своему парню
и человеку, который много сделал для того,
чтобы из меня «вышел толк» (а вышел и
выйдет ли, как сказать?)

И дни пройдут бурливой чередой...
И будешь ты с селою борою
На кресле у каминна восседать...
Но и тогда, потрясши борою,
Ты вспомни нас, что дружную ордою
Хотели многое и нужное создать...
И об орде, что во главе с тобою
Крепила ночь в донбассовском Забое
Так хорошо нам будет вспоминать

Бор. Горбатов

Павел Подляшук

Рецензия, написанная прокурором

Две тоненькие книжки в скромных обложках из шершавого полукартонка: «Под красным знаменем. Сборник свободных песен. Выпуск 1-й», а за ним и «Выпуск 2-ой» появились в Москве в конце 1905 года. На книжках обозначено и издательство «Искра» (адрес: Тверской бульвар, против памятника Пушкину), и типография «Русский Труд» (Арбат, дом 59). И цена проставлена. Все, как положено.

Нет только ссылки на «надлежащее цензурное разрешение». Вот это-то обстоятельство — обход цензуры при печатании, а затем и при выпуске в продажу — и послужило причиной для привлечения «к следствию в качестве обвиняемого хозяина и ответственного лица книгоиздательства «Искра» — крестьянина Максима Леонова Леонова». Но нарушение цензурных правил было только поводом для полицейского и судебного преследования. Ярость властей вызвало содержание обоих выпусков — «48 стихотворений разных авторов на современные темы».

В Государственном историческом архиве Московской области я обнаружил судебное дело Максима Леонова. Интересна хранящаяся в нем «рецензия» на крамольный сборник, принадлежащая перу товарища

прокурора судебной палаты. По его мнению, многие из песен заключают в себе «призыв к бунту, ниспровержению существующего строя и неповиновению закону». Далее «рецензент» (к сожалению, фамилию его разобрать не удалось — подпись неразборчива) довольно подробно, на двух с половиной больших листах машинописного текста, излагает содержание бунтарских песен, «между коими особенно выделяются «Боевой марш», «Красное знамя», «Марсельеза», «Варшавянка» (польская революционная песня), а во 2-м выпуске: «Интернационал», «Памяти борца» и другие.

Читаем:

«Так в «Боевом марше» анонимный автор призывает товарищей «грудью проложить дорогу в царство свободы, поспешить в бой, выступить смело в битву с игом проклятой нужды, свергнуть могучей рукою гнет роковой навсегда и водрузить над землею красное знамя труда», не боясь «призрачной силы царей», ибо «все, чем их держатся троны, — дело рабочей руки, сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки...» В другом стихотворении Максим Леонов, — продолжает свой обзор товарищ прокурора, — зовет «измученный народ с красным знаменем в руках и проклятем на

устах, тем, кто кровь народа пил, кто на счет народа жил», «выйти скорее в бой, спасти свой край родной от неволи роковой»...

Чуть дальше сказано: «Уже названный Максим Леонов в своей «Песне кузнеца» (обращается) с призывом сковать из крепкой стали цепи для тех, кто много, много лет омрачал науки свет». После прокурорского «изложения» «Марсельезы» идет пересказ «Варшавянки».

И, наконец, вот как излагает усердный автор обвинительного заключения помещенную в сборнике песню, которой суждено было стать могучим гимном коммунистов:

«Интернационал», зовущее — «проклятием заклейменный весь мир голодных и рабов» — на последний и решительный бой за освобождение, ибо «никто не даст им избавления, ни Бог, ни царь и не герой»...

Обратите внимание на это словечко «им», вписанное в контекст взамен «нам». Прокурорская стыдливость переборолла прокурорскую дотошность: цитата искажена.

Выводы, которые сделал товарищ прокурора, мы уже знаем: издатель — бунтовщик и подрыватель основ, а посему... «подлежит суду Московской Судебной Палаты, с участием сословных представителей».

Из того же архивного материала явствует, что обвиняемый Максим Леонов и ранее находился под особым надзором полиции, что за ним числилось еще два дела в Судебной палате и одно дело в производстве у судебного следователя.

Кто же такой Максим Леонов?

Известный Максим Горемыка — одаренный поэт-самоучка, автор популярных в те годы стихов, общественный и литературный деятель — председатель Суриковского литературно-музыкального кружка, объединявшего народные таланты.

Вместе с другом своим и единомышленником Филиппом Степановичем Шкулевым, автором широко известных «Кузнецов», Леонов основал и вел прогрессивное издательство «Искра».

В списке изданий Леонова и Шкулева числятся «Пауки и мухи» Вильгельма Либкнехта, «Собственность — кража!» Прудона и тому подобные книги, не очень-то радовавшие московскую полицию и жандармерию.

Стоит ли удивляться, что при первой возможности власти прихлопнули книгоиздательство. Когда это случилось? Точной даты я не установил. Могу лишь сказать, что в справочной книге «Вся Москва» на 1908 год издательство «Искра» уже не значится.

Что же касается судьбы Максима Леонова, то об этом свидетельствует он сам. В письме М. Леонова к другу-поэту Спиридону Дрожжину говорится: «Судили несколько раз: по первому делу дали 1 год крепости, по второму 1 г. 2 мес. и, наконец, 1 год 8 мес.».

Максим Леонов четырнадцать раз привлекался к ответственности за выпуск «недозволенных» книг и брошюр; в тюрьме он просидел около двух лет (с начала

1908 года до начала 1910 года). После этого он непродолжительное время сотрудничал в газете «Раннее утро», но вскоре по предложению полиции покинул Москву. М. Леонов «выбрал» Архангельск, где организовал газету «Северное утро». Он так и остался в Архангельске до самой своей смерти (1929 год), в советское время был журналистом. К этому можно добавить, что в 1913 году в Архангельск был выслан и Филипп Шкулев. Но он пробыл там недолго.

Вернемся, однако, к сборнику «Под красным знаменем».

...Жандармы, изъяв из типографии книжку, приобщили ее к делу в качестве вещественного доказательства. Однако пачки изъятых книжек получились на удивление тоненькие — «заарестовать» удалось лишь 196 экземпляров первого выпуска да 257 — второго.

Где же остальные? Ведь по полицейским сведениям каждый выпуск печатался тиражом не менее пяти тысяч экземпляров.

— Остальные, — развел руками Максим Леонов, — разошлись...

Их успели вовремя вывезти из типографии.

«Крамольный» сборник сохранился в фондах Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина.

И вот книжки на моем столе. Да, «прокурор-рецензент» тщательно изучил материал и довольно точно оценил взрывчатую силу «Свободных песен».

Обнаружились и пробелы рецензии. Так, не помняты ни стихотворение Тэффи «Пчелки», ни стихотворение без названия К. Бальмонта. Видимо, искусственный товарищ прокурора понимал, что их гремящие строки не что иное, как дань моде со стороны этих «порозовевших» в 1905 году писателей.

Удивляет другое. Как это в обвинительное заключение не попало стихотворение нашего Максима Горемыки «Памяти борца» (Н. Э. Баумана)? Приведу лишь последнюю строфу:

В дни движения народного
С нами нет тебя свободного.
Мы над раннею могилою
Вдохновимся новой силою.

На этом бы и следовало закончить заметку. Но я решил показать написанное Леониду Максимовичу Леонову, сыну поэта и книгоиздателя-«бунтовщика». Что известно Леониду Леонову о рассказанном выше? Писателю было тогда совсем мало лет, но в памяти запечатлелось, как отец подарил ему новенькие книжечки с песнями, а дня через два — отобрал подарок. Почему? Объяснение пришло ближайшей же ночью: резкий свет, шум разбудили всю семью. Полиция явилась с обыском, искали крамольные книжки. А потом отца арестовали...

— Да, дело происходило глубокой ночью, — напоминает писатель. — Картину всю эту вижу, и людей, и комнату, а окна в памяти не остались. Значит, была ночь.

КРАСНОЕ КРЫЛАТОЕ СЛОВЦО

МОСКОВСКИЕ АНТИКВАРИИ

Антиквариат — сфера жизни, в которой ярко выражаются страсть к искусству и различным его проявлениям. Страсть, переходящая в беспокойное неутомимое искание.

Антикварный рынок собирал возле себя ученых, меценатов, просто любителей и барышников всевозможного типа. Благодаря пестроте своего состава он был очень колоритен.

По воскресным дням антикварианты, как и букнисты, собирались на старой Сухаревке. Старая традиция — потолкаться, побродить по базару в праздничный день — собирала здесь самых разнообразных людей. Полный типаж всей Москвы — от «хитрованца» до «оцилиндренного» барина. Универсальный выбор товаров — от головки репчатого лука до хорьковой шинели с седым бобровым воротником. Все и всё...

Длинными ровными рядами тянутся антикварные палатки: бронзовые люстры и канделябры, портреты неизвестных героев и героинь в различных позах и костюмах, широкоствольная пищаля, треснувшая фарфоровая чашка, мраморная грация без ног, цветная гравюра в голубой бумажной рамке, бусы, сарафаны времен боярыни Морозовой и треногое кресло из карельской березы. А около них, во всю длину ряда, сплошная лавина любителей и любопытных.

В палатках продавцы — солидные и гордые или юркие и услужливые, в зависимости от своего авторитета и покупных способностей прохожего. У крайней палатки, сплошь увешанной крестами, иконами и лоскутьями парчи, — большой колокол на веревке. Здесь торгует староста ряда И. М. Груздев, известный коллекционерской Москве как большой чудак. Он по первому взгляду определял покупателя. Бывало, подойдет к нему какая-нибудь фигура и спросит:

— Редкости есть у вас?

— Как же, сколько хотите, я сам и то редкость...

— Почему же?

— Нос у меня большой, похож я на армянина, а сам русский. Чего еще желаете?

Антикварианты располагались и в Леонтьев-

ском переулке, и на Никольской улице, и у Китайгородской стены. В Леонтьевском — универсалисты по пестроте и ценности товара, на Никольской — иконники, а у Китайгородской стены — книжники и бытовки.

...Двухэтажный домик в Леонтьевском переулке, с маленькими зарешеченными оконцами в нижнем этаже. Сквозь мутные стекла видны мраморные вазы, бюсты, екатерининские подсвечники, шлем французского рыцаря и заспанный блаженствующий кот. Невзрачная парадная дверь ведет в это хранилище. Небольшая дощечка с надписью — «Антиквар Ерыкалов». На звонок к двери подходит невысокий шупленький старичок, который, посмотрев на вас в щелку, в зависимости от настроения может или впустить вас, или просто крикнуть: «Ерыкалова дома нет!» Это и есть владелец и безотлучный жилец магазина. Но если уж вас впустили, то глаза у вас разбегаются. От пола до потолка все помещение заставлено и завешано.

Пройти негде, можно только проскользнуть боком. Растеряется даже опытный покупатель. Направо крохотная жилая комната. Приглашение в нее особая честь, которой удостоиваются немногие. В ней замечательно все — остатки обеда на столе, неизвестного назначения флаконы без пробок с трагически погибшими в них от истощения мухами, коробочка из-под ваксы, сухой лимон и подлинная севрская чашка. У стены кровать со странным, непривлекательного вида матрасом. Вместо перины хозяин употребляет снятые с подрамников редкие экземпляры картин крупных мастеров. На складе не хватает места.

Возле Китайгородской стены летом и зимой, в жару и в холод можно было встретить одну и ту же фигуру. Полный, с маленькой остроконечной бородкой человек лет пятидесяти в мешковатом костюме и толстом драповом пальто. Это Сырейшиков, антиквариант, торгующий с квартир своих знакомых или из чужой лавки. Всем известно, что он носит одновременно по две пары брюк, по три жилета и по два сюртука. Спит не раздеваясь. Множество бумаг, вещей и денег

запрятано по многочисленным карманам. Он несостоятельный должник, которого одолевают кредиторы и судебный пристав. По существовавшему тогда закону описать можно было только то, что не было надето на задолжавшем. Поэтому Сырейщиков носил все свое состояние при себе. В знойную июльскую жару он страдал невероятно. Иногда скучающие торговцы любили над ним подшутить. Поили его вскладчину вином, ядрили поверх костюма в вывернутую мехом наружу шубу или в кокошник с сарафаном и уговаривали в таком виде сплаться. Скупой, уверявший всех в своей бедности горе-купец соглашался на все.

На «развале», около той же стены, торговал еще один интересный антикварий по фамилии Иконников. Не знаю почему, но известен он был под прозвищем «завитушка». По виду серьезный, деловой человек. Продавал всегда невероятную дрянь или обломки, каким-то чудом находя на них покупателя. Кроме предметов старины предлагал иногда желающим приобрести «омолаживающую жидкость», которую носил в грязной тряпиче за пазухой. Пациентов оказывалось немало. Чаще всего это были какие-то старые чиновники в полинялых пальто или пенсионеры из богаделен. Иконников был известен еще тем, что никогда не давал сдачи. На сдачу предлагал метнуть кости. И метал, пока не выиграет. Прощаясь с покупателем, деликатно говорил:

— Заходите, пожалуйста, еще раз, может, и ваша возьмет!

Очень популярными столичными антиквариями считались Марья Александровна и Николай Сергеевич Кокурины. Большие знатоки редкостей, Кокурины старались придать своему магазину музейный характер, классифицируя товар по отделам. В их деле преобладал любительский принцип, продаваемые вещи не расценивались дорого и регулярно подбирались для определенных коллекций. Кокуриными было почти полностью составлено известное «Морозовское» собрание фарфора, прекрасная галерея видов, типов старой Москвы и удивлявшая иностранцев коллекция табакерок. До антикварной торговли Кокурин был профессиональным музыкантом — скрипачом, поэтому остряки за глаза говорили:

— На высокой ноте Морозов у него по смычку поет, — голова Кокурина, а деньги купечские...

Говоря об антиквариях, нельзя не сказать несколько слов и об оригинальных покупателях. Это обычно были люди, располагавшие временем и средствами. К ним примешивались, по выражению антикваров, многочисленные «букашки», малоимущие любители старины.

Посещал Н. С. Кокурина один загадочный пожилой покупатель из провинции. Одет неаккуратно — потертое пальто, сапоги и картуз. Что, казалось бы, делать такой фигуре в магазине предметов роскоши? Фамилии не сообщал. Все пересмотрит, все потрогает, попросит лестницу, приставит ее к стене, взберется и начнет близко разглядывать картины. Пройдет много времени в молчании.

Спустится вниз, помолится на иконы и начнет отбирать лучшие вещи, проявляя изысканный вкус. Приобретет на несколько тысяч, а за вещами явится со своим человеком, который в его присутствии все упакует и унесет. Так и не узнали, кто он и откуда. Какой-то антикварный капитан Немо.

У одного из крупных московских антиквариев я не раз присутствовал при таком разговоре:

— Вы мне, моему опыту не верите, сами не понимаете, так зачем вы ко мне пришли? Идите и покупайте у вашего эксперта...

Это была типичная фраза самолюбивого, пользовавшегося популярностью антиквария — ответ покупателю, который просил доверить ему вещь для консультации с экспертом.

После этого антикварий всегда отбирал вещь и вежливо раскланивался:

— Я эту вещь уважаю, я постараюсь, чтобы она попала в руки к специалисту, который будет ее своим сердцем любить. Дискредитируется редкая вещь! — И вообще отказывался продавать ее.

В 1907 году антикварий из Нижнего Новгорода Н. В. Новосильцев рассказывал мне:

— Знаешь, дело какое антикварное — все на авторитете. Без большого развития, знаний и образования в это дело не суйся! А авторитет — по большой седой бороде. Возьми пуговицу оловянную, нашей ее на картон... Только хорошенько нашей, вежливо, чтобы и картон был хороший, и напиши: пуговицы от штанов Александра Македонского. Верно тебе говорю. Да еще укажи, где он ее потерял, где штаны эти от блох вытряхивал, почему и куда его блохи кусали. Поставь в витрину. Спросят, что за вещь? Поясни, и только с серьезной физиономией, а то и вздохни раз. Не более раза... не усмехнись! Виноватый найдется и... купит! Один не возьмет, так другой раскошелится. Деньги заплатит за твою серьезность, а больше за вид солидный. Статью еще в газетах напишет... Так, мол, и так: полководец-завоеватель, личность историческая, и его блохи ели, не боялись, океанские. Истребляйте, скажет, блох, изучайте древности, чаще в магазин заходите, мы и не то найдем, разберемся по всякой линии... А что думаешь: начнет чудак, что пуговицу купил, все, что к Александру Македонскому относится, собирать. Свои последние штаны продаст, а начнет с пуговицы. С ума сойдет! А все мы, антиквар-вары... Вот слово даю, что так! Самый большой, прости меня, грешника, плут — всем антикварам антиквар будет!

Надо отдать справедливость, копии и тонкие подделки играли значительную роль в антикварной торговле. Сбивали их, как правило, на праздничных уличных рынках, через комиссионеров. Личная, непосредственная продажа заведомой копии подрывала авторитет солидного антиквария, умаляла ценность его экспертизы, лишала его доверия клиентов. Поэтому совершали такие операции, по-антикварному «садили липы», под ручные, или «кони».

«Конь» — мелкий спекулянт, не имею-

щий самостоятельной торговли. «Ходил конь» на проценты от хозяина.

Однажды у антиквара Кокурина я познакомился с одним коммивояжером, представителем какой-то австрийской фирмы. Большой желтый портфель его был набит первоклассными копиями миниатюр на слоновой кости. На рамках красного дерева были следы червоточины, под слегка заплесневевшим стеклом лежала пыль. Бронзовые рамки местами потемнели и даже позеленели. Подлинник, хорошо сделанный подлинник. Учено было все, даже тонко подмеченная психологическая подробность, что покупатель-коллекционер любит не только приобрести вещь, но и поставить себя в роль некоего ее защитника — «спасителя» от варварского, неаккуратного обращения с ней. «Спасение» это обычно заключалось в снятии пыли, протирке стекла, приведении в порядок металлических украшений и т. п. Здесь, таким образом, к услугам любителя имелся полный ассортимент духовных радостей: и хорошая заграничная пыль, и пятна на стекле, и окись металла. На языке рыночных или «прохладных» антиквариев продажа подделки выражалась фразами: «погладить доброго человека по душе» или «поцеловать в сердце». Внешние же достоинства какой-либо вещи определяли: «двадцать четыре радости» или «умная работа на большие мозги». На обороте рамок, для большего эффекта, на товаре австрийца были подклеены остатки старых рукописей и какие-то загадочные номера крупных собраний с печатями «гербовых» владельцев. Бойкий комми так и сыпал именами петербургских, московских, киевских и одесских антиквариев, пользовавшихся услугами его фирмы. К чести Николая Сергеевича Кокурина надо сказать, что от подделок он наотрез отказался. Со следами поставок заграничных фальсификаторов я сталкивался в антикварных магазинах и в последующие годы.

В 1913 году среди московских антиквариев и перепродавцов старинных вещей пользовался большой популярностью художник-живописец и реставратор Е. М. Д. Его знали и ценили как «хитрого починщика» и своего человека. Как-то один из торговцев подшутил над ним:

— Все ты, М. Д., дыры заклеиваешь, где что и припишешь, а вот Рембрандта не сочинишь, не сделаешь...

Как ни странно, эта шутка задела самолюбие мастера. Ходил он задумчивый по московским улицам, вглядываясь в физиономии прохожих. А через несколько дней сфотографировал какую-то почтенную женщину — модель для будущего «Рембрандта». И почти на месяц скрылся. А потом явился к шутнику-антикварию и продемонстрировал ему «произведение мировой живописи, шедевр великой кисти».

— Черт знает что такое, — восторгался антикварию, — не верю, что ты делаешь! И кракелюры и холст старые, и починочка на фоне по темному лаку... Промыл по старому? Да и манера похожа на Рембрандта...

— Сидел дни и ночи, — отвечал М. Д., — каждый мазок прочувствовал и пережил... С ума чуть не сошел... С холстом столько мучился, зерно под Рембрандта подбирал... Еле нашел...

Решили все же проверить первое впечатление, показали «Рембрандта» специалистам Петербурга. Те сгоряча не только признали за подлинник, но и зашумели о нем. Это было лишним. И «Рембрандт» был спрятан. Поискали его, поискали коллекционеры и успокоились. Продали произведение М. Д. тайком за границу, где оно, вероятно, и сейчас красуется как произведение великой кисти в одной из коллекционерских галерей.

— Проучили иностранцев, — смеялся талантливый рембрандтист, — очень уж любили они всякие ценности из России увозить... Много подобрали! Пусть и М. Д. в галерее повисит.

Встречая художника, я напоминал ему о его проделке.

— Пора забыть, — говорил он, — чего не бывало!

* * *

Чего только, бывало, не услышишь на антикварном рынке!

— Натуральный покупатель — кто более молчит, про себя смекает, цену скажет и вздохнет, когда за деньгой в карман соберется...

— У него не коллекция, а тарарабумбия — всякой дряни по лопате...

— Думал яичко в два желтка, а оно без одного — болтулец. Захотел дурак у меня натурального Репина за два с половиной купить. Ну и влип... А мне что?.. Дурака если не учить, он дураком и помрет! Спасаем человека!

— Покупатель что панорама, найди дырку и поглянь в нутро, чем он дышит...

— Не покупатель, а уомрачитель...

— Купит на рубль, наврет на два, еще на полтину нахвастает, а с тебя сдачи...

— На кобылий хвост он покупатель и жеребцу приятель. Ему твое кресло и не надобно... Треплетесь под интеллигенцию...

— Это тебе не продавец, а чесотка: зудит крепко, известь изведет, туман наведет, а смерти не даст...

— У него товар лапанный, через семь смертей прошел, жить остался, к тебе за спасеньем стучит...

— Пользуйтесь моей простотой и крайностью, нате, берите, для вас и берег!.. Больше ни для кого и никому и не показал!

— Я, мадам, антикар со времен Ивана Великого! Через мои руки сорок сороков прошло. Не какой-нибудь «верти-крути». Если что посоветую, то верить надо.

— Ищет канделябр павловский... А что павловский значит?.. Три козла с рогами золоченые, да от шандала подставка, да лампа керосинная с фитилем. Пашка сделает и вызолотит... Мы какую хочешь стилоу для ветрогона сочиним...

О ЛОГИКЕ, ФУТБОЛЕ И СТРАСТИ К ПЕРЕМЕНАМ

Размышляет наш спортивный обозреватель

Алексей Флеровский

ТРАГЕДИЯ «КАЙРАТА»

Это уже термин. Термин, определяющий не только специфическое явление отечественного футбола. На «трагедию «Кайрата» сошлутся еще не раз, когда речь пойдет о чем-то уж очень несурзном в делах спортивных.

Помните, как, взбираясь по крутизне «футбольного Олимпа», алма-атинцы почти добрались до его сияющих вершин и вдруг снова оказались у подножия?

До самого финиша чемпионата когда-то скромный «Кайрат» бился на равных с «сильными мира сего», а истощив силы, не смог уже одолеть и заведомо слабых. Истинно спортивный подвиг завершился трагедийной развязкой.

Очки, отобранные «Кайратом» у лидеров — участников финальной пульки, в зачет не шли. Учитывались лишь ничьи да поражения от аутсайдеров — соседей в «утешительных» играх.

Так «золото», добытое большой кровью, обернулось фальшивой монетой.

Выходит, зря старались алма-атинцы? Зря совершали они свой подвиг? Возьми они на вооружение формулу — бей слабых, уступай сильным, не было бы трагедии. Но и — подвига. Зато было бы место не в хвосте турнирной таблицы, а в ее «золотой середине».

Взлет «Кайрата» — свидетельство силы молодой команды. А падение? Падение порождено системой розыгрыша. Впрочем, система эта могла бы вызвать к жизни парадоксы и похлеще.

Что лучше — выиграть или проиграть? Казалось бы — дурацкий вопрос. Оказывается — не торопитесь. Есть случаи, когда выгоднее проиграть.

Вот над такой, казалось бы, абсурднейшей дилеммой пришлось бы ломать голову тренеру столичных армейцев Константину Бескову, играй его команда свой последний в предварительных состязаниях матч в Ростове-на-Дону.

Победишь — в финальную пульку попадет «Кайрат». Тогда прости-прощай сразу три «золотых» очка, отобранные у армейцев алма-атинцами на старте. Проиграешь — ли-

шишься двух «золотых». Тут уж простейшая арифметика — три или два. Вот оно, то самое — «выгоднее проиграть».

Система розыгрыша трех минувших футбольных чемпионатов была рождена в ожесточенных спорах. Отнюдь не все разделяли оптимизм руководителей Федерации футбола. Правда, все были согласны — реформа нужна. Но какая реформа?

Сейчас уже можно подвести итоги эксперимента.

Начнем с его главного плюса: расширилась география большого футбола. И как результат этих «географических» преобразований, закалились во встречах «на высшем уровне» такие интересные по своему игровому почерку футбольные ансамбли, как «Пахтакор», «Кайрат», «Авангард», ереванский «Спартак». Появилась целая плеяда молодых одаренных «солистов», извлеченных из недр класса «Б», куда до сей поры довольно редко обращали свои взоры государственные тренеры.

Но разве решают проблему лишь с точки зрения географической? Уже при рождении новой системы нельзя было назвать стройной. Недаром каждый год она подвергалась модернизации. Модернизировалась и... ухудшалась. Попросту говоря, в ней латали дыры. Сначала установили всего лишь 6 финалистов, потом их стало сразу 12. Сперва не было зачета «золотых» очков в предварительных матчах, и столичным торпедовцам пришлось по существу дважды доказывать, что они достойны звания чемпиона. Потом появился «золотой» зачет, и любой участник чемпионата мог оказаться в незавидном положении футболистов из Алма-Аты.

Столкнулись болельщики и с таким, порожденным новой системой розыгрыша, неприглядным явлением, как «футбольные поддавки». Отнюдь не случайно на иных матчах зрители не заполняли даже одной трибуны. А то и о матчах целого тура можно было заранее сказать: «Спортивного интереса не представляют...»

Вот, скажем, в Москве на финише предварительных состязаний встретились столичное «Динамо» и торпедовцы из Кутаиси. Москвичи выставили против южан экспери-

ментально-тренировочный состав. Играли хозяева поля из рук вон плохо. Но, потерпев поражение, покидали поле такими бодрячками. Во всяком случае, уныния среди «белоголубых» что-то заметно не было. Оно и понятно: динамовцы не играли, а «отбывали службу». Они давно уже обеспечили себе место в финальной пулке, а футболисты Кутаиси утратили всякие возможности попасть в нее. Любой исход поединка не давал соперникам ни очка.

Динамовцы «отбывали службу»... А много ли радости принес такой матч зрителю? Стоило ли ему вообще появляться на трибунах динамовского стадиона?

ПРОЩАЙ, «ЗМЕЙКА»!

Никто не назовет руководителей Федерации футбола консерваторами. «Модернизация» — это, пожалуй, самый модный термин в делах футбольных.

Вот и сейчас, когда пишутся эти строки, «вызрел» еще один проект реконструкции структуры футбольных чемпионатов.

Впрочем, будем справедливы. На сей раз новый проект появился на свет божий не просто от неукротимого стремления что-то ломать, менять, модернизировать. Уж слишком суров был критический обстрел Федерации с газетных полос и трибун стадионов. Что же это такое — «новая новинка»?

Кажется, болельщик может вздохнуть облегченно: нет здесь и намека на «предварительный зачет», «финальную пулку» и сомнительной ценности «золотые очки». Соответственно исключена жеребьевка «змейкой», которая, по мысли тех, кто ее придумал, эту чудодейственную «змейку», способную будто бы из команд разной силы сотворить две идеально равноценные подгруппы.

Пороха наши уважаемые футбольные стратеги и на этот раз не выдумали. Но, признавая правоту критиков, вернулись к старому, отнюдь не отжившему. Вернулись, пожалуй, к самой верной и единственно справедливой в спорте оценке сил соперников — матчи в два круга, и каждый играет с каждым.

Предполагается, что теперь в классе «А» будет уже не 24, а 34 команды. Цифра устрашающая. Но не пугайтесь. Звание чемпиона, серебряные и бронзовые медали будут оспаривать лишь первые 17 команд. Они-то по существу и составят нашу высшую лигу.

Что ж, предложение разумное. 17 команд экстра-класса (не международного, а национального экстра-класса) — это, наверное, довольно точное отражение добротности нашего клубного футбола. Заведомо сильных и безнадёжно слабых — безропотных поставщиков очков фаворитам — здесь не будет.

Вот только как отобрать эти 17?

В финальной пулке минувшего года было 12 коллективов. Все они, конечно, по праву должны занять место в высшей лиге.

Ну, а еще пять недостающих?

Тут принцип естественного отбора, пожалуй, не очень-то годится, а отбор искусственный явно несправедлив.

Как быть с футболистами «Кайрата» и «Беларуси»? Ведь в том, что они замкнули турнирную таблицу, не их вина, — системы.

СКАЗАЛ «А», СКАЖИ И «Б»

В недра нашего класса «Б» заглянуть не так-то просто. Для тех, кто считает себя знатоком «большого футбола», наша вторая лига — «terra incognita»: неведомая страна со своим уставом и своими законами.

На мой взгляд, структурное несовершенство класса «Б», его многоликость и разношерстность — это одна из главных причин многих больших и малых неурядиц и в нашей высшей лиге.

В самом деле, в классе «Б» ныне что-то около 170 команд. Естественно, что среди этих ста семидесяти есть коллективы, почти созревшие или даже созревшие без «почти» для высшей лиги, а есть и такие, которым для восхождения на верхние ступеньки футбольной пирамиды требуется еще с добрый десяток лет. К примеру, взгляните на таблицы зональных первенств класса «Б» в Российской Федерации. В первой группе ее лидер — ленинградский «Спартак» — за 7 туров до финиша одержал 17 побед, забил 48 мячей, а пропустил всего 13. Это — лидер. А вот аутсайдер группы, петрозаводский «Онежец», за те же туры умудрился лишь в 3 матчах выиграть, а в 16 проиграть.

Вторая группа. У воронежского «Труда» 16 побед и лишь одно поражение. Зато 3 победы и 14 поражений — у орловского «Локомотива».

И еще один пример, заимствованный уже из четвертой группы. Здесь лидер, свердловский «Уралмаш», одержал 16 побед. С двумя победами и 18 поражениями укрепился в хвосте таблицы «Химик» (Березники).

Разница в классе лидеров и заведомых аутсайдеров так велика, что некоторые матчи команд второй лиги проходят при пустых трибунах.

Зачем же совмещать несовместимое? Погоня лишь за количеством к добру не приводит. Что толку от мастеров, играющих — в лучшем случае! — в силу первого разряда?

Очень часто в разговорах о классе «Б» произносится дантовское: «Оставь надежду, всяк сюда входящий...» Действительно, выбраться из второго эшелона в первый даже для команд высокого класса — задача почти непосильная. Вот и получается — нет перспективы роста, нет стимула, соответственно — нет и сколько-нибудь видимого желания шлифовать мастерство. А ведь среди команд класса «Б» есть очень интересные коллективы. Вспомним хотя бы нашу подмосковную орехово-зуювскую команду «Знамя труда». Дважды орехово-зуювцы, круша прославленных футбольных асов, пробивали дорогу к завершающим кубковым матчам. В минувшем году они попали даже в финал. Могли стать и обладателями почетнейшего приза. Как говорится, остался один шаг.

А сколько шагов нужно сделать орехово-зуювцам, чтобы достигнуть грани класса «А»? Тут уж не шаги, а мили, изнуритель-

ный поход по труднопроходимой местности. Он может продлиться годы.

На мой взгляд, пришло время взяться и за коренную перестройку второго эшелона. Сказал «А» — скажи и «Б». Целесообразнее всего из нынешнего «стоглавого змия», каким представляется нам второй эшелон, сотворить не одну, а три лиги. В каждой по 14—15 команд, не больше. Только так удастся создать равновесие сил, без которого немислима по-настоящему захватывающая спортивная борьба.

Пора, наконец, решить и специфически московскую проблему.

Нужны или не нужны столице команды класса «Б»? Спор это давний и весьма своеобразный. Московская спортивная общественность настаивает, требует, выдвигает неопровержимые доводы. Руководители Федерации футбола выслаивают доводы, отмечают их справедливость... и ничего не принимают.

Между тем нужда в столичных командах класса «Б» — по крайней мере в двух — созрела уже давно. Эта затея порождена отнюдь не тщеславием москвичей.

Ведь московский футбол не стоит на месте. Расширяются и его географические рамки. Каждый год столица готовит весьма солидное пополнение из молодых одаренных игроков. И даже не просто молодых и одаренных, а — сформировавшихся мастеров.

Нередко москвичей упрекают — вот, дескать, переманиваете «звезды» со всех концов страны, пробавляетесь «варягами»...

Что правда, то правда, порою «варяги» с завидной легкостью покидают родной коллектив ради удобств столичной жизни. Но гораздо больше тех, кто вынуждены отправиться из Москвы в далекий вояж. Вынуждены потому, что на футбольных полях своего города для них нет места.

Всем известна знаменитая команда — московские «Крылышки». Это — в хоккее. А вот в футболе у тех же «Крылышек», объединяющих не один и не два, а четыре клуба с десятками команд, нет мастеров ни в классе «А», ни в классе «Б». Стоит ли удивляться, что клубы «Крыльев Советов» могут выступать лишь в роли поставщиков молодых дарований для команд различных городов и республик. Разве это справедливо?

КАПРИЗЫ МОДЫ

Разговор о системах, вернее, о структурном несовершенстве этих систем, справедлив не только в футболе. В конце минувшего сентября на газетных страницах разразилась настоящая спортивная буря. Снова проскользнуло тревожное: «Трагедия «Кайрата». На сей раз «Кайрата» не футбольного, а хоккейного. Оказалось, что Федерация хоккея наметила было провести нынешний чемпионат по образу и подобию футбольного.

Пресса спохватилась вовремя. Федерация протрубила отбой, отказавшись от набившего в футболе оскомину «предварительного зачета» и так называемых «золотых очков».

И все же это полумера. Ведь по нынешнему положению в розыгрыше участвуют 20 команд, и только десять из них после предварительных игр в один круг смогут оспаривать звание чемпиона.

Кто войдет в десятку? Тут, пожалуй, все определено заранее. Определено не ходом спортивной борьбы, а разницей в классе команд. Разумеется, в десятку войдут все пять московских и, наверное, две подмосковные команды, плюс горьковское «Торпедо». Спортивная борьба разгорится разве что за девятое — десятое место.

Короче говоря, объединяя все 20 коллективов в одну группу, мы сами себя обманываем. Настоящее единоборство начнется в «десятках». Так, может быть, с этого и начать, без предварительной, никому не нужной, во всяком случае зрителю, разминки?

Хоккей, пожалуй, больше, чем какой-либо иной вид спорта, подвержен у нас капризам моды. Помнится, несколько лет назад кроили его по канадскому образцу. Две сильнейшие команды в финале провели серию матчей, которые по замыслу инициаторов этого нововведения должны были быть «захватывающими». Но захватывающей борьбы зритель не увидел. Он наблюдал, как заведомо сильнейшая команда расправлялась с заведомо слабой. Скучал не только зритель. Наверное, и самим хоккеистам было как-то неловко разыгрывать спектакль, финал которого был известен до поднятия занавеса.

Было время, когда условия розыгрыша отправили московских хоккейных асов в длительную командировку за Уральский хребет. Видимо, для того чтобы «поднять хоккей на местах». Поднять — не подняли, а вот столицу на добрых полсеzona вообще лишили хоккейных зрелищ.

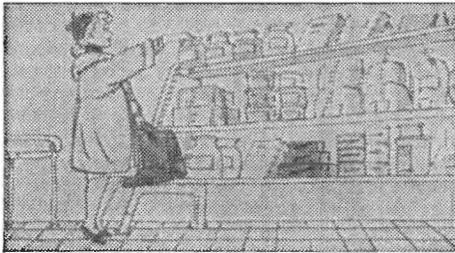
Словом, мода на системы менялась чуть не каждый год, а заметного повышения в классе «большого хоккея» что-то не было видно.

Стоит ли говорить, что и в хоккее надо, наконец, остановиться на чем-то определенном. И тут смещение величин несовместимых приносит лишь вред. 20 команд в высшей лиге — это самообман. Нынешний отечественный хоккейный «экстра-класс» выражается в более скромной цифре — десять команд, не больше. Они и должны составить класс «А». Остальные десять призваны занять места в классе «Б» — пока не подрастут.

И последнее. Нам никак не удастся приспособить внутренний календарь к календарю игр мирового чемпионата. Не определив еще и своего чемпиона, наши игроки отправляются в путешествие за лавами мирового хоккейного властелина. Возвратившись, доигрывают то, что не было доиграно. Естественно, что после мирового чемпионата интерес к первенству внутреннему резко снижается и у зрителей да, пожалуй, и у самих хоккеистов. Но даже не это главное. Сборную страны мы вынуждены готовить दो — а следовательно и без — учета итогов всесоюзного первенства. Потому может случиться и так, что в ней не окажется даже игроков команды-чемпиона. А это по меньшей мере нелогично.



У нас в гостях «ПЕРЕЦЬ»



1. Магазин без продавца



2. Продавец без магазина

Рис. А. Арутюнянца



СРЕДИ ОЧКОВТИРАТЕЛЕЙ

Пишите: кроме того, нами уничтожено сверх плана 3,7 волна и 15,38 лисицы!..

Рис. В. Григорьева

— Эх, скорей бы шестьдесят — да на пенсию!

Рис. В. Гливенко



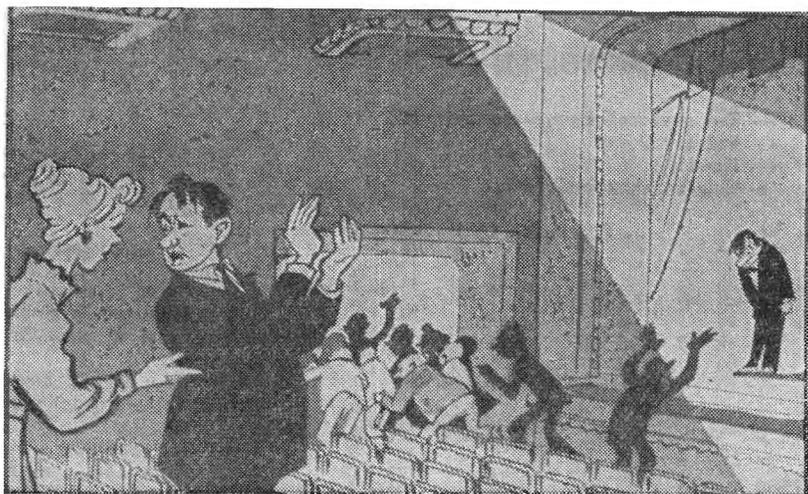


У нас в гостях «Перец»

В ЗАПУЩАНСКОЙ СЕЛЬХОЗАРТЕЛИ

— Что ты бугая поднимаешь!
Ты вот завфермой подними!..

Рис. В. Зелинского



ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

— Зачем ты вызываешь автора?
— Может, он возвратит мне
деньги за билеты...

Рис. А. Арутюнянца



РАЗДУМЬЯ ХАПУГИ

— И кто бы мог подумать: по-
строил для себя три дома, а
жить приходится в казенном
доме...

Рис. В. Гливенко

Народные ушмешки

Сатира и юмор

НАУЧИЛ

Учитель спрашивает ученика:

— Сколько будет три и пять?

— Не знаю,— отвечает ученик.

— Ну вот,— говорит учитель,— я возьму и положу в твой карман три копейки и пять копеек. Сколько будет у тебя денег?

— Ничего не будет,— говорит школьник.

— Почему не будет? — удивляется учитель.

— А потому не будет, что в моем кармане дырка.

Рассказал **И. Яковенко**

СИЛЬНЕЙШИЙ

— Кто в нашей семье сильнейший?

— Бабушка!

— Почему?

— Она за всех работает.

Рассказал **Д. Костельный**

ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

— Когда баллада навеивает сон,—
сказал поэт,—
Пусть будет это не баллада,
а сонет.

Виктор Корж

В РАЗДУМЬЕ

Председатель колхоза вызвал в контору колхозника и говорит:

— Что вы, Максим, думаете? Ваша жена не выходит на работу.

— А я уже целыми ночами не сплю — все думаю, что бы такое сделать, чтоб ваша и моя жена вместе выходили на работу,— ответил колхозник.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В сельском клубе лектор читал лекцию. Читал долго и нудно. Слушатели ничего не понимали.

— У кого какие будут вопросы или предложения? — спросил он, закончив лекцию.

Поднялся старичок и говорит:

— У меня есть предложение: расскажите своими словами, о чем вы так долго говорили.

Рассказал **И. Литвак**

Технический редактор Г. Ю ДУБМАН, корректоры В. А. СТРАХОВА, Н. А. АКимова

Подписано к печати 16/1 1963 г. А 09138. Тираж 160 000 экз. Формат бумаги 70 × 108¹/₃₂.
Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 22,18 + вклейка = 23,08 уч.-изд. л. Заказ № 4005. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР,
Москва, Краснопролетарская, 16.

50 коп.